

Война



ВЛАДИМИР
БЕЛЯЕВ





**ВЛАДИМИР
БЕЛЯЕВ**



**Портрет
яда**

**ПАМФЛЕТЫ,
ПОВЕСТЬ**

Советский писатель Москва 1972

В книгу известного советского писателя Владимира Беляева «Формула яда» входят памфлеты и повесть о борьбе народа Западной Украины против фашизма и национализма.

На страницах книги' рассказывается о трагической гибели молодой девушки Иванны Ставничей в дни оккупации Львова, о злодейском убийстве писателя Ярослава Галана, разоблачаются многие другие преступления греко-католической церкви и «Организации украинских националистов». Писатель обличает отъявленных врагов украинского народа — митрополита Шептицкого, Евгена Коновальца, Степана Бандеру.

Посвященная в значительной мере прошлому, эта книга глубоко злободневна: в капиталистических странах Европы и за океаном украинские фашисты-националисты и сейчас, продолжают свое черное дело, замышляют и плетут новые злодейские интриги против Украины и ее народа.

Книга Владимира Беляева «Формула яда» не только рассказывает о справедливой борьбе украинского народа за свою землю и отчизну, но и призывает советских людей быть бдительными, свято хранить дело мира и социализма.

ОТ АВТОРА

Не по книгам, не только по архивным материалам и пересказам свидетелей, а воочию, почти на протяжении всей сознательной жизни, мне довелось наблюдать, к чему приводит запущенный в действие украинский буржуазный национализм.

Я родился и вырос в том самом древнем украинском городе Каменец-Подольске, который после свержения воцарившегося было на немецких штыках гетмана Павла Скоропадского стал временной столицей петлюровской директории. О том времени, о петлюровской буффонаде, украинский народ, наделенный огромным чувством искрометного юмора, сложил едкую частушку:

В вагоне — директория,
Под вагоном — территория...

Это не было преувеличением!

И на самом деле бывали такие дни и месяцы, когда откатившиеся на край советской земли, отогнанные восставшими украинскими рабочими и крестьянами, непростенные претенденты в правители Украины, министры

директории сидели в вагонах эшелонов на станции Каменец-Подольск, только и думая о том, как бы в часы неминуемого разгрома унести отсюда ноги за границу.

Детскими глазами, жадными до всего нового и необычного, я наблюдал, как под прикрытием громких лозунгов о «самостийной Украине» петлюровскими министрами и самим атаманом Петлюрой командовали представители различных иностранных миссий, прибывающие в Каменец-Подольск: английские, французские и американские офицеры.

Однажды, пробравшись сквозь толпу зевак в кафедральный собор, стоя в каких-нибудь трех шагах от головного атамана, я видел этих надменных зарубежных гостей, окружавших Петлюру.

Он стоял в синем френче с лавровыми веточками на воротнике и «тризубом» на рукаве, скрестив по-наполеоновски на груди тощие руки с вздувшимися венами.

Но больше всего меня тогда поразило в свите Петлюры офицер-шотландец в короткой клетчатой юбочке вместо обычных брюк.

Когда он прогуливался по городу, чинно переставляя кривые, волосатые ноги, крестьянки, идущие на базар, плевали ему вдогонку, говорили: «Тьфу, нечистая сила!» — ведь никто из них до этого не видел, чтобы мужчины гуляли в женских юбках.

Все эти «спасители самостийной» и ее негласные диктаторы сбывали петлюровской армии оставшееся у них в изобилии после первой мировой войны вооружение и обмундирование, под гарантию возврата их буржуазии иностранных концессий и заводов в Донбассе, Криворожье, Мариуполе, и требовали решительных действий против ненавистой им Красной Армии.

Атаман Симон Петлюра был щедр в своих обещаниях!

Он расщедрился до того, что подарил старому австрийскому агенту и маршалу буржуазной Польши всю Западную Украину. С той поры украинский народ расшифровывал надпись на польских вагонах, приходивших из-за кордона — «ПКП» («Польска Колея Панствова») не иначе, как «Пилсудский купил Петлюру».

Чем кончилась петлюриада — общеизвестно.

Несколько лет назад, будучи в гостеприимной Народ-

ной Польше, я забрел на православное кладбище за предместьем Варшавы — Воля.

На окраине этого кладбища мое внимание привлекли окруженные зарослями крапивы и конского щавеля каменные кресты с украинскими надписями. Под ними были похоронены петлюровские генерал-хорунжие, генералы булавы, полковники, есаулы, даже какой-то генерал Кочубей затесался среди этого генералитета. Никто из них и следа не оставил в созидательной истории Украины. Их безвестные, никем не посещаемые могилы давно заросли бурьяном. Но и этот зримый апофеоз игры в «самостийну» под штандартами Петлюры ничему не научил отщепенцев украинского народа — националистов, которые в конце двадцатых годов стали собираться под знаменами Адольфа Гитлера, принимая целиком его фашистскую программу и будучи готовы служить главной политической цели, которую точно выразил один из теоретиков пангерманизма Судевенхаген: «Оторванная от России и включенная в систему Центральной Европы, Украина могла бы стать одной из богатейших стран мира». Ну и конечно же, добавляем мы, самой богатой колонией Германии!

А до Судевенхагена «железный канцлер» и вождь прусского империализма Отто Бисмарк прямо говорил о том, что отрыв Украины от России был бы тяжелейшей ампутацией для России.

Готовые выполнить роль таких «хирургов», националисты всех мастей верноподданнически служили Гитлеру, как раньше Максу Гофману, Гинденбургу и другим немецким полководцам.

После разгрома гитлеровской Германии, идя по кровавым следам сообщников немецких оккупантов — бандеровцев и мельниковцев, я имел возможность наблюдать, как на самом деле выглядела принятая ими по исторической эстафете, заквашенная на дрожжах немецкого фашизма все та же идея «ампутации» и создания «самостийной».

И сейчас идеей этой, распространяемой различными зарубежными радиостанциями, вроде пресловутой «Свободной Европы», пытаются обмануть доверчивых и неосведомленных людей различные бандеровские пропагандисты из Мюнхена, Торонто, Детройта, Виннипега,

Нью-Йорка, Ватикана и даже франкистского Мадрида. Бандеровские недобитки, торговцы террором, слуги чужих господ, отравляют эфир ядом национализма, пытаясь выполнить главную задачу своих работодателей — разобщить, натравить друг на друга народы Советского Союза.

Люди моего поколения, которых я назвал в трилогии «Старая крепость» «первыми всходами революции», всю сознательную жизнь помнили и будут до последних дней своих помнить мудрые слова Владимира Ильича Ленина:

«Никакого закрепления национализма пролетариат поддерживать не может, — напротив, он поддерживает все, помогающее стиранию национальных различий, падению национальных перегородок, все, делающее связи между национальностями теснее и теснее, все, ведущее к слиянию наций. (Разрядка моя. — В. Б.) Поступить иначе — значит встать на сторону реакционного националистического мещанства»¹.

Мне дорога судьба моей родины — Украины, близкой моему сердцу земли, на которой я приобщился к литературному труду. Мне глубоко ненавистны ее враги. Украинец по национальности, понимающий тактику и происки врагов, уже много лет наблюдающий их коварные методы, знающий, как пользуются они ядом национализма, я не могу молчать и, следуя голосу совести, написал эту книгу.



ОТКРЫТЫЙ ВЕЧНОСТИ

Из хроники древнего города

ПАМФЛЕТ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Вот и более четверти века миновало с тех пор, как состоялось мое первое знакомство со старинным украинским городом Львовом.

Пожалуй, нет в нашей стране такого города, который бы так изменился внутренне за последние десятилетия, как Львов. В его социальной структуре произошли такие сдвиги, каких не помнит вся история семивековой жизни города. Да только ли семивековой?

Ведь до сих пор точная дата основания Львова не определена. Историки пока установили, что при упоминании в старинной летописи о большом пожаре в Холме есть такая запись: «Сицю же пламени бывшу, якоже со всеє земли заре видите, якоже и со Львова зряще видити,

по полем Бельзским, от горения сильного пламени». Пожар в Холме, увиденный с вершины львовского Высокого замка, о котором вспоминает летописец, был в 1259 году. Вполне возможно, что столица Галицко-Волинского княжества Львов существовала значительно раньше. Предоставим решать этот вопрос ученым, а мы заглянем в более близкое нам прошлое города.

В дни Великой Отечественной войны на Крайнем Севере в руках у моряка союзного конвоя я увидел книжку коротких рассказов известного американского писателя Вильяма Сарояна, изданную в 1943 году в Нью-Йорке.

Среди многих лаконичных «шорт сториз» — коротких рассказов, помещенных в этой книге, мое внимание привлекла новелла «Маленькая Манон», посвященная довоенному Львову тридцатых годов. Вот каковы были первые впечатления:

«Львов — это кошмар. Предполагается, что он — Львов есть город, место, где люди слоняются, покуда не помирают, но он только один из скверных снов божьих. На стогнах Львова вы можете различить черты измученного лица спящего господина бога. Небо Львова нависшее, мрачное. Атмосфера застойная, удушливая. Горожане — сплошь лунатики.

Это город скверный. Олицетворенное тление. Монумент кончине, запустению и бесплодности.

А великолепные польские солдатики на тротуарах ритмично козыряют друг другу.

Львов — один из сквернейших божьих снов, а это козырянье — грустный элемент комического, которое всегда есть в трагическом.

Пованивает на улицах, пованивает в домах, пованивает от жителей. Здесь нет воды. Здесь нет чистоты земли и неба, нет ясности преходящего мгновения. Здесь вообще нет мгновений в двадцати четырех часах суток. Город вне времени, пространства, вне реальности.

У людей, кажется, есть занятия, и это очень странно. Здесь есть лавки с вывесками Портной, Кондитер, Мясник, Парикмахер. По-польски. Печатными литерами. Книжный магазин. Кинотеатр. Учреждение. И публика на улицах. Их лица — это лица нулей. Все лица — ничто. Это только снится скверный сон богу. Во всех обликах одно-единственное — пустота».

Признаться, я был удивлен этим восприятием. Моя память сохранила совсем иные впечатления от Львова, освобожденного войсками Красной Армии в сентябре 1939 года.

Город трех митрополий Ватикана — римско-католической, греко-католической и даже армяно-католической (что само по себе было исключительным явлением), — город, стоящий не только на естественном европейском водоразделе, но и на политическом рубеже Восточной и Западной Европы, был наполнен многими противоречиями. Обманчива была прежде всего его внешность. Львов выглядел шумным, говорливым, кое в чем беспечным перекрестком Европы, потревоженным войной, но жизнь заполненных народом львовских улиц далеко не совсем правдиво и глубоко отражала его подлинную социальную и национальную суть.

В узеньких средневековых улочках Львова, казалось, еще сохранился запах бензинного перегара от сотен промчавшихся здесь совсем недавно автомашин. В них драпали через Львов в боярскую Румынию, хортистскую Венгрию, покинув на произвол судьбы свои войска и страну, кичливые полковники из клики Пилсудского, военный министр Польши Каспшицкий со своей любовницей, сотрудники последнего министра иностранных дел буржуазной Польши Юзефа Бека.

Свидетель этого «драпа» польский прогрессивный писатель, участник Львовского антифашистского конгресса защитников культуры, состоявшегося в 1936 году, Эмиль Зегадлович отлично передает это время в своей пьесе «Карточный домик», которая опубликована в Народной Польше.

Рушился на глазах у львовян «карточный домик» пилсудчины, из которого не раз и не два угрожали Советскому Союзу разукрашенные позументами генералы усатого маршалка.

В длинных лимузинах и бордовых тупорылых малолитражках Львов пересекали будущие сообщники генералов Андерса и Бур-Комаровского, враги нынешней демократической Народной Польши, те, что с исступлением лгут по ее адресу через микрофоны «Голоса Америки» и «Свободной Европы».

Тогда, осенью 1939 года, они позорно покидали Польшу. Покидали в грозный час гитлеровского вторжения народ, истекающий кровью в неравном бою с немецким оккупантом, и вместе с легкомысленными воспоминаниями о безбедном прошлом увозили в новую, заокеанскую жизнь тяжелые чемоданы с драгоценностями, с краденым государственным золотом, баулы и лакированные кофры, наполненные фраками и мантии из соболей и горностаев.

А потом, когда промчались эти машины с убегающими предателями Польши, когда львовские спекулянты все еще раздумывали, отдавать ли банку бензина за бриллиантовое колесо или повременить, подождать последних машин, жизнь тихого до войны воеводского центра нарушили беженцы. Они приближались ко Львову с запада, почти одновременно с Красной Армией, идущей с востока.

Сейчас уже забылось, что Красная Армия буквально вырвала Львов из рук гитлеровцев: их боевые линии уже пролегли по окраинным львовским улицам, пересекали Кульпарков и конец улицы Энгельса.

Первые простреленные каски немецких фашистов и их могилы мы, советские люди, прибывшие во Львов вместе с войсками Красной Армии, увидели как раз здесь, на окраинах древнего украинского города, за два с лишним года до разгрома гитлеровцев под Москвой. Под защиту Красной Армии на улицы Львова, как, впрочем, и многих других городов, расположенных восточнее так называемой демаркационной линии, отделяющей нас от фашистов, ринулись тогда через «зеленую границу» сотни тысяч труженников, будущих воинов Первой польской дивизии Тадеуша Костюшко, но были и люди-паразиты, те, что отнюдь не украшали Польшу, а сейчас хотели переждать военную завируху на советской земле, а заодно и «интересы» сделать.

Для людей труда, очутившихся на советской территории, как только они попали во Львов, сразу же возник вопрос: «Что делать?»

Полезно вспомнить, что вслед за советскими войсками на освобожденные территории прибыли представители многих наркоматов Советской Украины. Они открыли свои пункты по набору квалифицированной рабочей силы на заводы и фабрики Украины. Впервые за последние

пятьдесят лет на стенах львовских домов были расклеены плакаты, сообщающие о наборе рабочих и выгодных условиях переезда к новому месту работы.

Тысячи львовян, особенно беженцев из центральных районов Польши, до поздней ночи толпились у свежих плакатов, с удивлением читали и перечитывали их. Но тут же действовала вражеская «шептана пропаганда». Какие-то подозрительные личности в котелках и канотье еще времен австрийского императора Франца-Иосифа вертелись здесь, шипели: «Это все вранье, большевистская пропаганда». Они призывали простачков «не верить Советам», во что бы то ни стало сидеть во Львове и никуда «не рыпаться».

Мне трудно при этом не вспомнить случайную встречу в одном из львовских кафе с варшавским инженером Вацлавом Станяшеком. После того как наш разговор достиг предельной откровенности, беженец инженер, восторженно заглядывая мне в глаза, спросил: ехать ли ему на восток или оставаться во Львове? Не страшно ли будет там, на востоке?

Я уже знал, что он, инженер-строитель высокой квалификации, был одним из тех счастливицков, кто и в Польше не знал безработицы и получал довольно высокий оклад. У него была своя собственная машина, предел мечтаний многих его коллег. Я был в довольно затруднительном положении. Думалось: как-то будет ему у нас, человеку, воспитанному в буржуазном обществе, привыкшему к комфорту? Я и мои товарищи спросили:

— Вы любите работать? Вы не побоитесь возможных трудностей? Вы хотите чувствовать себя полезным человеком?

Помедлив, он ответил утвердительно.

А через несколько дней, в декабре 1939 года, мы провозжали с главного вокзала Львова Вацлава Станяшека. Он законтрактовался и уезжал с семьей работать на один из металлургических заводов Криворожского бассейна. Все письма Станяшека, которые я получал во Львове, а затем в Ленинграде, были на редкость оптимистичны. Ему дали квартиру в новом доме, он, кроме основной работы на строительстве, по вечерам преподавал иностранные языки инженерно-техническим работникам и даже ездил в Харьков на слет стахановцев.

Война и затем блокада Ленинграда прервали нашу письменную связь.

И вот в 1961 году, приехав в Польшу, я нашел его на одной из строек Лодзи. Мы встретились как старые друзья. За эти годы сыновья инженера, которых я помнил еще малышами, стали студентами, а он — начальником одного из крупнейших строителей. Мы осматривали котлованы стройки и принадлежащий строительству завод сборного железобетона, а потом Вацлав повел меня по столовым, подсобным цехам.

Так мы зашли в общежитие-гостиницу для приезжих, бессемейных рабочих. Вацлав постучался в один из просторных номеров, и мы увидели в нем пьющих чай четырех техников-корейцев, присланных в Польшу на практику. Они довольно бойко говорили по-польски и сообщали, что через месяц возвращаются в Корею.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Кому довелось побывать в конце июля 1944 года в Москве, помнит, каким «урожайным» на салюты было это время. Стремительное продвижение нескольких фронтов Советской Армии отмечалось на московском небосклоне гирляндами разноцветных огней и тяжелыми вздохами орудийных залпов. Салюты начинались засветло и продолжались до глубокой ночи. Были вечера, когда прожеутки между салютами равнялись получасу.

И наконец июльской ночью знакомый голос диктора Левитана произнес: «Львов».

Как много радостного было уже в одном появлении этого слова в мужественных строках военного приказа.

Древняя столица галицких князей, крупнейший центр Советской Украины очищен навсегда от фашистской погони!

Первые окраинные улицы. Машина спускается Городецкой к центру. Блестит повсюду разбитое стекло. Оборванные провода свисают над головой. Успевай пригибаться! Повсюду на домах белые ярлычки: «Осторожно. Минировано. Входить до 17 августа запрещается». Везде попадаются на глаза маленькие отряды саперов, в шесть — восемь человек. Это «охотники за минами» и

пока единственные хозяева многих закрытых для пользования городских зданий. Им, саперам и разведчикам, партизанам из отряда Героя Советского Союза Дмитрия Медведева, доставившим командованию план заминирования фашистами Львова, мы обязаны тем, что большинство зданий старинного города было сохранено.

...Саперы разыскивают заложенные немцами фугасы, мины, бомбы замедленного действия. Кроме автоматов они вооружены легкими, похожими на пики миноискателями, кирками, лопатами. А на поводках — собаки с высунутыми от зноя языками. Где подведет миноискатель или острый глаз сапера, ошибку исправит собака. Она почует взрывчатку и лаем даст знать хозяину-саперу, где заложен смертоносный снаряд.

То там, то здесь проломы в стенах. Замшелые каменные святые на кафедре, стены городской Ратуши, колонна памятника Мицкевичу — все повреждено осколками. Часть фасада оперного театра разворочена, крыша местами сорвана, и ржавые листы завились на ней, как огромные лепестки.

Повсюду в палисадниках Львова свежие могилы. Здесь похоронены советские воины, погибшие на улицах Львова во время боев. Могилы засыпаны цветами. Кое-где фанерные постаменты успели уже покрасить яркой эмалевой краской. Скромные могилки — этапы напряженной борьбы за город. Они появились в местах наиболее яростного сопротивления врага. Вот маленькое военное кладбище на перекрестке улиц. Едва заметный могильный бугорок с надписью на деревянном крестике: «Смертью героев погибли в танке 26 июля 1944 года». Выясняем, кто здесь похоронен. Оказывается, накануне полного освобождения Львова гитлеровцы подбили прорвавшийся в их расположение советский танк. Кто-то из жителей города выскочил из подвала и похоронил останки обгоревших храбрецов в земле города.

Не в первый раз земля Львова именно в этом месте принимает тела борцов, погибших при освобождении города.

...Еще в 1648 году тут была вырыта большая могила для погибших казаков Богдана Хмельницкого. Они штурмовали город со стороны Галицкого предместья, идя на помощь львовским русинам. И долгие годы перекресток,

где сложили они свои головы, осаждая фортификации магнатов, назывался «Крвище».

Летом же 1944 года сюда прорвались в танках, неся свободу древнему украинскому городу, наши воины. И кое у кого на выцветших гимнастерках виднелись ордена с силуэтом гетмана Богдана Хмельницкого.

...Помощник военного коменданта с лицом серым от бессонных ночей выдает нам направление в гостиницу.

Она помещается на улице Рейтана. Портье виновато показывает номера с голыми матрацами. Белые и одеяла уворовали фашисты. Еще неделю тому назад эта гостиница принадлежала гестапо: на дверях белеют визитные карточки чинов СС — разных шарфюреров и унтерштурм-фюреров. Ни света, ни воды нет и в помине. Пожалуй, пора бы отдохнуть, но разве до отдыха сейчас? Не терпится найти знакомых советских работников, принимающих город от Советской Армии.

Над Львовом всходит полная луна. В ее свете мы довольно быстро находим городской Совет. Он расположился, как и до войны, в здании Ратуши.

Тускло горят свечи в комнатах с выбитыми стеклами. Несмотря на позднее время, здесь много посетителей.

Летчики и танкисты, доктора и педагоги, начальники штабов и руководители пожарной охраны, директора трестов и инженеры взорванной немцами электростанции — все они сообща «штурмуют» руководителей города. Одному — квартиру дай, другому — столовую для рабочих, третьему отведи производственную площадку.

Директор Политехнического института Стефан Ямпольский, добравшийся во Львов из Москвы на всех видах транспорта, включая и телегу, настаивает, чтобы за его институтом закрепили те же самые общежития для студентов, которые они занимали до войны. Но ведь и летчиков истребительной авиации, которая будет охранять город с воздуха, нельзя оставить без жилья.

Вслед за полковником истребительной авиации к председателю исполкома городского Совета пробивается профессор музыки. Он просит закрепить за музыкальным училищем мебель, которую немцы перевезли в другое здание. Все нужно сделать! Все срочно! Ничего не забыть!

Трудное это было время для советских и партийных

работников — первые дни после освобождения Львова, ой какое трудное! Они гоняли по городу в полувоенных костюмах, с пистолетами у поясов и по внешнему виду напоминали зачинателей советской власти времен гражданской войны, которых мы, тогда еще дети, встречали в укладах партии, в ревкомах, на селе.

В такой спешке не мудрено растеряться.

Тем приятнее было нам застать в штабе оживающего советского города, в старинной магистратской Ратуше, деловых людей.

«НЕМЕЦКИЕ КАТЕГОРИИ»

Уже появляются неслышно из подворотни патрули военного коменданта и проверяют пропуска. Еще добрый час до полуночи. Москвичи, должно быть, ждут на улицах очередного салюта. А в освобожденном Львове — опустевшие улицы, заперты наглухо ворота — брамы. Ни огонька, ни говора. Лишь луна поблескивает на битых стеклах да дрожащая серебряная дорожка разрезает переполненный водоем под статуей Нептуна на Рыночной площади.

Население удивительно точно выполняет приказы по гарнизону. Без четверти девять — и люди мчатся по домам так, будто бы сама смерть гонится за ними.

Это страшная инерция пережитого.

В одной из подпольных антологий я нашел стихи поэта А. Баумгардтена о Львове времен оккупации. Поэт называл город «открытым вечности и закрываемым в девять».

В душные ночи немецкой оккупации любой человек, вышедший на улицу без пропуска, мог заранее считать себя смертником.

Гремели в темноте частые выстрелы, и львовяне знали: завтра город недосчитается нескольких врачей, акушеров, бегавших к роженицам, священников, шедших исповедовать умирающих. Даже если у человека по роду его профессии оказывался пропуск, он часто не успевал заикнуться об этом и получал пулю от гитлеровского патруля. А по утрам дворники подбирали в узких улочках трупы горожан.

— Нас фашисты научили так рано ложиться спать! —

говорили мне львовяне. — Мы еще автоматически живем «немецкими категориями»!

Ужасны эти слова — жить «немецкими категориями», то есть представлениями, сохранившимися со времен немецкой оккупации.

Несколькими днями позже мы зашли в квартиру, где поселилась вышедшая из лесов семья уроженцев Львова. Отец-адвокат некогда защищал на судебных процессах рабочих. После вторжения фашистов он бежал в лес с двумя дочерьми. Младшей было четырнадцать лет. Старшая, двадцатилетняя, была вдовой. Ее мужа гитлеровцы сожгли в Майданеке.

Семья адвоката вернулась во Львов на второй день после его освобождения Советской Армией. Две ночи они провели на полу в райсовете, потом им дали квартиру на Вулецкой. Раньше ее занимал эсэсовец. В городе устанавливался порядок, и все имущество, брошенное немцами, в том числе и мебель, описывалось и становилось собственностью государства. В квартиру, занятую семьей адвоката, пришел сотрудник районного финансового отдела и переписал всю мебель, оставленную фашистом. Мы пришли в эту квартиру несколько позже. Старик адвокат с изможденным, высохшим лицом и выступающими резко скулами, сидя у окна на белом детском стульчике, листал какую-то потрепанную книгу.

...В разбитое окно врывается солнце, шум улицы. Там зелень, жизнь!

Тянут провод по каштанам связисты.

Мчатся на Самбор машины. Напротив, в овраге, играют, смеются дети. В трамвайном депо два слесаря, взобравшись на крышу вагона с выбитыми стеклами, меля дугу. Но старик адвокат, придавленный пережитым за годы оккупации, напоминает нам человека, пришедшего из страны смерти. Мы беседуем с его дочерьми, спрашиваем, как они устроились.

— Да вот приходили из финотдела. Переписали мебель. Скоро ее заберут, — безразлично сообщает старшая дочь Зося.

— Купите ее для себя, — советуем мы.

— А, ничего! Пусть берут! Мне ничего сейчас не жалко! — махнув рукой и не слушая нас, говорит Зося.

Мы советуем пойти в финотдел и заявить о своем же-

лании приобрести мебель, но молодая, рано поседевшая женщина упрямо твердит:

— И не буду заявлять! Пусть берут!

Мы продолжаем уговаривать ее поступить по нашему совету.

— Да неужели вы не чувствуете, что мы все еще живем «немецкими категориями»? — вдруг с отчаянием говорит младшая дочь адвоката, видно, не по летам развитая девушка. — Мы привыкли только к унижениям. Я говорила сама сестре: сходи, напиши заявление. А она отказывается...

...Вечером в Красноармейском райсовете я встретил Зосю. В ее печальных темных глазах был уже заметен проблеск новой жизни, возвращающейся веры в себя.

— Я говорила с председателем. Он закрепил мебель за нами, — издали объясняет она. — И еще знаете новость! Отец встретил на улице одного своего подзащитного. Он теперь капитан Советской Армии, а когда-то сидел на скамье подсудимых, во время Луцкого процесса по обвинению в коммунистической пропаганде. Капитан повел отца в коллегию защитников, рекомендовал его на работу. Отец опять будет защитником. Он станет снова человеком. Вы понимаете! Не кротом, прячущимся в землянке, а свободным человеком!

...«Немецкие категории»! Это одна из частей наследства, которое осталось на землях Западной Украины после фашизма.

Взорванные водокачки, разбитые снарядами дома, разрушенные фугасами мосты восстановить легче. Куда сложнее — изломанную, исковерканную психику людей, которых заставляли терять веру в себя, прививая им вакцину рабства, беспрекословного повиновения, лакейской угодливости...

В первые же дни после второго приезда во Львов я познакомился с молодым учителем Омельяном Коником.

— Ужасно тягостные три года прожили! — сказал мне Омельян Коник. — Любой из нас до прихода немцев ставил перед собою какие-либо возвышенные цели. Советская власть дала мне возможность окончить университет, из которого меня было вышибли пилсудчики. Я мечтал остаться в аспирантуре. Все это, принесенное советской властью, досталось нам слишком легко, хотя и представ-

ляло собой итог многолетних усилий миллионов советских людей. Теперь я это прекрасно понимаю. Нам, воспитанным в обстановке воинствующего национализма, было особенно радостно творить в этой дружественной атмосфере подлинного национального равноправия. Пришли фашисты — и человек опять сделался ничем. Все, о чем я мечтал ночами, все, к чему стремился, все исчезло с появлением гитлеровцев.

До их прихода во многих львовских семьях родители загадывали, кем будет их сын. Они хотели видеть своих детей образованными. То была законная родительская мечта. На пути ее осуществления возникали препятствия, но мечта оставалась. Она освещала будни светом надежды. Фашизм отнял у всех и эту мечту. Учебные заведения, кроме двух начальных школ да ремесленных училищ, были закрыты. У молодежи, которая стояла в стороне от подпольной работы, оставался один удел — тупое и безразличное существование либо спекуляция.

У меня сейчас такое ощущение, что все эти три года я провел по уши в липкой грязи. . .

За любое, даже самое невинное, стремление к объединению или самообразованию в кружке друзей грозила смерть. Фашисты понимали, что любое возрождение умственной жизни рано или поздно приведет народ к восстанию. Они старались как можно скорее деморализовать население, развязать его низменные инстинкты. Фашисты закрыли Львовский университет и в то же время разрешили в тысячах экземплярах распространять порнографический журнал «Фаля», «воспевающий красоту женского тела». В фашистских газетах, наряду с объявлениями о пропавших без вести, ищущих работы и квартир, печатались и такие объявления: «Бездетная, независимая 43-летняя вдова с собственной квартирой хотела бы узнать мужчину из низших сфер, до 50 лет с матримониальной целью».

Или: «Две милые, молоденькие панночки с чудесными глазенками желают познакомиться с теми, кто поможет сделать веселой восемнадцатую весну их жизни».

«Охотно познакомлюсь с невестой, обладающей умом и сердцем, а также и кудряшками. Я молод, уравновешен, люблю жизнь, музыку и правду. Промышленник.

Цель — матримониальная. Письма направлять в редакцию — № 24 144».

Последнее объявление было напечатано в фашистской газете «Львівські вісти» еще 10 июля 1944 года, то есть за семнадцать дней до прихода Советской Армии. Какое было дело мещанину до грозных исторических событий? Его интересовали «кудряшки», и это тоже было выгодно фашистам.

«Живи как скот. Обманивай. Следи за модой. Упивайся шумом базара. Пусть самой большой радостью в жизни для тебя будет обман ближнего. Распрощайся с моралью», — внушали населению города фашисты.

Советских людей, прибывших во Львов с востока сразу же после его освобождения, поражало множество детей, юношей, женщин, стариков, занимавшихся спекуляцией. Мальчик лет двенадцати с раннего утра толкался в базарной пыли, держа в руках раскрытую сотню немецких папирос и напевая: «Экстра-пласки! Экстра-пласки!» Стоило вам замедлить шаги и посмотреть в глаза мальчика — и вы понимали: это глаза старика, прожившего жизнь и ничего пока в ней не узнавшего. В них не проснулась еще детская пытливость, свойственная возрасту.

В августе 1944 года, бродя по Львову, я все время ловил себя на мысли, что здесь совсем недавно бушевала чума. Следы коричневой чумы обнаруживались не только в обрывках немецких афиш или в названиях переименованных улиц, написанных готической вязью, но и в том, что люди, встречая нового человека, немедленно осведомлялись, а кто он: украинец, русский, поляк, еврей? Так, как будто национальность человека была главным мерилom всех его остальных — хороших и плохих — качеств.

Телефонистка Иванна Дружбьяк привела меня к подножию Высокого замка, на Стрелецкую площадь. Два каштана склоняли свои ветви с темно-зелеными листьями над вырытыми в земле углублениями. Сперва я подумал, что в этих углублениях немцы прятали во время бомбежки свои машины. Но Иванна Дружбьяк сказала:

— Тут расстреливали. Скат перехватывал пули, Отец ночевал в торговой школе и видел, как гестаповцы при-

везли сюда на рассвете шесть подростков. Их заподозрили в помощи партизанам. Самому маленькому было двенадцать лет. Когда его, связанного по рукам и ногам, подвели к насыпи, он закричал: «Ой, мама, мама! Спасай меня!» Он так кричал, что все люди, кто жил на Стрелецкой площади, подбежали к окнам. Немцы убили подростков, а потом, оставив возле трупов часового, уехали.

Двумя часами позже мы на Краковской площади. Переходим на так называемый плац Теодора.

— И тут расстреливали. Видите, еще земля подсыпана, чтобы пули не так дырявили стену. А немного подальше стояли виселицы. Осужденных подвозили к ним на машинах. Палач накидывал петлю, и машина поспешно отъезжала. Я шла как-то на базар и видела, как палач набросил петлю одному молодому светловолосому парню. Машина тронулась, а он крикнул: «Светы отомстят!..»

Я верю, что на одном из кирпичных фортвов львовской Цитадели вырастет скульптура в память о замученных там десятках тысяч советских военнопленных, которые предпочли смерть предательству. Они погибли от голода и холода, но не пошли на службу к немцам, куда их заманивали украинские националисты.

Возникнут памятники на бывшей Стрелецкой площади в память о жертвах, павших от руки завоевателей. И, может быть, в одной скульптурной группе мы увидим фигуру рабочего-строителя, расстрелянного австрийскими жандармами во время демонстрации рабочих на этой площади в 1902 году, и фигуру мальчика, заподозренного в помощи партизанам летом 1943 года. Того самого, что кричал: «Ой, мама, мама!..» — видя наведенные на него фашистские автоматы.

ТОЧНЕЕ ПРОБЫ НЕТ

Когда мне позвонили из инспекции пробирного надзора и пригласили посетить это учреждение, я решил, что произошла ошибка.

Ничего странного в том, что в инспекцию пробирного надзора приглашают продавца ювелирного магазина. Он ведает драгоценностями. Но что делать здесь мне?..

Один час, проведенный в инспекции на тихой улице

Гротгера во Львове, убедил меня в том, что телефонный звонок был не случайным.

Тут ставили самую невиданную пробу в истории пробирного искусства.

...Остро пахнет кислотами. Поблескивают части точнейших весов.

Маленькие прокатные станки соседствуют с электрическими печками, где плавится в розовых тигельках, очищаясь от примесей, золото. В тишине пробирной палаты за оцинкованным столом сидит помощник пробирера Софья Шевелева. Перед нею грудa пережженных и ржавых металлических частиц. Если бы вам довелось найти подобную же груду где-либо на пустыре, вы не останавливаясь прошли бы мимо, подумав: «Мусор». Но пальцы Шевелевой внимательно перебирают ржавые проволоочки, какие-то шарики, а стоящая рядом Мария Александровна Леви́на, главный пробирер по западным областям Украины, объясняет:

— Видите? Это остатки «молний». Значит, это все были юноши и девушки. Старики, как известно, «молний» почти не носили.

И, опуская свои пальцы в лежащую отдельно кучку металла, она наугад выхватывает цепочку. Несколько шариков, нанизанных на проволочку, соединяют брелочек с окончанием застёжки «молния».

Должно быть, не раз и не два, спеша на свидание с любимой, этой вот цепочки касался пальцами юноша. Ловким, привычным движением он тянул ее вверх, застегивая блузу, и выбегал навстречу солнцу, весне, шуму улицы. Его глаза смотрели вперед! Они только начинали познавать мир.

А вот теперь на широком оцинкованном столе рядом с остатком «молнии» лежит маленькая серо-белая плоская косточка. Пережженная в пламени костра, она уцелела и похожа на мрамор.

Кто знает, возможно, это косточка владельца «молнии»? Или его любимой подруги, сгоревшей вместе с ним на огромном костре возле Кривчицкого леса за Львовом? Или старика отца, который так дрожал от декабрьского холода, когда его, полуголого и избитого, везли в открытой машине улицами Львова? Везли истреблять...

...Софья Шевелева сортирует, разделяя на отдельные кучки, женские кнопки, заколки, пуговицы от белья, обломки брошек, сплюснутые монеты и медальоны, лезвия перочинных ножей, напильнички для маникюра. За всеми этими обыденными предметами — люди. Сотни и тысячи человеческих жизней, оборванных по приказу Адольфа Гитлера.

Вот маленький винтик от зажигалки — единственное, что осталось от ее обладателя.

Предполагал ли он, владелец зажигалки, что наступит день, когда тело его будет выброшено на гигантский штабель из 2500 трупов и подойдет к штабелю самый главный специалист по сожжению неугодных Германии в «зондеркомандо 1005», или брандмейстер, или за просто «тейфель» (дьявол)?

Он подойдет не спеша, священнодействуя, как учили его гитлеровцы, как учил его лично сам унтерштурмфюрер СС Вальтер Шарлок, хозяин всей «бригады смерти», и достанет из кармана зажигалку.

Будет играть музыка.

Держа в стынущих руках медные начищенные трубы, худые, забитые музыканты, в прошлом солисты лучших львовских оркестров, станут выдувать мрачную мелодию венгерской «Последней недели».

Поодаль, у самого барака, где размещены наиболее выносливые узники Яновского лагеря, стоят немецкие офицеры. Среди них — рослый, краснощекий унтерштурмфюрер СС, уроженец Восточной Пруссии Шарлок, его подручные ротенфюреры Прайс, Раух и другие.

Они застыли, как на смотре, слушая музыку отчаявшегося в жизни, безумного композитора. Все происходит так, как от них требует в своих приказах рейхсфюрер Генрих Гиммлер, его заместитель Кальтенбруннер и главный «заметатель следов» зверств в «Генеральном губернаторстве» штандартенфюрер СС Блэбель. И горе будет тем из заключенных — участников «бригады смерти», кто попытается нарушить церемонию. Провинившегося застрелят тут же перед бараком, на виду у всех, и, сняв с ног кандалы, бросят на штабель трупов, которые свежены из разных концов Львова.

...Брандмейстер, или «дьявол», в длинном черном халате и в шапочке с рожками, вынимает зажигалку. Лег-

кий и благосклонный кивок Шарлока дает ему право начинать свою дьявольскую работу.

Сильнее воют трубы музыкантов.

На поляне в Кривчицком лесу звучит мелодия танго, вызвавшего некогда волну самоубийств во многих странах Европы. В руке брандмейстера вспыхивает огонек. Он подносит его к штабелю, заранее облитому мазутом и керосином, и отбегает в сторону.

...Косматые языки пламени взмывают к небу.

Двое суток будет гореть костер! Двое суток попутный ветер будет доносить из Кривчицкого леса до самого центра Львова зловонный запах горелого мяса. И львовяне уже по одному запаху догадаются, куда и для чего провозили фашисты мимо их окон в открытых грузовиках новые партии полуголых, озябших смертников. Ибо так хотел фашизм, ибо так было угодно Адольфу Гитлеру, его нацистской партии. Их провозили туда, на Пески, за Лычков, еще и потому, что открытый вечности город захватили гитлеровцы.

Немцам помогала вылавливать и уничтожать назначенных к истреблению людей специально созданная в Галиции «украинская полиция» — 6000 отборнейших мерзавцев, набранных из человеческого отребья. Создавали такую полицию Владимир Кубийович, Кость Паньківський, Степан Бандера, Андрей Мельник и прочие «фюеры» украинского национализма — старые и молодые наймиты, запродавшие свои души фашистскому дьяволу еще задолго до захвата немцами Львова.

...Костер сгорает. Исчезает в огне население еще одного провинциального местечка.

Но сгорит не все! Огонь пощадит металл. Не сгорят, например, зубы, сделанные из металла, уцелеют не тронутые огнем кое-какие кости убитых, особенно кости стариков.

И тогда, чтобы приказ Гимmlера от 6 июня 1943 года о полном затирании следов содеянного немцами был выполнен точно, кому-то из немцев во львовском гестапо пришла в голову «конструктивная» техническая мысль: «Надо устроить машину, которая будет перемалывать человеческие кости».

...Ее мы увидели августовским днем 1944 года в Янов-

ском лагере смерти, и первая мысль была: «Правда ли это?»

Машина для перемалывания человеческих костей, увиденная нами тогда, выглядела внешне очень мирно.

Снаружи она напоминала обычную камнедробилку. Мы слушали рассказ человека, работавшего на машине, — Манусевича. Он взобрался на ее крыло и удивительно монотонно рассказывал о том, как сам лично перемолол в машине останки более 30 000 убитых немцами заключенных в лагере, а среди них — и кости собственной жены.

Машина-костедробилка была перевезена из Яновского лагеря в центр Львова и выставлена для обозрения.

Никто не догадался сразу осмотреть ее более подробно. Люди, которые сделали это, со временем обнаружили в потаенном днище машины множество металлических отходов. Разумеется, это были далеко не все отходы, которые изрыгала машина из своей пасти. Это была, может быть, последняя частица отходов, упавшая в силу своей тяжести на дно за несколько дней до того, как машина перестала грохотать навсегда.

Находку принесли в инспекцию пробирного надзора на улицу Гротгера. Груда мельчайших металлических частиц появилась на столе палаты, а знатокам пробирного дела Марии Левиной, Александру Кравецкому, Софье Шевелевой потребовалось ставить самую необычайную пробу в их жизни.

И они поставили ее точно — это фашизм!

Да, иной пробы быть не могло!

... Лежат на столе в инспекции пули. Обычные, похожие друг на дружку, тупые пули из немецких автоматов, застрявшие некогда в человеческом теле, в несгоревших костях.

Мы держали в руках эти пули, облепленные шлаком и костяной пылью, и нам чудилось, что с руки струится кровь. Мы ощущали ее теплоту почти явственно — здесь была кровь одной трети мирного населения Львова!

Мы смотрели на пули, и в сознании возникали огромные концерны Круппа, Тиссена, Мессершмитта и других

промышленных магнатов Германии. Там были сделаны они!

... Дымили в нашем воображении высокие трубы оружейных заводов, построенных с помощью английских и американских капиталистов после Версаля.

Они и сейчас хотят сохранить эти заводы. Пули на широком столе — следы выпестовавших гитлеризм английских и американских магнатов, следы деятельности фашистского орденосца Генри Форда и оружейного короля Базиля Захарова, кавалера английского ордена Бани.

— ... Только металлических зубов и коронок выбрали отсюда несколько десятков килограммов! — проговорила Мария Левина. — Даже по одним коронкам можно подсчитать, какое огромное количество людей убито гитлеровцами в самом Львове.

— Ну, а сколько же из обреченных пошло на смерть, имея во рту собственные зубы? — сказала, отрываясь на минутку от непривычной работы, Шевелева.

Точнее пробы нет!

Пусть же сохранится эта проба в памяти народной, в сознании воинов, оберегающих нашу отчизну, чтобы мы никогда не забывали о тех ужасах, которые принес на нашу землю фашизм.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ШКОЛЫ

Седьмая украинская школа, в которую мы зашли, до немецкой оккупации носила имя Коперника. Директор школы Сидор Гречуха, высокий смуглый человек в рваном холщовом костюме, возвратился в город вместе с войсками Советской Армии 27 июля 1944 года. Сперва он не узнал школу. Вдоль ее фасада выросло несколько бетонированных гнезд, связанных ходами сообщения с классами. Захватчики устроили в школе сперва концентрационный лагерь, а потом свою казарму.

В пятом классе они устроили склад вещей, награбленных у городского населения. Если вещи были тяжелые, фашисты заставляли нести их сюда самого владельца. В дни, когда началось массовое истребление евреев, к школьному зданию на улице Кубали тянулись отовсюду обреченные люди, таща на себе вещи.

Фашисты очень любили люстры и жирандоли. Тяжелые бронзовые или позолоченные, а особенно старинные, в которых много цветного металла. Люстр собралось так много, что в классе немцы привернули к потолку особые крючки для подвешивания этих «трофеев».

Когда Советская Армия завязала бои на окраинах Львова, мародеры принялись уничтожать не только го, что они наворовали, но и школьные вещи.

До войны в этом здании училось 1200 школьников. Среди них было немало музыкантов. В школе для них было два первоклассных рояля. Мы видели, что сделали гитлеровцы с этими роялями. Они танцевали в сапогах на их крышках, выломали клавиатуру, почти с каждого клавиша поотдирали пластинки слоновой кости.

Единственное, что не сумели немцы испортить, были... гробы. Двести с лишним черных, просмоленных, как рыбацьи лодки, гробов, сложенных штабелями, высились на школьном дворе. А поодаль, на гряде стреляных гильз и пустых бутылок из-под шнапса, ветер шевелил страницы залитой мазутом книги «Моя борьба» с портретом Адольфа Гитлера.

Вместе с дворником и родителями будущих учеников Сидор Гречуха принялся наводить порядок в классах. Под книгами были заложены мины, в печках — ручные гранаты. «Как мы только не взорвались — понять не могу!» — рассказывал нам Гречуха. Он притащил на плечах из немецкого склада ящик оконного стекла, прикатил бочку извести. Женщины развели известку и, пока мужчины выволакивали мусор, стали белить стены будущих классов, освежать временно, до основательного ремонта.

Вы думаете, люди получали за свой труд плату?

Ничего подобного!

Сидор Гречуха числился на службе в областном отделе народного образования и обязан был к девяти являться на службу. Но он вставал в пять часов утра и заодно с людьми, вдохновленными его примером, работал, как простой чернорабочий, в своем единственном костюме. Все работающие здесь хотели подготовить вовремя школу к новому учебному году.

Таская носилки с обломками люстр, Гречуха думал: где же достать учебники? Неожиданно люди, чистившие школу, нашли клад. Под кучей строительного мусора и

досками лежали уложенные ровными рядами две тысячи учебников, по которым дети обучались до 22 июня 1941 года. Их спрятал здесь кто-то из педагогов этой школы. Ночью, когда уже в городе были фашисты, он пробрался в школу, к дворнику, взял у него ключи и сказал: «Я пойду и запрячу кое-какие книги, а то сожгут их немцы!» Дворник не запомнил фамилии педагога, но когда клад был обнаружен, рассказал нам о ночном визите. Одиннадцать педагогов этой школы были убиты фашистами. . .

Первого сентября 1944 года прозвонил звонок, объявляющий начало занятий. Ученики сели за парты.

. . . Улыбающийся, довольный Гречуха в этот торжественный день показал нам чистые и кое-где уже застекленные классы, побеленные печи. Он выглядел нарядно.

— С обновкой вас! — сказал я, глядя на его хорошо отутюженный серый костюм.

— До позавчерашнего дня его не было, — сказал Гречуха. — Я шел в город вслед за войсками, вместе с группой львовских советских работников. Да ободрался в дороге, а тут еще и ремонт школы добавил. На коленях у меня латки, сзади тоже вид неутешительный. Не знал, что и делать: не директор, а босяк! Три с лишним года назад, 29 июня 1941 года, я уходил из Львова с последними арьергардами Красной Армии. Когда вернулся, застал в моей квартире других людей. Вещи мои немцы забрали. Пошел я к себе обратно в школу не солоно хлебавши, а тут, вижу, из соседней подворотни окликает меня женщина: «Пане профессор! Вы жили здесь три года назад?» — «Ну да, жил», — говорю. «Так у меня для вас пакет хранится. От вашей прачки. Вы давали ей какую-либо работу до войны?» Начал я припоминать и боюсь ответить определенно. Все вылетело из головы. Война, мировые потрясения, — да кто помнит при таких обстоятельствах, что именно он давал прачке? Тем временем, не дожидаясь моего ответа, женщина забежала к себе домой и выносит оттуда завернутый в бумагу мой серый костюм. Вот этот, что вы видите на мне. Оказывается, я дал его выутюжить и почистить 21 июня. На следующий день война, все завертелось, и конечно же я забыл о нем. А прачка разгладила его и, уезжая в село,

отдала его на сохранение соседке, веря, что мы вернемся...

...Слушая Гречуху и историю возвращения его серого костюма, мы невольно вспомнили и о педагоге, который, будучи убежден, что советская власть вернется, пробрался ночью в школу Коперника и спрятал две тысячи советских учебников. И в поведении педагога и в надежде простой прачки отразилась глубокая вера молодых советских граждан Львова в непобедимую силу советского народа.

НА УЛИЦЕ ДОЖДЬ...

В девяти львовских кинотеатрах население смотрит «Кутузова» и «Битву за Россию», «Давид-Бека» и чеховские кинофильмы. Скоро пойдет «Радуга» и «Секретарь райкома». Все эти картины смотрел и пересмотрел советский зритель, и ничего особенного, казалось бы, в том, что их показывают во Львове, нет. Но ведь три года подряд большинство жителей Львова не видели ни одного фильма, ни одной театральной постановки. Надписи «Только для немцев» висели около касс лучших кинотеатров города. Но даже если бы кому-нибудь из львовян, не сотрудничавших с немцами, и представилась возможность купить билет, он бы не сделал этого.

— Не такое было время, чтобы в кино развлекаться, когда виселицы стояли за оперным театром! — сухо сказал нам один из львовских старожилов.

Вот почему в полутьме кинозалов в августе 1944 года мы наблюдали небывалую реакцию зрителя, мы видели слезы на глазах у львовян, выходивших на улицу по окончании сеансов. И понимали, отчего они...

Девятнадцатого августа львовские артисты показали «Запорожца за Дунаем». Опять услышали львовяне незабываемую арию Карася и его дуэт с Одаркой. Коллектив местных украинских артистов сразу же стал готовить «Украдене щастя» Ивана Франко; несколько раньше украинских актеров пьесой Габриэли Запольской «Их четверо» открыл свою сцену польский драматический театр. Его спектакли мы смотрели во Львове и раньше, почти до конца июня 1941 года. Тогда литературной частью театра заведовала Ванда Василевская. Премьера

пьесы «Их четверо» была подготовлена артистами к приходу Советской Армии еще в подполье. . .

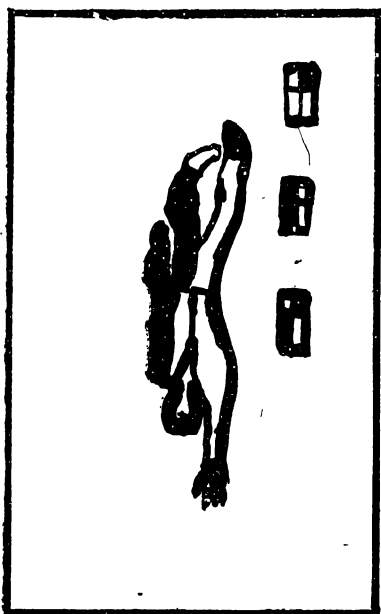
Внизу на перекрестке недавно повесили радиорупор. Если из рупора льется музыка, люди часто проходят мимо. У них нет времени задерживаться для развлечения.

Но ближе к восьми часам там начинает собираться толпа. Водители идущих с фронта машин, притормаживая их, выскакивают из кабин, не понимая причин такого скопления народа.

Люди стоят молча, разные по внешнему виду: старики в котелках еще времен Габсбургов, в шляпах, в канотье, трамвайщики в форменных фуражках с высокой тульей, монтеры телефонной сети со стрелками на петлицах, доктора, домашние хозяйки, даже монахи — кого только нет здесь в этот серый, предвечерний час у рупоров!

С каждым новым днем все радостнее, свежее лица у людей, слушающих «Последние известия».

...И, слушая родной бодрый голос великого русского народа, люди города, который один из его поэтов назвал «открытым вечности», пережившие фашистскую неволю, перестают разговаривать шепотом и шире расправляют усталые плечи. . .



ПОСЛЕДНЕЕ САЛЬТО СЕРОГО

ПАМФЛЕТ

В дни молодости уехавшему учиться во Львов попovichу Степану доводилось не раз приглашать к телефону своего папашу — греко-католического священника Андрея, сидящего на приходе в Угринове Старом, близ Калуша на Станиславщине. При плохой слышимости, стояло телефонистке переспросить фамилию заказчика, он кричал в трубку срывающимся, заносчивым голосом:

— Бандера! Пани не розуме? Ба-анде-ра!.. Ну, як «банда»!.. Тераз пани зрозумяла?..

Так, случайно, и в телефонных разговорах и в выборе последующего пути упрямый, низенький попovich, задумавший стать украинским Наполеоном, сам уже определял прогноз своего жизненного назначения.

Не всегда фамилия определяет существо человека. Но бывают удивительные совпадения. Одного из главных вожakov украинских националистов, который пытался «раз-

вернуться» в первые послереволюционные годы, Симона Петлюру, судьба пометила тоже миленькой фамилией, начинавшейся со слова «петля». Правда, кончил Петлюра не на виселице. Бежавший от мести украинского народа во Францию, головной атаман рухнул на асфальт парижского тротуара от пуль мстителя, семью которого зарубили на Украине петлюровцы. Случилось это 25 мая 1926 года.

Уже в те годы разбежавшихся по заграницам националистов, врагов украинского народа, стал прибирать к рукам соратник Петлюры, такой же, как и он, палач трудящихся, подавлявший в крови восстание рабочих революционного «Арсенала», полковник гетманской службы Евгений Коновалец. Он сколотил из них законспирированную террористическую организацию «УВО» — «Украинскую военную организацию», которая несколько позже, в начале тридцатых годов, стала называться «ОУН», или «Организация украинских националистов». Не отказавшись от террора как основного средства убеждения непокорных, она в то же самое время пыталась проникнуть в любые украинские группы и общества, как на Западной Украине, так и за ее пределами, всюду, где только жило украинское население.

Для роста этой организации Евгению Коновальцу кроме битых нещадно в открытых боях Красной Армией петлюровских офицеров понадобились более свежие, молодые кадры. Он стал набирать их из числа недоучившихся кулацких сынков, поповичей, всякого рода авантюристов, тех, что метили пройти по жизни с помощью ножа и пистолета, да еще при этом завоевать себе легкую славу борцов за «самостийну Украину». Другой разговор, что так называемая борьба за «самостийну Украину» всегда была только ширмой, демагогическим приемом, рассчитанным на уловление нестойких душ, жаждущих выхода из своего пребывания в иноземной неволе. На самом же деле буквально на всех этапах деятельности УВО—ОУН можно было всегда проследить полное совпадение целей этой преступной организации, замышляющей отрыв Украины от России, с целями интервентов. ОУН, как агентура иностранных захватчиков, всегда была нужна им для того, чтобы, оторвав Украину от Советского Союза, превратить ее в колонию больших империалистиче-

ских государств, а после такой «ампутации», как некогда цинично назвал возможное отъединение Украины «железный канцлер» Германии Отто Бисмарк, последовал бы окончательный разгром всего Советского Союза. Именно благодаря совпадению целей ООН с целями империалистических государств уже несколько десятилетий это сборище националистов существует исключительно на подачки иностранных разведок и служит тому, кто больше заплатит, а то и сразу нескольким хозяевам. Правда, денежная зависимость от больших хозяев всегда тщательно конспирировалась.

Десятого апреля 1931 года в специальном «украинском информационном бюллетене» Евген Коновалец признался, что его организация «черпает средства от наших людей в Америке и Европе». Какие это «люди» — всем отлично известно. Сам «верховный комендант» Коновалец все тридцатые годы получал ежемесячно по 150 американских долларов, или по 1300 польских злотых, тогда как жалованье посла в сейме буржуазной Польши не превышало 1000 злотых. Время от времени националисты получали денежную помощь не только из Америки и Германии, но даже от маленькой Литвы, подданным которой официально числился болтающийся по разным странам Евген Коновалец — друг тогдашнего министра буржуазной Литвы Зауниса. Министр иностранных дел Литвы Заунис выдал Коновальцу дипломатический паспорт. Помощь Зауниса украинским националистам выражалась и в том, что газета ООН «Сурма», по приказу литовского министра, тайно печаталась в типографии Каунасской тюрьмы и оттуда тюками перебрасывалась в Польшу, с которой тогда Литва разорвала дипломатические отношения.

Из чужого денежного корыта, помимо злотых, получаемых от своего папаши, черпал и Степан Бандера. «Из молодых, да ранний!» — говорили про него, видя, как, не гнушаясь никакими методами, стремится утвердить свое место в сборище националистов этот волчонок. Если в юности, для того чтобы «укрепить волю» будущего националиста, Степан Бандера на глазах у своих единомышленников давил на пари одной рукой кошек, то уже начиная с тридцатых годов он постепенно переносит свою практику на людей. Это именно он изобрел пресловутую

бандеровскую удавку — такую комбинацию веревочной петли, которой можно тихо, бесшумно задавить человека в любом положении. «Возвращения назад для нас нет, потому что все мосты за собой мы сожгли и все корабли потопили», — заявляет Бандера на страницах националистической газетенки «Сурма». Та же газета призывает: «Нет среди нас места для людей малой веры или для слабовольных, у кого пошаливают нервы. Таких надо без всякого милосердия бросать себе под ноги, ибо кто не шагает вместе, тот мешает в пути». Осуществляя на практике эту «доктрину», Бандера лично приказывает своему подручному, некоему Королишину, убить в июне 1934 года во Львове почти ребенка, ученика седьмого класса гимназии, только за то, что тот не пожелал идти в ногу с националистическими бандитами.

Именно в связи с таким указанием подручные Бандеры убивают вблизи Дрогобыча кузнеца Билецкого и вырезают у него на лбу красную звезду, только потому, что кузнец Билецкий стал склоняться на сторону коммунистов. Да разве только одни эти преступления являются вехами кровавого пути поповича, фамилию которого начинает слово «банда»?

Это он готовит покушение на школьного куратора Гадомского во Львове, посылает кулацкого сынка Лемика в советское консульство во Львове, и тот убивает там в 1934 году секретаря консульства Андрея Майлова. Подручные Бандеры бросают бомбу в типографию Яськова, где печатается негодная им литература, убивают директора гимназии Бабия, студента Бачинского, делают засаду на писателя Антона Крушельницкого. Лишь за первое полугодие 1934 года, когда Бандера был краевым руководителем ОУН в Западной Украине, по его личному приказу было убито девять человек. Начало карьеры было громким и кровавым! Но разве могут принести золотушному поповичу широкую популярность такие «мокрые дела», как, скажем, нападение на почту в Городке и убийство нескольких мелких почтовых служащих или расправа над никому не известным в мире гимназистом? Для славы нужны более крупные мишени! Наиболее удобной для них становится министр внутренних дел Польши Бронислав Перацкий.

После полудня 15 июня 1934 года Бронислав Перац-

кий подъехал на машине к зданию клуба по улице Фоксаль, в Варшаве. Только он поднялся в вестибюль клуба, к нему сзади подкрался уроженец местечка Ширец, под Львовом, двадцатилетний Григорий Мацейко и тремя выстрелами в затылок убил министра из того же самого пистолета системы «испанец», калибр 7,65, из какого был застрелен бандеровцами во Львове студент Яков Бачинский.

Польской полиции не стоило особенного труда задержать почти всех организаторов этого покушения во главе со Степаном Бандерой, его ближайшими подручными Мыколой Лебидем¹, Богданом Подгайным, убийцей Бачинского Романом Мигалем и другими.

Быстрому задержанию организаторов покушения способствовало и то обстоятельство, что полиция буржуазной Польши, как это выяснилось впоследствии, имела своих постоянных агентов-provokаторов Ярослава и Романа Барановских в самом высшем руководстве ОУН — так называемом «проводе». Уже первые дни открытого процесса над Бандерой и его сообщниками ясно доказали всему миру, что мишень была выбрана, как говорят поляки, «на хиби трафил» — на ощупь, что дело не столько в самом Брониславе Перацком, который мало чем отличался от других деятелей тогдашней правящей клики Польши, а дело все в том, чтобы, убивая сколько-нибудь заметного в обществе человека, придать большой резонанс этому делу и возвеличить в глазах общественного мнения исполнителей акта, вызвать у определенной части молодежи стремление подражать, идти по пути террора, но самое главное — этим выстрелом пополнить денежные фонды украинских националистов.

Ведь не случайно именно в это самое время в Соединенных Штатах Америки фюрер украинских националистов Евген Коновалец развил бешеную кампанию за сбор долларов на пополнение кассы ОУН. Не подлежит никакому сомнению, что правящие круги буржуазных государств и даже Польши, действуя по методу — из двух зол надо выбирать меньшее, поощряли террористическую деятельность украинских националистов. Соединяясь с

¹ Сейчас живет в США и обслуживает Центральное разведывательное управление.

разведывательной работой в пользу капиталистических государств, подкрепляя демагогическую агитацию националистов видимостью активных, решительных действий, она помогала отвлекать людей, не сведущих в закулисной политике националистов, и в первую очередь — одурманенную ими молодежь, от организованной революционной борьбы. «Подумаешь, — надо полагать, цинично рассуждали деятели и польской дефензивы, — пусть себе кричат да постреливают. Потеряем одного-двух школьных кураторов, пару министров да воевод, но зато не будем иметь сплоченного, наступательного народного фронта, который может сокрушить всю нашу государственную систему». Недаром даже один из теоретиков украинского национализма, Владимир Винниченко, видя эту нечистую игру с помощью отдельных покушений и дикого, демагогического вопля поповичей, вооруженных испанскими и немецкими пистолетами, написал однажды, что террор является самоубийством той идеи, которая его проповедует.

На суде Бандера держался вызывающе-крикливо, стремился произвести впечатление на публику и не очень боялся смертного исхода для себя и сообщников, ибо отлично знал, в каком направлении бежал Григорий Матейко и кто его встретит за Данцигом. Участнику двух конференций ОУН, проходивших в Берлине, Степану Бандере было ясно, что Коновалец, затеявший флирт с Гитлером еще в те годы, когда неудачливый художник собирал в кабаках Мюнхена первых своих сообщников фашистов, сделает все для того, чтобы оказать соответствующее давление на правителей Польши и спасти своих украинских последователей от петли, которую они заслужили. Бандера догадывался, что в то самое время, когда его и подручных приводят в суд, бывший капитан австрийской армии, а ныне основное связующее звено между ОУН и абвером, некий Ришард Яры, член центрального «провода» ОУН, и его боевой референт Емельян Сенник-Грибивский, прозванный «торговцем террором», делают и сделают все, чтобы спасти своих единомышленников в Варшаве.

И в то время, как правительство буржуазной Польши беспощадно расстреливало коммунистов, подвергало их пыткам в лагере Береза-Картуская, Степан Бандера,

Мыкола Лебидь и Карпинец — были приговорены к пожизненному заключению, а остальные участники убийства Перацкого отделались куда более малыми сроками заключения.

Пока Степан Бандера отдыхал после «трудов праведных» в камерах тюрьмы «Вронки» и сооруженной на верхушке горы Лысица тюрьмы «Свентый кшиж» («Святой крест»), один из руководителей гитлеровской военной разведки — абвера, полковник Эрвин Штольце, вызвал к себе на встречу в австрийский город Баден близ Вены руководителя ОУН Евгена Коновальца.

Встреча состоялась на квартире бывшего генерала «Украинской Галицкой Армии» Виктора Курмановича.

Подливая в рюмку Коновальцу французский коньяк «Наполеон», высокий, поджарый и голубоглазый Эрвин Штольце тихим, но настойчивым голосом передал ему все те новые ориентировки, которые он получил в начале 1938 года от шефа немецкой военной разведки адмирала Канариса. Смысл этих указаний был таков: «Конечно, диверсионную работу против поляков надо продолжать. Можно даже позволить определенным группам «санации» в Польше, ведущим внутрипартийную борьбу, использовать украинских террористов для ликвидации неугодных людей, так, как они убрали Голувко и Перацкого. Мы, управление абвера, в этом заинтересованы. Но есть более важная цель: сейчас фюреру и немецкой военной разведке надо прежде всего, любыми путями активизировать подрывную работу украинских националистов против Советского Союза».

В ночной беседе на квартире Курмановича в Бадене Коновалец дал согласие еще больше активизировать подрывную деятельность националистического подполья в Польше и работать против Советского Союза.

Двадцать третьего мая 1938 года, имея чехословацкий и литовский паспорта на имя Иосифа Новака, Евгений Коновалец прибыл в Роттердам и после встречи с одним из своих доверенных агентов в кафе «Атланта» был разорван на куски врученной ему агентом «сюрпризной коробкой», которая состояла из взрывчатки с часовым механизмом ударного действия. Для людей, хоть немного знакомых с тайной, закулисной борьбой разведок, ничего удивительного в подобной кончине Евгена Коновальца не

было. Став однажды на стезю шпионажа и убийств, все эти «торговцы террором» вряд ли могут мечтать о спокойной кончине под пуховыми перинами, на собственной кровати. Чаще всего они гибнут по методам, которым обучают своих подручных. Буржуазные газеты и особенно украинские националистические листки подняли тогда невообразимый гвалт в связи со смертью Коновальца, усматривая в ней пресловутую «руку Москвы». Но тем не менее некоторые из газет стали подвергать сомнению эту наиболее выгодную для ОУН версию о смерти вожака ОУН. Так, швейцарская газета «Базлер нахрихтен» писала: «Приятеля Коновальца верят в акт мести со стороны большевиков, однако тайны, которые окружали весь образ жизни неутомимого конспиратора, допускают и другие предположения».

Через несколько дней швейцарский журналист, передавший подобное сообщение из Роттердама в Базель, навсегда лишился места в «Базлер нахрихтен»...

В обстоятельствах, сопутствовавших тому, как убрали Коновальца, любопытно и другое. Первым, кто опознал мертвого, был прилетевший к нему на явку из фашистского Берлина связной центрального «провода» ОУН и параллельно — штатный провокатор польской полиции Ярослав Барановский.

Когда чины голландской полиции показали ему останки Коновальца, этот профессиональный шпик-«двойник» запричитал по-немецки, с украинским акцентом, со слезами на глазах бросился на землю:

— О майн фирер! Майн фирер!..

Не успели жители домов по центральной улице Роттердама Кользингелъ, прилегающих к месту происшествия, вставить стекла в окнах, выбитые взрывной волной, как уже 29 мая 1938 года из Львова в Роттердам, получив официальные польские паспорта, выехали на похороны Коновальца его брат, а также шурин, управляющий именными митрополита Андрея Шептицкого, в прошлом — тоже полковник гетманской службы, в годы первой мировой войны, Андрей Мельник — преемник убитого в «проводе» ОУН.

Многие жители Львова были крайне удивлены такой галантностью польской полиции, которая, прекрасно зная, что Мельник стоял у руководства организации,

убившей министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого, разрешила ему совершенно легальный выезд из Польши, принимать «дела от покойного». Подобная предупредительность властей буржуазной Польши, проявленная ими по отношению к претенденту в фюреры ОУН, объяснялась нажимом абвера и тогдашним антисоветским курсом польского правительства. Даже такой старый враг коммунизма, как Уинстон Черчилль, в своих мемуарах о второй мировой войне так охарактеризовал тот курс:

«Все эти годы Польша была авангардом антибольшевизма. Левой рукой она поддерживала антисоветские прибалтийские государства. Однако правой рукой она могла ограбить Чехословакию в Мюнхене».

Совершенно ясно, что если бы правительство тогдашней Польши придерживалось иного курса, оно никогда бы не разрешило украинским националистам развивать подлую деятельность, принесшую и тогда, и особенно впоследствии столько жертв не только украинскому, но и польскому народу. Тем не менее, зная об антисоветском курсе польской реакции, замышляя нападение на Польшу, абвер побаивался, как бы в суматохе первых дней войны польские тюремщики не уничтожили их ценных агентов из числа украинских фашистов. Поблизости от тюрьмы «Святой крест», где сидели Бандера (абверовская кличка «Серый») и его сообщники, был выброшен парашютный десант из отпетых гитлеровских головорезов. Они должны были освободить Бандеру. Многих из них выловили и расстреляли польские патриоты, и тогда чины польской полиции заботливо эвакуируют Бандеру из тюрьмы живым и здоровым, и он попадает на берег Вислы, прямо в... объятия видных гитлеровских специалистов по делам славянства. Катаясь как сыр в масле в занятом гитлеровцами Кракове, Бандера предлагает свои услуги в создании легионов из отпетых украинских националистов для готовящегося нападения на Советский Союз. Его охотно принимают и выслушивают бывалые гитлеровские разведчики — доктор Теодор Оберлендер, коллега и приятель Оберлендера по Кенигсбергскому университету, такой же, как и он, «специалист» по обращению с людьми других национальностей, капитан абвера Ганс Кох, полковник Альфред Бизанц, гестапо-

вещ Альфред Кольф, доцент Ганс Иоахим Баер. Шумные научные звания скрывают у этих лиц годы службы в абвере и многие грязные шпионские дела, выполненные ими. Если, скажем, Ганс Кох боролся активно с большевиками, еще будучи сотником «Украинской Галицкой Армии», и принимал участие в переговорах «украинских сичевых стрельцов» с генералами белогвардейских частей Деникина близ Винницы, то его более молодой приятель Теодор Оберлендер неоднократно засылался в Советский Союз и путешествовал по Советской стране под «крышей» скромного, но любознательного немецкого туриста — агронома. Все эти специалисты от шпионажа продумывают, как лучше осуществить в дни войны старую, извечную тактику «разделяй и властвуй» и поскорее превратить советский народ в нацию рабов. Им усиленно помогают в этом украинские фашисты во главе с Андреем Мельником и Степаном Бандерой, но, помогая им, в безудержной жажде власти — обманывают своих хозяев. Да, да — обманывают!

Стоило бы послушать тогда, в преддверии гитлеровского нападения на СССР, этих изменников, — можно было подумать, что и впрямь у них в распоряжении находится отлично замаскированное и широко разветвленное националистическое подполье. Стоит только ударить первым залпам немецких орудий, доказывали они своим хозяевам, как немедленно вся Украина будет объята восстанием. Вот на эту-то удочку и поймались опытные гитлеровские разведчики, так же, как и большая часть гитлеровского генералитета, свято уверовавшие в теорию «блицкрига» — скоротечной войны.

В те дни, когда вместе с Теодором Оберлендером Бандера и его приближенные вербовали добровольцев в легионы «Нахтигаль» и «Ролланд», старый гитлеровский агент Бандера уже поступил на связь к полковнику Эрвину Штольце. К этому времени Штольце узнал новые подробности трений между Бандерой и Мельником. В них нашла отражение конкурентная борьба их хозяев — гестапо и абвера. Более молодой, энергичный карьерист из недоучившихся поповичей, Степан Бандера, ссылаясь на проведенные им «мокрые дела», уже всеми силами отталкивал от руководства ОУН более пожилого, типичного служаку-чиновника Андрея Мельника. И хотя Эрвин

Штольце в докладах начальству характеризует Бандеру словами: «карьерист, фанатик, бандит», это никак не мешает ему, по личному указанию Канариса, всячески активизировать Бандеру. Тот, выслуживаясь перед абвером, рад стараться. Чувствуя запах близкой войны, в одной из квартир Кракова долгими ночами Бандера составляет инструкции своему бандитскому подполью и приближенным лицам. «Наша власть должна быть страшной», — записывает в одной из инструкций этот карлик со слезящимися глазами, мечтающий стать диктатором покоренной гитлеровскими войсками Украины.

В другой инструкции, озаглавленной «Борьба и деятельность ОУН во время войны», Бандера требует от своих подручных еще до того, как прогремели пушки, составить «черные списки» на всех выдающихся поляков и украинцев, которые бы помешали националистам и могли бы «вести свою собственную политику». Уже сам замысел составления «черных списков» для карательных органов гитлеровской Германии может вызвать дрожь у честных людей. Но чего иного можно было ждать от этих злобных выродков и предателей, для которых измена интересам народа стала профессией и главной целью жизни.

Разве это не они записали в пункте 7 так называемого «декалога украинских националистов» наставление: «не поколеблемся выполнить любое преступление, если этого будет требовать польза дела»?

Именно ради этой «пользы дела», чтобы оправдать немецкие марки и приготовленные для них мундиры вермахта, украинские националисты усердно составляют «черные списки» ликвидации неугодных для так называемых «эйнзатцкомандо»¹, частей вторжения и других карательных органов, которым разрешено расправляться

¹ Незадолго до нападения на Советский Союз между генеральным штабом германской армии (вермахт) и главным управлением имперской безопасности (РСХА) было заключено соглашение о придании каждой армии так называемых эйнзатцкомандо и эйнзатцгрупп СД (зондердинста), которые должны были вести массовое уничтожение советских людей на оккупируемой территории. В тесном контакте с такими эйнзатцгруппами и действовал во Львове входивший в дивизию «Бранденбург» националистический батальон «Нахтигаль». — В. Б.

со всеми без всякого суда и следствия. Кто заносится в эти «черные списки»?

Прежде всего, разумеется, лица других национальностей: поляки, русские, евреи. Действуют и личные соображения. Среди недоучек, окружавших в те дни Бандеру, были молодчики, сменившие школьную скамью на карьеру террориста и шпиона. Лихорадочно вспоминая, кто был причиной их несчастий на школьном поприще, ни в коем случае не желая приписать неудачи в образовании самим себе, они выискивают в памяти неугодных, требовательных профессоров и преподавателей и заносят их фамилии в «черные списки». Советские пограничники мешают вражеской агентуре прокорректировать эти списки для вручения их Оберлендеру и ниже с ним. Пограничники зорко берегут границу государственных интересов Советского Союза по Сану и Западному Бугу, и поэтому приближенные Бандеры заносят в «черные списки» даже лиц, умерших естественной смертью уже после того, как украинские фашисты бежали из Львова, от Красной Армии. Так, в «черных списках» появились фамилии директора Львовского филиала библиотеки Академии наук УССР, доктора Людвиг Бернацкого, профессора дерматологии Романа Лещинского и доктора-окулиста Адама Беднарского... Все эти ученые умерли естественной смертью до начала вторжения, и приехавшие их арестовывать по «черным спискам» ОУН каратели и участники легиона «Нахтигаль» были озадачены тем, что им рекомендуют расстреливать... мертвых...

...Продолжая выполнять обещания своего покойного учителя Евгена Коновальца, данные им Эрвину Штольце в австрийском городке Бадене, Степан Бандера активизирует шпионскую сеть не только в Западной Украине, но и посылает своих агентов даже под Ленинград. В изданной Военным издательством Министерства обороны СССР интересной книге «В поединке с абвером» рассказывается, как чекисты Ленинградского фронта вылавливали агентов Бандеры, пробравшихся в город Ленина и его окрестности.

«Органы государственной безопасности СССР, — говорится в книге, — в предвоенные годы выловили немало шпионов и диверсантов, действовавших на нашей земле по заданиям абвера. Так, в течение 1940 года и первой

половины 1941 года советская пограничная охрана задержала несколько сот германских агентов, пытавшихся проникнуть на территорию СССР. За этот же период органами государственной безопасности было разоблачено в западных областях Украины, Белоруссии и Прибалтике около полутора тысяч агентов германской разведки. Однако некоторым из них удалось избежать в то время разоблачения. Особую опасность для обороны страны представляли агенты, которых главарь ОУН и других националистических организаций, воспользовавшись призывом новобранцев в западных областях Украины осенью 1940 года, сумели по указанию абвера внедрить в ряды Красной Армии. Эти лазутчики врага в большинстве случаев обезвреживались уже в ходе Великой Отечественной войны». (Разрядка моя. — В. Б.)

И дальше авторы книги, бывалые чекисты Ленинградского фронта, документально подтверждают это, приводя целую серию имен и фамилий выкормышей ОУН, действовавших под Ленинградом.

В то время, когда гитлеровцы уже закапывались в землю под стенами города Ленина, эти презренные людишки пытались наносить удары в спину защитникам города. Рядовой 603-го ветеринарного лазарета Федаковский, его сообщники Марьян Пелих, Григорий Ставничий из-под Дрогобыча, Владимир Карпита не только распространяли фашистские листовки с призывом переходить на сторону врага, но готовились совершить нападение на караульных, захватить оружие, физически уничтожить командование части и бежать в лес для последующего перехода на сторону противника.

В артиллерийском полку 23-й армии действовала другая группа бандеровцев. В нее входили уроженцы Коломыи, Станиславской области, Адам Запутович и Ярослав Хомяк, они помогли бежать к немцам своему земляку Петру Харию, пытались вовлечь в свою группу других красноармейцев украинской национальности, но среди последних оказались честные люди, как Гнатюк и Голубаш, которые помогли работникам особого отдела разоблачить предателей.

Почувительна предыстория предательства.

«В организацию украинских националистов молодого учителя Ярослава Хомяка вовлек сын лавочника Голинский. Осенью 1937 года на берегу быстрого Прута Ярослав дал клятву на верность ОУН, получил кличку и по поручению Голинского стал собирать сведения о частях польской армии и жандармерии в Коломые и окрестностях. Когда Германия напала на Польшу, Хомяк в составе вооруженного отряда, который оуновцы именовали милицией, должен был помочь гитлеровцам захватить Коломыю. Но в город вступила Красная Армия. Самозванную милицию распустили. Голинский спешно уехал во Львов, а Хомяку дал указание добывать информацию о советских войсках. Так Ярослав Хомяк стал шпионом абвера. Через два месяца он передал Голинскому, приехавшему из Львова, тетрадь с подробными данными о размещившейся в городе танковой части. Хомяк разузнал все — тип танков, количество, фамилии командиров. Голинский похвалил его. Он не сказал, кому предназначались собранные сведения. Однако шпион догадывался — германской разведке.

Последовало новое задание — вступить в комсомол. Ярослав Хомяк стал двуликим Янусом. Выполнял комсомольские поручения и в то же время одурманивал головы юнцам ядом национализма, подбирал новых членов в ОУН. Осенью сорокового года Хомяка призвали в Красную Армию. Голинский приказал ему:

— Тайнописью сообщать сведения о частях гарнизона, где придется служить. — И вручил флакон с симпатическими чернилами...

...В апреле 1941 года Ярослав получил телеграмму о смерти отца и поехал в Коломыю. Хотя он и спешил домой, но не сделать короткой остановки во Львове не мог. Прямо с вокзала — к Голинскому, который теперь играл в оркестре львовского театра.

— Ярослав! Какими судьбами?! — встретил тот его.

Узнав, куда и зачем едет, Голинский посочувствовал Ярославу, провел в гостиную, усадил на диван, угостил папиросой и, выждав время, спросил:

— Получил от тебя только одно письмо. В чем дело?

У Хомяка дрогнула левая щека:

— В казарме опасно. Я уничтожил флакон... с теми чернилами.

— Не ожидал. Ну, тогда рассказывай. О частях гарнизона, вооружении, командирах. Все, что знаешь.

Прощаясь, Голинский сказал Хомяку:

— Хорошо, что заехал. Священная война с Советами не за горами... Есть директива: как только она начнется, наши люди с оружием в руках должны уходить через линию фронта и пробираться на родную землю, в свое украинское войско. Ясно?

— Ясно.

— Вернешься в полк, передашь директиву Запутовичу.

— Разве он тоже?.. — удивился Хомяк.

— Адам добрый конспиратор! Войдешь в его подчинение. Об этом скажешь ему сам...

...Узнав о признании Хомяка, Запутович злобно глянул на усталое лицо следователя и тихо, но ясно произнес:

— Я вступил в ОУН по убеждению и полностью разделял ее программу. Гитлеровцам помогал по указанию руководства ОУН».

Яснее не скажешь! А ведь на первый взгляд, особенно человеку несведущему, может показаться странным — где маленькая, провинциальная Коломыя, а где многомиллионный русский город Ленинград? Но линия этой тайной связи в те годы протянулась еще дальше, до фашистского Берлина, так же как в послевоенные годы тянулась она от карпатских предгорий, от Львова до Мюнхена, Бонна и даже — до Нью-Йорка.

Уже после войны из Москвы в Карпаты в составе геологоразведочной экспедиции уехали московские комсомольцы Андрей Рыбкин и Наташа Балашова. Проводя мирную работу по изучению недр Карпат, они попали в расположение бандеровского бункера и были схвачены бандитами. Их зверски пытали и в конце концов замучили. Только в 1951 году удалось найти останки людей, повторивших в мирное время подвиг Зои Космодемьянской.

Я читал захваченные у бандитов протоколы допроса Андрея Рыбкина и был поражен вопросами, которые бандитский следователь задавал ему перед смертью. Бандитов, запрятавшихся в тайном подземном бункере, интересовало все: структура комсомольской и партийной

организации Московского геологоразведочного института, состав руководства его военной кафедры, фамилии партийных руководителей, расположение соседнего с институтом американского посольства.

Все эти сведения, если бы Рыбкин захотел их сообщить, бандиты намеревались передать по линии конспиративной связи в Мюнхен, своему фюреру Степану Бандере.

Казалось бы, эти документальные факты давно уже относятся к области истории и не надо их ворошить. Но история — учит. Безнадежно глуп и ограничен человек, который думает, что тот или иной национализм, различной национальной окраски, представляет собою опасность и ограничивается только пределами одной республики. И что борьбу с ним надо ограничивать только рамками одной республики. Это — очень опасное заблуждение!

Коль скоро существуют еще за рубежом различные националистические центры, коль скоро, по указке своих новых хозяев, лелеют они надежду найти своих единомышленников в Советском Союзе, любое проявление национализма опасно не только для целостности и сплоченности всего Советского Союза, но прежде всего — для его обороны. И потому люди разных наций, идущие вперед под руководством Коммунистической партии, должны знать все о коварных методах националистов всех мастей и оттенков, должны противопоставить их уловкам, их иезуитской конспирации и борьбе исподтишка повышенную бдительность.

...Но вернемся, однако, к Бандере, к фюреру ОУН, который выпускал на тропу убийств и провокаций фашистских волчат, подобных Хомяку, Запутовичу и другим, обезвреженным в годы войны под Ленинградом.

* * *

Стоило гитлеровским войскам ворваться на советскую территорию и попробовать на месте, каков будет темп «блицкрига», не только Теодору Оберлендеру и его коллегам стало понятно, что украинские националисты их обманули. Ни о каком всенародном восстании и речи

быть не может. Один из видных коллаборационистов, ставленник гитлеровцев Кость Паньківський, скрывающийся сейчас за океаном, вспоминая тот день захвата гитлеровцами Львова, 30 июня 1941 года, с грустью отметил в одной из статей, опубликованной на страницах националистической газетенки: «Львов встретил немцев со смешанными чувствами. Не было энтузиазма...»

Можете себе представить, каково было положение на самом деле, если находящиеся на американской земле тогдашние союзники гитлеровцев вынуждены делать сейчас такие признания!

И тогда, поняв, что довоенный флирт с вожаками ОУН, и в первую очередь с Бандерой, окончился неудачей, гитлеровцы разгоняют созданное им 30 июня 1941 года «правительство самостоятельной Украины» и награждают Бандеру пинком прусского сапога.

Разъяренный Канарис требует, чтобы полковник Штольце сообщил Бандере в глаза всю горькую правду. Штольце вызывает Бандеру и говорит кандидату в националистические наполеоны, что прежде всего он — отпетый жулик. Абверу стало известно, что Степан Бандера присвоил ассигнованную ему ведомством Канариса для подпольной работы большую сумму немецких марок и перевел их в один из швейцарских банков. После нажима немецких властей деньги были возвращены абверу, но даже и это не изменило положения. Восстания нет. Мелкий, негодный человечешка, который орал по львовскому радио: «Говорит радиостанция имени Евгена Коновальца. Перед вами я — фюрер украинских националистов Степан Бандера», провозглашая о занятии Львова войсками доблестной союзницы — немецкой армии, обманул эту армию, как самый ординарный мошенник.

...Бандера пытается оправдаться, болезненно переживает и эти резкие обвинения и охлаждение абвера. Он с грустью видит, как взлетают шансы связанного с гестапо конкурента Андрея Мельника. Как-никак, этому более опытному комбинатору пошла на пользу многолетняя выучка на службе у митрополита Шептицкого.

Старый граф и владелец богатых поместий в селе Прилбичах, в прикарпатских лесах, был прижимист, каждая копейка была у него на счету, долгий иезуитский

опыт учил графа Шептицкого и его подчиненных такту и тонкому обращению с партнерами, кем бы они ни были — польскими магнатами или цинами абвера.

Не зная еще полностью о стремительном падении акций Степана Бандеры, Теодор Оберлендер и его ближайшие подручные Роман Шухевич (соучастник Бандеры по убийству министра Перацкого) и поп отец Иван Гриньох, сменивший рясу униатского попа на мундир вермахта с желто-голубой ленточкой у плеча, приводят легионеров батальона «Нахтигаль» («Соловей») сразу же поутру к палатам митрополита Шептицкого.

«Соловьи» поминутно озираются. В городе уже начался погром, гремят раздираемые гофрированные шторы магазинов. Туда бы сейчас прорваться «соловьям», а не торчать на соборном подворье. Вожаки легиона увещивают подчиненных: надо соблюсти «декорум». Пусть прежде всего легион «Нахтигаль» благословит духовный отец украинского национализма и глава греко-католической церкви, митрополит Андрей Шептицкий, а уж потом можно будет, получив авансом отпущение грехов, заняться более «мирскими делами».

Шептицкий, по словам Костя Панькивського, «выслушав отца Гриньоха, которого он знал как своего воспитанника и кандидата в профессора теологии, осенил воинов крестным знамением и дал свое благословение будущему правительству самостийной Украины, о создании которого ему доложил Гриньох. В палатах митрополита поселился известный во Львове профессор университета в Кенигсберге, а в то время гауптман вермахта в отделе контрразведки (абвер) доктор Ганс Кох».

Вдумайтесь, сколько цинизма в этих признаниях!

На улицах Львова льется кровь, укрываясь от пуль разъяренных фашистов, пытаются пробиться на восток матери с плачущими детьми, националисты заодно с эсэсовцами добивают раненых в госпиталях, а тут под одной крышей мирно соседствуют старый митрополит, сотни тысяч раз повторявший в проповедях известную заповедь: «Не убий», и опытный разведчик гитлеровской Германии Ганс Кох!

Со временем, осенью 1944 года, восстанавливая по свидетельствам многих очевидцев обстановку этих страшных дней после вторжения, Чрезвычайная комиссия по

расследованию гитлеровских злодеяний по городу Львову записала в своем акте:

«Ворвавшись 30 июня 1941 года в город Львов, гитлеровские захватчики в тот же день начали производить массовые расстрелы, грабежи и аресты не успевших эвакуироваться мирных советских граждан.

Пьяные орды вооруженных немецко-фашистских головорезов рыскали по улицам города, хватали на улицах жителей, врываются в дома, грабили и убивали без разбора — мужчин, женщин, стариков и детей. Этот кровавый разгул в течение первых шести дней пребывания гитлеровцев на территории города происходил беспорядочно и беспланово, но вдохновлялся и поощрялся командованием проходивших военных немецких частей. Затем оккупанты начали устанавливать «порядок новой Европы» и с планомерной методичностью истреблять мирное население».

Одной из таких частей и был пресловутый легион «Нахтигаль», который ворвался на улицы Львова под общим командованием будущего министра боннского правительства Теодора Оберлендера. «Черные списки», составленные заранее участниками легиона «Нахтигаль», уже были переданы эсэсовцам из «эйнзатцгруппы» 17-й армии вторжения вермахта, и они, заняв под свой штаб здание «Бурсы Абрагамовичей» на Кадетской горе во Львове, готовились к операции.

Одним из первых, кого украинские националисты занесли в свой «черный список», был профессор начертательной геометрии Львовского политехнического института Казимир Бартель. Сложным и очень противоречивым был жизненный путь этого ученого и политического деятеля. Сын слесаря из города Стрый, Казимир Бартель благодаря своим незаурядным способностям выбился в люди, стал профессором и трижды, с 1926-го по 1930 год, был премьер-министром польского правительства. К чести профессора следует сказать, что, используя трибуну польского сейма, он несколько раз выступал против роста шовинизма в стране, против национального угнетения и дискриминации в получении высшего образования. Не случайно фашиствующие студенты во Львове после одного из его выступлений пустили гулять по городу свинью, написав дегтем на ее щетине: «Бартель», и

забросали профессора на его лекции гнилыми яйцами.

Будучи общественным деятелем буржуазной школы, Казимир Бартель тем не менее после революционных событий во Львове весной 1936 года писал в одной из газет: «Это уже не просто волнения. Это пахнет революцией!»

Националисты из легиона «Нахтигаль» с желто-голубыми нашивочками у плеча, не застав профессора дома, привели эсэсовцев на кафедру начертательной геометрии Политехнического института, куда аккуратный профессор, несмотря на военные события, пришел на работу, как в обычное время. Сперва старший по чину офицер СС закрылся с профессором в его кабинете и, пока «соловьи» раскуривали награбленные папиросы в приемной, уговаривал Бартеля занять пост руководителя опереточного правительства, которое бы подчинялось гитлеровскому наместнику в Польше Гансу Франку и помогало бы ему угнетать польский народ. Казимир Бартель наотрез отказался от такого «лестного» предложения и, надо полагать, сказал, что его никак не прельщает роль польского квислинга. Что думал он во время этого короткого, но такого значительного разговора? Незадолго до вторжения Бартель побывал в Москве и повсюду встречал к себе чуткое, предупредительное отношение советских людей. Он знал, что творят гитлеровцы в Польше, и считал ниже всякого человеческого достоинства быть ширмой их варварских действий, направленных к конечной цели — к полному уничтожению польского и всех славянских народов.

...Внезапно распахнулась дверь кабинета, и соратники Бандеры увидели, как эсэсовский офицер выталкивает оттуда Казимира Бартеля, бьет его по седой голове рукояткой пистолета.

Через несколько часов после короткого допроса в гестаповском застенке на улице Лонцкого Казимира Бартеля, полуживого, столкнули в подвал тюрьмы и там расстреляли.

Его жена, принеся передачу, была единственной из вдов ученых, кому гитлеровцы сообщили о расстреле ее мужа. Когда через два дня, в ночь с 3-го на 4 июля 1941 года, «соловьи» из легиона «Нахтигаль» вместе с

эсэсовцами «эйнзатцкомандо» стали арестовывать ученых Львова и расстреляли их поутру в лощине близ Вулейкой, никто из близких 36 убитых долгое время, до освобождения Львова войсками Советской Армии, ничего определенного о судьбе захваченных ученых не знал. Даже трудно было предположить первое время, что могли так зверски, без суда и следствия, быть убиты выдающиеся люди науки — математики, медики, филологи, механики, знатоки международного права и патологоанатомы. Среди убитых был академик, член Союза советских писателей Украины Тадеуш Бой-Желенский, милый, незлобивый человек, подлинный гигант литературного труда, автор свыше 900 опубликованных трудов, который перевел на польский язык, причем перевел отлично, всего Бальзака, Мольера, Рабле, Расина, Вольтера и многих других классиков. Рядом с ним в могилу упал старейшина львовских медиков, профессор Адам Соловий, ученый восьмидесяти четырех лет, давно вышедший на пенсию. И на него бандеровцы указали в своем «черном списке» завоевателям и посоветовали: «Убейте!» — и гитлеровцы охотно выполнили желание своих верных наводчиков, пропитанных змеиной ненавистью к культуре славянских народов, охваченных злобой неудачников, рвущихся к власти, ко всему, что создано огромными усилиями человеческого труда. И в убийстве львовской профессуры сказалась подлейшая из черт националистов — слепая, зоологическая ненависть ко всему, что создано людьми других наций, тупая, кулацкая ограниченность, толкнувшая этих вырождающихся на тропу звериных убийств.

Уже после войны мне доводилось беседовать с захваченными гитлеровцами, которые осуществляли во Львове и в других городах Западной Украины карательную политику своего бесноватого фюрера, и все они в один голос заявляли: «Не будь у нас таких верных помощников, как украинские националисты из шаек Бандеры и Мельника, мы были бы слепы в этом чужом краю и не совершили бы столько злодеяний, как совершили при помощи этих наводчиков со знаком «тризубца», которые были наушниками и глазами оккупанта».

Цепь преступлений образует карьеру Степана Бандеры и его сообщников. Когда гитлеровцы были разгром-

лены в открытом бою Советской Армией и откатились на запад, по совету Канариса, Оберлендера и других кураторов украинского фашизма на тылах наступающих наших войск остались собранные в шайки так называемой «УПА» — «Украинской повстанческой армии» — бандеровские отщепенцы, недобитки националистической дивизии СС «Галичина», на вербованной из отпетых бандитов при благословении митрополита Шептицкого. Как признают сейчас националисты, легионы «Нахтигаль» и «Ролланд» были зародышами не только этой дивизии, но и той самой «украинской полиции», которая совершала кровавые погромы мирного населения во Львове и за его пределами. Чем занимались бандеровцы в то самое время, когда сотни тысяч честных сыновей украинского народа, действуя в частях наступающей Советской Армии, сражались на улицах фашистской столицы Берлина, добывая фашизм? Воспитанники Степана Бандеры, действуя из-за угла по его наущениям, убивали честных советских тружеников, уничтожали бандеровскими «удавками» всех людей, принявших советскую власть как родную мать-освободительницу. Они, эти каиновы дети, наполняли трупами своих жертв полевые колодцы, и еще поныне, разрывая их, находят близкие в затхлой глубине колодезных ям тела своих родных, опутанных колючей проволокой и задушенных «эсбистами» ОУН.

С каждым днем все больше горела земля под ногами у бандеровских выкормышей. Они стали группами прорываться на запад, по дороге убивая честных тружеников Польши и Чехословакии. Это их подлые пули убили героя гражданской войны в России и Испании, участника взятия Зимнего, генерала Войска Польского Кароля Сверчевского в горном ущелье близ Ясла. Но сотня УПА «Хрина», совершившая это чудовищное злодеяние, была разгромлена начисто. Кто же был убийцей прославленного генерала, смелого бойца «за вашу и нашу волю», подлинного пролетарского интернационалиста Кароля Сверчевского? Уроженец Самбора, отпетый бандит Степан Стебельский, командовавший сотней в курене «Рена» (псевдоним участника убийства Бронислава Перацкого, террориста Ивана Мизерного), который во время нападения на мирное население переоде-

вал своих подчиненных в мундиры Войска Польского и Советской Армии. Но и эта провокационная маскировка не помогла закоренелому алкоголику «Хрину». 3 июля 1947 года он прорывался с остатками своей сотни на территорию Советского Союза и был уничтожен советскими пограничниками. Несколько раньше бандеровцы убили на шоссе близ Кременца прославленного советского полководца, генерала армии Ватутина.

Но ни это, ни множество других преступлений, совершенных выродками-отщепенцами, не смогли приостановить победное шествие советской власти.

Еще раз в разгроме жалких карликов, пытавшихся затормозить движение народов к светлой жизни, подтвердилось блестящее утверждение марксизма, что политика — это борьба миллионов. Жалкие одиночки гибнут в этой борьбе, сметаются движением миллионных колонн. Украинская народная пословица определяет действия таких пигмеев: «С мотыкой против солнца!» Они пытались замахнуться своей окровавленной мотыкой на солнце и погибли, а солнце, животворящее солнце правды коммунизма, продолжает светить для нас все ярче.

С чувством глубокого омерзения прослеживаешь все вехи обгащенного кровью, подлого пути бандеровщины. Вся низость падения этих отщепенцев, их лихорадочное желание служить всем историческим врагам Украины было ясно нам еще в те дни, когда Бандера начинал свою карьеру террориста и вожака ОУН.

Выступая в 1934 году на Первом съезде советских писателей в Москве, поэт Микола Бажан еще в те далекие тридцатые годы поставил верный диагноз предательской деятельности украинских националистов:

«Есть еще один отряд международного фашизма, на примере которого весьма выпукло можно проследить все отвратительные, все тягчайшие, все мракобесные «прелести» фашизма. Если идеологи и деятели немецкого, японского и итальянского фашизма — рабы монополистического капитала, то имеются еще и рабы рабов. Эту «почетную» роль взял на себя украинский фашизм, украинский национализм. Для них безразлично: и перед коричневой рубашкой, и перед остроугольной конфедерат-

кой, и перед бутафорскими латами потомка самураев они с одинаковой готовностью гнут свою казацкую шею, треплют свою казацкую чупрыну. Ну, еще бы, — все во имя «любви к Украине»!.. Готовность отдать миллионные массы людей Советской Украины на уничтожение, на растерзание и во владение любым фашистам любого государства характерна для всего украинского национализма...

И какое бессилие, какое гниение и какая ненависть смогли породить этот отвратительный культ, эту отвратительную практику! Ненависть к человечеству, кровавый туман мистики, застенки расы, культ измены — украинский фашизм с особенным старанием собирает этот ядовитый мед со всех уродливых цветков международного фашизма».

Какой зловещий урожай дали, особенно в годы оккупации, националистические плевелы украинского фашизма, мы, люди Советской Украины, прекрасно знаем!

Очень примечательно то, что последний, сокрушительный удар по бандеровщине нанесли не военные гарнизоны, не поисковые группы истребительных батальонов, а прежде всего — сплошная коллективизация, начавшаяся в западных областях Украины осенью 1949 года, и широкая индустриализация городов в Западной Украине. Пока существовали сотни тысяч разобщенных индивидуальных крестьянских хозяйств, поминутно рождающих капитализм, пока находились замаскированные кулацкие гнезда и кулаки, мечтающие о возврате старых порядков, — одинокие бандеровские шайки могли еще находить себе приют и пропитание и с помощью террора держать в леной зависимости какие-то группы населения. Но стоило только развернуться широкой массовой коллективизации, ее победа прозвучала похоронным звоном бандеровщине. Огромные массы народа, охраняя завоевания своего коллективного труда, пошедшие по пути, указанному партией, окончательно разгромили бандеровщину. Ее недобитки вместе с вожаками, подобными Степану Бандере, метнулись на Запад в поисках новых кормушек и новых хозяев. Их охотно приняли в свои объятия немецкие реваншисты и их американские покровители. Они помогали им создавать легенду об «ошибках Гитлера в украинском

вопросе». Все эти люди без родины, для которых целью жизни стало предательство, как нельзя лучше подходили различным мастерам «холодной войны». Ими пополняли шпионские школы, их пробовали засылать в советский тыл, сбрасывая на парашютах с самолетов «неизвестной национальности». Немало оруженосцев Степана Бандеры нашли свою смерть еще у рубежей нашей родины от метких пуль советских пограничников, которые, отлично зная повадки змей желто-голубой националистической породы, расправлялись с ними смело и беспощадно. Немало их выловили в тылу советские патриоты. Но, отправляя своих агентов на верную смерть на советскую землю, которую он так люто ненавидел, сам «фюрер» ОУН Степан Бандера, назвавшись «Попелем», чувствовал себя до поры до времени в Мюнхене относительно благополучно. Он даже съездил весной 1958 года на могилу своего шефа, Евгена Коновальца, в Роттердам. В речи, произнесенной 28 мая 1958 года, Степан Бандера сравнивал действия своих резунов с «тризубцами» в годы немецкой оккупации с кровавыми погромами Петлюры в 1917—1921 годах. Выкрикивая визгливым фальцетом: «С нами бог», он закончил эти свои исторические параллели словами твердой надежды, что во время близкой «третьей мировой войны» его бандеровцы не допустят старых ошибок и обязательно уж... дойдут до Москвы...

И вдруг — гром с ясного неба. 15 октября 1959 года на многих телетайпах редакций мира замелькало сообщение, что кровавый вожак националистов Степан Бандера найден с паспортом на имя «Степана Попеля» в тяжелом состоянии, упавшим или сброшенным с третьего этажа одного из домов Мюнхена, отвезен в больницу и там скончался. Существующая при уголовной полиции Германской Федеративной Республики так называемая «мёрденкомиссион», или комиссия по расследованию убийств, начинает следствие. Расследователи особенно не торопятся, несмотря на то что газеты называют смерть Бандеры «сенсацией номер один». Только спустя несколько дней возникает новая версия — в кишках фюрера украинских националистов в довершение всего обнаружен... цианистый калий. Более менее сведущие люди пожимают плечами: неужели для обнаружения цианистого калия в

организме нужно несколько дней? Ведь обычно такой вид отравления опознается сразу по кожному покрову! А пресловутый «Голос Америки», помогая заметить следы убийцам, пускает в эфир еще одну версию: «Бандера покончил жизнь самоубийством». Но тут поднимают вой приверженцы Бандеры. Не мог же их «волевой» фюрер уйти из жизни таким примитивным способом. Он был жизнерадостен, бодр перед смертью и полон решимости бороться вместе со своими инсургентами во время третьей мировой войны за все ту же «самостийну».

Во всей этой разноголосице прорываются очень трезвые суждения. Газета «Нейес Дейчланд» сообщила, что в период гитлеровской оккупации Бандера... был непосредственно подчинен Теодору Оберлендеру, тогдашнему политическому руководителю террористически-диверсионного легиона «Нахтигаль». Этот легион (или «батальон», как его именуют другие), входивший в состав гитлеровской дивизии «Бранденбург», участвовал в массовом убийстве интеллигенции во Львове. Таким образом, Бандера, как соорганизатор львовского преступления, был главным свидетелем злодеяний своего шефа Оберлендера.

Пресса подчеркивала, что в послевоенное время Оберлендер старался любыми средствами изолировать от себя Бандеру и замести следы каких-либо связей с этим «прославленным» фашистским вожаком. Это, по словам польской газеты «Трибуна люду», вызвало у Бандеры все возрастающее, особенно за последнее время, беспокойство за свою жизнь.

В газетных сообщениях проскользнул любопытный факт: в день, когда было совершено убийство, охрана, обычно сторожившая Бандеру, подвезла его к дому, немедленно уехала, оставив своего фюрера наедине с теми, кто сталкивал его в пролет лестницы. Единомышленники Бандеры почувствовали охлаждение к нему тех сильных мира сего, от кого зависели их судьбы, их пропитание, и решили своевременно... умыть руки. Даже буржуазная газета «Зжюйдейче цейтунг» в номере от 19 октября писала: «Вне всяких сомнений, Бандера убит третьими лицами. Согласно высказываниям его знакомых, Бандера в качестве весьма нежелательного соучастника преступлений Оберлендера во Львове в последнее время нахо-

дился в постоянном страхе за свою жизнь... Бандера был убран с пути при помощи яда подручными весьма влиятельных персон...»

Буржуазное агентство «Дейче пресс агентур» сообщило, что незадолго до его убийства Бандера обратился непосредственно к самому Оберлендеру, имея в виду требования международной общественности начать процесс против Оберлендера. Бандера предлагал Оберлендеру выступить на этом процессе. По-видимому, Бандера знал больше о боннском министре, чем тому было желательно. Это же предположение, по утверждению газеты «Берлинер цейтунг», невольно подтвердили газеты мюнхенской полиции, сообщая: «Бандера устранил синдикатом убийц» службы генерала Гелена по поручению Оберлендера. А руководитель мюнхенской комиссии по расследованию убийств, некий Шмитт, еще более прозрачно заявил: «Будет довольно трудно обнаружить виновников. По всей вероятности, их следует искать в кругах, к которым обычно уголовная полиция не имеет отношения».

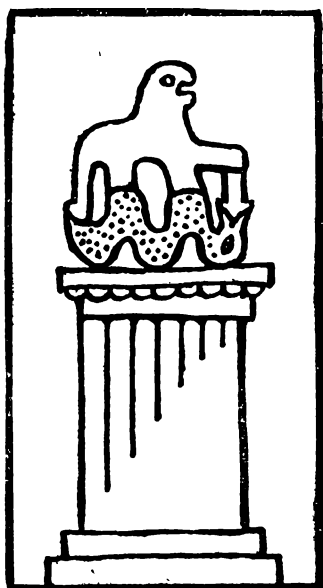
Еще бы! Мы глубоко сочувствуем господину Шмитту, зная, что воинствующий реваншист министр Теодор Оберлендер, убийца ученых Львова, был самым тесным образом связан со своим тогдашним высоким шефом — боннским канцлером Аденауэром. И хотя канцлер Аденауэр неоднократно заверял мировую общественность, что он не потерпит в своем ближайшем окружении ни одного реваншиста, его близость к Оберлендеру наилучшим образом доказывала, чего стоят эти лживые заверения. Ведь еще 13 января 1956 года канцлер Аденауэр в личном письме к бывшему руководителю легиона «Нахтигаль» написал, что он, канцлер, ни под каким видом не согласится со смещением Оберлендера с поста так называемого «министра по делам беженцев»...

Жалкая пешка в «большой игре» империалистических государств, Степан Бандера не такая фигура, из-за которой мог бы ронять свой престиж покойный ныне канцлер Аденауэр, и конечно же он простил своему любимцу Оберлендеру эту его очередную «шалость». Очень символично и то, что свое последнее в жизни сальто Бандера-Серый совершил в давнем логове фашистов, где начинал свою карьеру Адольф Гитлер, долгие годы опекавший украинских националистов. Кровавый палач Бандера

бесславно рухнул в ту самую яму, которую он на протяжении всей подлой жизни пытался вырыть украинскому народу.

Его столкнули туда, в пролет темной лестницы, его же хозяева, решив, что не в меру болтливый фюрер ОУН может быть опасен для них в силу своего маниакального стремления к власти. «Мавр сделал свое дело, мавр может уйти», — решили они и прикончили его тем самым способом, каким обычно кончают всех бандитов с большой дороги.

Карлик с кровавыми глазами, Степан Бандера закончил свое земное существование, рухнув головой вниз в лестничный пролет, но продолжатели его преступлений — остались. Они подходят к микрофонам «Свободной Европы», распространяют по миру ложь и клевету против Страны Советов, пытаются объединиться со всеми антикоммунистическими отщепенцами, разъезжают с этой целью по многим странам.



ГОЛОС ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

ПАМФЛЕТ

Трупный яд опасен для живых.
Знать его формулу обязан каждый.

Вместо эпиграфа

...Весенним, мартовским днем я проходил мимо бывшего монастыря ордена бернардинов во Львове и увидел зрелище, которое заставило меня остановиться.

На старинной монастырской стене сидел краснощекий солдат в выцветшей рабочей гимнастерке. Орудуя киркой, он отбивал со стены кирпич за кирпичом и легко сбрасывал их на мокрую землю. А внизу собралась детвора, падкая до всяких новшеств. Ребята подбирали кирпичи и укладывали их в штабеля поодаль.

...Проходили дни, и старинная стена исчезала.

Один из прохожих сказал мне, что она не представляет никакой исторической ценности. Слежавшийся веками

кирпич, добытый из ее кладки, пойдет на фундаменты новых жилых домов для рабочих завода «Автопогрузчик», а в центре древнего города возникнет еще один скверик, расширяя сжатое домами Средместье. И эта весть и то, что, исчезая, стена открывала скрытый веками от взглядов населения фруктовый монастырский сад, вызывало в душе приятное чувство. Всякий раз, когда надо было идти по делам в город, я сворачивал сюда и, если было свободное время, подолгу следил за спорой работой солдат гарнизона. Как-то раз, когда они сделали перекур и грелись поодаль на солнышке, окруженные детворой, я взял лежавшую на земле кирку и размахнулся ею. Я не рассчитал удара. Кирка оказалась тяжелее той, что я видел в первый день у солдата, начинающего работу. Она потянула меня на излете назад и глухо стукнулась тупым концом в остаток монастырской стены.

— Э-гей, папаша! Ты всю стену сразу свалишь, и нам делать будет нечего! — насмешливо крикнул издали чернявый солдат со значком отличника снайпера.

Не обращая внимания на окрик, я подошел к стене совсем близко и стал простукивать ее штукатурку в том месте, откуда послышался глуховатый удар. А надо сказать, что поодаль валялись, отброшенные отсюда, видно, очень недавно, старые двери, заплесневелые доски и высокий мусорный ящик. Следы сырости на стене, прилипшие к серой штукатурке корни давно увядших ползучих растений подсказывали, что весь угловой стык был годами захламлен и только сегодня солдаты расчистили подход к нему, чтобы разобрать кирпичную кладку и открыть фруктовый сад теперь уже со стороны Вальной улицы. Приблизительно метра полтора над землей оштукатуренная стена, когда ее касалась рукоятка кирки, звучала очень глухо, совсем иначе, чем в других местах. В одном месте из кирпича торчала шляпка гвоздя. Я ударил по ней. На волнистой кладке штукатурки проступил квадрат замаскированного входа. Теперь я потянул за шляпку у гвоздя на себя, и хитро замаскированная дверца, заскрипев на ржавых петлях, обнаружила потайной вход в стене и деревянные ступеньки, ведущие вниз.

— А ну, ребята, сюда! — крикнул я.

Пока солдаты подбегали ко мне, мигом возникли в па-

мяти любимые с детства истории о замаскированных кладах, о монастырских тайниках.

Вспомнился мне рассказ одного приезжего историка, что во львовских монастырях можно найти документы, раскрывающие тайну происхождения Лжедмитрия. Ведь отец Марины, прельстившей авантюриста и претендента на русский престол, был — как говорили здесь — «фундатором» как раз этого самого монастыря ордена святого Бернарда...

— Эге, да тут лаз! — протянул чернявый солдат, первым подбежав ко мне и заглядывая в дыру, откуда потянуло затхлым запахом подземелья. — А может, бандеровский бункер?

— Давайте раздобудем фонарь да и поглядим: что там такое? — сказал я.

— Погодите, граждан! — подозрительно разглядывая меня, сказал чернявый сержант. — А, собственно говоря, какое вы имеете отношение к этой стене? Документы!

Зная, что причастность всякого «цивильного» к открывшейся тайне может вызвать естественное подозрение у людей военных, прибывших с востока, да еще молодых по летам, я спокойно вынул редакционное удостоверение и протянул его чернявому снайперу.

— Это — другой разговор! — протянул солдат. — Печать мы любим и уважаем... Познакомимся. Меня зовут Каменюка. Иван Каменюка.

— Рад с вами познакомиться, товарищ Каменюка, — столь же приветливо ответил я. — Так как же нам раздобыть огонька?

— Беги в казарму, Колодий, да возьми у старшины «летучую мышь». Скажи — клад монашеский нашли! — приказал Каменюка стоящему поодаль русому, низкорослому солдату.

— А может, тут евреи во время оккупации прятались? — сказал седой железнодорожник в форменной фуражке. — В местечке Великие Мосты один парикмахер все тридцать семь месяцев, пока не вернулась Красная Армия, скрывался от немцев в куполе часовни. Только ночью вылезал он из своего схрона, и все это время никто не знал, что скрывается он там...

И это предположение не было лишено оснований.

Около тысячи евреев Львова спаслись во время оккупации только потому, что большинство из них с помощью хороших, честных людей соорудили себе в самых неожиданных местах такие тайники — «схроны» — за фальшивыми стенками, в подвалах, в дымоходах, а подчас и в открытом поле. Быть может, и здесь, рядом со святой обителью, тоже прятались обреченные на смерть?

...Первым спустился по скрипучей лестничке в проем, держа в руке чадающую «летучую мышь», сержант Каменюка. Он спускался осторожно, нащупывая ногами ступеньку за ступенькой, и потому мне приходилось все время сдерживать движения, чтобы не наступить Каменюке на пилотку. Но вот он соскочил с последней ступеньки на твердую землю и, присвечивая фонарем, сказал:

— А тут какой-то коридор!

Да, и впрямь, уже значительно выше уровня фундамента стены, в ее кирпичной кладке, обозначилось черное овальное отверстие коридора, идущего на запад горизонтально.

— Пошли в коридор! — сказал я сержанту. — Только осторожно давайте...

— Хлопцы, як нас какая-нибудь чертяка душить станет — гайда на подмогу! — крикнул Каменюка и шагнул в темноту, разгоняемую тусклым светом «летучей мыши». Но, пройдя шага четыре, нагнувшись, он внезапно остановился и шепнул: — Двери!

На старинной дубовой, окованной железом двери висел тяжелый ржавый замок. Конечно, можно было вернуться наверх за ключами или отмычкой, повременить малость и, не занимаясь кустарщиной, открыть замок по-доброму, но мне и, надо полагать, Каменюке не терпелось узнать: что же скрывается за этой плотно прилегающей к стояку тяжелой дубовой дверью? Киркой, которую принес я на всякий случай сверху, мы, помучившись основательно, вырвали скобу. Когда дверь распахнулась — снизу повеяло густым запахом могильного склепа.

Каменюка протянул вперед фонарь и сразу же отскочил.

— Там сидит кто-то! — голосом, полным ужаса, шепнул сержант. Но тут же, подавляя страх, закричал уже тоном приказа: — Эй, выходи-ка, кто здесь есть?!!

Выкрик Каменюки отозвался эхом в коридоре. Даже

шороха в ответ не услышали мы из подземной кельи. Тогда сержант переступил порог и, приближая лампу к сидящему, снова вздрогнул. Да и было отчего вздрогнуть!

Прямо перед нами, в каких-нибудь трех шагах от двери, полуоткинувшись на спинку добротного дубового стула, сидел мертвец.

Его скуластое лицо было обтянуто коричневой, полужившей местами кожей, и только большая седая борода держалась еще крепко на щеках и костях подбородка до той минуты, пока труп не пошевелили судебномедицинские эксперты. Но это произошло уже тогда, когда мы вызвали милицию, работников уголовного розыска и, сообразив, что в подземную келью проведен электрический свет, заменили перегоревшую от времени электрическую лампочку новой, более сильной, стосвечевой.

Превратившись из открывателей подземного убежища в понятых, мы с Каменюкой при свете этой новой, яркой, озарившей внезапно подземное убежище светом солнечного дня лампочки смогли в самых мельчайших подробностях разглядеть все, что скрывали, надо полагать, несколько лет и тайник в монастырской стене и эта тяжелая дубовая дверь с ржавым замком.

На полу, поодаль стола, лежал успевший уже заржаветь тяжелый пистолет системы «вальтер» номер три.

Человек с бородой, как оказалось позже, застрелившийся из этого пистолета, в случае надобности мог бы обороняться.

Но, по-видимому, были другие обстоятельства, которые принудили неизвестного бородатого самому закончить свои расчеты с жизнью.

В левом углу кельи, в каменном полу, виднелась круглая чугунная крышка люка, ведущего, как оказалось позже, в подземную канализацию. Все нечистоты и консервные банки бородатый сбрасывал туда, потому что, кроме четырех порожних банок с этикетками «Бычки в томате» и заплесневелых пачек «Крокета», заменявших ему хлеб, никаких других остатков пищи не было. Зато на полках и под кроватью, застеленной простым солдатским одеялом, оперативные работники обнаружили нетронутые

запасы пищи и выпивки. Тут были консервы «Тушеное мясо», «Шпроты», несколько непечатых бутылок коньяка и «московской особой» и бутылки с нарзаном.

Пользуясь правами понятых, мы доставали и пересчитывали консервные банки и, подавляя в себе чувство брезгливости, обходили мертвеца стороной и снимали с полок бутылки со спиртными напитками. Но стоило мне протянуть руку к объемистой общей тетради, лежащей на столе, оперативный работник в звании подполковника довольно резко сказал:

— Прошу не любопытствовать! Это уже не вашего ума дело!

После такого замечания делать было нечего. Приходилось только издали смотреть, как подполковник и два оперативных работника, прибывшие вместе с ним, осторожно фотографируют, а потом укладывают в портфели разбросанные на столе бумаги, как производят они обмер подземного убежища или тюрьмы, где закончил свое земное существование неизвестный. Мне удалось мимоходом, да и то издали заметить название брошюры, которую снял подполковник с полки над кроватью.

«Инструкция службы безопасности» — так называлась синяя книжечка, и тут я понял, что абсолютно напрасно вызвали мы сначала в подземелье милицию. Надо было сразу же адресоваться к совершенно другим людям. На том же самом столе, освобожденном от бумаг, в непосредственной близости от бородатого мертвеца, подполковник взял с Каменюки и меня подписку о неразглашении и на словах попросил никому, даже самым близким людям, не рассказывать, что обнаружили мы под сводами бернардинского монастыря.

— А станут допытываться — скажите: старое подземное монастырское судилище. Еще времен инквизиции. Милиция его опечатала и вызвала специалистов из музея истории религии в Ленинграде. Понятно? — И подполковник в фуражке милицейского офицера очень внимательно посмотрел на нас с Каменюкой своими более чем убедительными глазами.

... — Инквизиция! Музей истории религии! — пробормотал Каменюка, когда мы шли с ним уже поздним вечером к площади Ивана Франко. — Объяснил тоже! И зачем нам были эти танцы перед обедом, когда все сплош-

ной туман? Какая может быть здесь «инквизиция», когда лежал там пистолет марки «вальтер» — из таких в нас немцы пуляли на фронте под Бродами?..

Прошло два дня.

Мучимый таинственной находкой, которую мы обнаружили вблизи монастыря бернардинов, я зашел к редактору областной газеты и спросил, не знает ли он кого из чекистов, кто бы имел касательство к делам печати и вообще был бы авторитетным, понимающим человеком.

А редактором в ту пору у нас был Иван Самсонович Дилигенский, крепкий, малоразговорчивый человек с загорелым, всегда обветренным лицом.

...Дилигенский поднял на меня свои выпуклые, все в красноватых прожилках глаза.

— А зачем вам чекист?

— Посоветоваться надо бы. Рассказ один задумал.

— Рассказ? На приключения потянуло? Полковник с серыми глазами говорит: «Все ясно», и группа парашютистов, сброшенных в Полесские леса, обнаруживается в течение одного часа? А кто за вас напишет очерк о колхозе имени Марии Баюс?

— Бойтесь бога, Иван Самсонович! Очерк давно лежит в сельскохозяйственном отделе. Никаких повестей я писать не собираюсь, а просто мне хочется посоветоваться со знающим, дельным товарищем относительно своих наблюдений.

— Темнишь, голуба? — сказал Дилигенский и испытующе поглядел мне в глаза. — Ну, бог с тобой! Набери коммутатор и проси полковника Косюру. Пантелей Сергеевич его зовут. Обаятельный мужик. В случае чего сошлись на меня...

...Когда, услышав в трубке мужской бас, ответивший: «Косюра слушает», я назвал свое имя и фамилию и сослался на Ивана Самсоновича, возникла некоторая пауза. По-видимому, полковник Косюра готовил себя к беседе со мной.

— Чем могу быть полезен? — спросил он сухо, но вежливо.

— Видите ли, товарищ полковник, — сказал я, несколько робея, — пару дней назад мне довелось быть при-

чиной одной таинственной находки в пределах одного богоугодного заведения. Вы понимаете сами — я литератор, мы люди весьма любопытные, меня не могла не заинтересовать эта находка. Вероятно, ее можно обнаружить в печати, и я бы просил. . .

Но невидимый полковник не дал мне договорить:

— У вас есть свободное время? Тогда приезжайте сейчас, а то через два часа я улетаю в Киев.

Машина редактора быстро примчала меня к серому зданию Комитета государственной безопасности на улице Дзержинского. Часовой, сверив мой паспорт с пропуском, объяснил мне, как пройти к полковнику Косюре.

Коренастый, светловолосый человек поднялся мне навстречу из глубины просторного, солнечного кабинета, пристально посмотрел мне в глаза, предложил «сидайте» и, пока я усаживался, подошел к сейфу. Он достал оттуда знакомую мне общую тетрадь в коленкоровом переплете, от которой сразу запахло сыростью подполья, и, протягивая мне ее, сказал:

— Читайте, а я тем временем поработаю. . .

И я стал читать рукопись, написанную убористым, четким почерком, озаглавленную «На дорогах измены».

«...Проходит тридцать два года с того дня, как автор этих строк, молодой, недоучившийся студент, в серой австрийской форме, имея звание четаря «Украинской Галицкой Армии», пересек реку Збруч, двигаясь в составе своего полка «освобождать большую Украину». Надо сказать прямо: многие подобные мне «сичевики», одурманенные тогда националистической пропагандой, свято верили в справедливость и закономерность этой нашей миссии — «освобождения», или «великого зрыва». Лишь значительно позже, на путях разочарований и раздумий, весь этот наш поход предстал в свете истории как величайшая политическая глупость. Посудите сами: отмобилизованные молодые люди, переодетые в форму недавно развалившейся императорской австро-венгерской армии, оставляют Галичину, землю своих отцов, и под командой недавних австрийских генералов и полковников идут «спасать» многомиллионный украинский народ. А прово-

жающие их любимые девушки поют сочиненную одним из «усусусовцев» песню:

Зажурились галичанки та й на тую змїну,
Шо відходять усусуси та й на Україну,
Хто ж нас поцілує в уста малинові,
В карії оченята, в чорні брови?

От кого, спрашивается, уходят спасать Украину усусусы? От помещиков, фабрикантов, польских и других иностранных магнатов, от бельгийских, французских, английских и американских концессионеров? От украинских кулаков — «глитаев», что, как пауки, высасывали годами кровь украинской бедноты?

Ничего подобного!

...Мы пошли «спасать» украинский народ от него самого, от украинских тружеников: от украинского пролетария, от украинского бедняка; от шахтеров Криворожья, горняков Донбасса, токарей и слесарей киевского «Арсенала», грузчиков солнечной Одессы, литейщиков Бердянска, которые, следуя примеру рабочих революционного Петрограда, соединялись в отряды Красной гвардии и устанавливали у себя советскую власть. Еще совсем недавно, угнетаемые так же, как и пролетариат России, русским царизмом, они видели общие цели в борьбе с русскими тружениками. Что же мы несли им взамен на своих желто-голубых знаменах в то самое время, когда сапоги легионеров польского генерала Галлера, вооруженных американскими винтовками, топтали землю нашего родного, украинского Львова? Свободу? Независимость? Гарантии укрепления украинской экономики, культуры, образования? Да ничего подобного! Будь на Западной Украине многотысячный рабочий класс, люди, закаленные коллективным трудом, они остановили бы нас. Но все дело в том, что нас захлестывала, — а это я понял много-много лет позже, — мелкобуржуазная крестьянская стихия.

И подлинные цели нашего «освободительного» похода стали постепенно открываться мне во всей обнаженности. Тогда, сраженный сыпным тифом, я лежал на соломе в Крымских казармах города Винницы.

Уже начал падать первый снег трагической осени 1919 года. В огромном зале с выбитыми окнами, прямо на полу, чуть притрушенном соломой, рядом со мной, укры-

тые кое-как шинелями, подложив под голову походные ранцы, валялись в тифозном бреде сотни галицийских юношей из «Украинской Галицкой Армии». Это их послали «освобождать большую Украину» диктатор и политикан Евген Петрушевич, давно закупленный австрийскими императорами Габсбургами, и назначенный им командующий УГА генерал Мирон Тарнавский.

Это рядовых бойцов УГА обманули и предали они своими речами о «самостийной Украине», о галицком «Пьемонте» и об исторической миссии галицийских «культуртрегеров», которым предназначено спасти «большую Украину». У Евгена Петрушевича, у генерала Тарнавского, у адвоката Костя Левицкого и им подобных представителей украинской буржуазной элиты были во Львове и под Львовом свои дома и имения, заведены счета в швейцарских, венских и других банках и спрятаны там «на всякий случай» драгоценности. У большинства молодежи, которую заставили они надеть австрийские шинели, не было за душой ничего, кроме юношеского порыва, слепой веры в своих старших поводырей. И вот в самом начале жизни эта молодежь была скошена тысячами на пол Крымских казарм Винницы. Санитарный шеф нашей армии, доктор Бурачинский, видя отчаянное положение, в котором очутилась УГА, в докладе на имя Евгена Петрушевича просил тогда спасти молодежь. Он прямо писал: «Пане генерале, наша армія то вже ніяке військо, навіть не лікарня, а мандруючий магазин трупів».

К этому времени стало известно, что за нашей спиной атаман Симон Петлюра, вождь «Директории», уже договаривается с пилсудчиками, чтобы запродать им нашу родную галицкую землю и Волынь.

Что ж вы думаете, вняли этому истерическому призыву доктора Бурачинского да и других трезвых людей Петрушевич, Тарнавский и другие?

Ничего подобного!

Они были верными слугами банкиров, прежде всего заинтересованных в новых колониях и концессиях на украинских полях, а стало быть, в подавлении советской власти, в уничтожении большевизма. И эти слуги иностранного капитала, изображая из себя бескорыстных борцов за национальное самоопределение украинцев, спекулируя на давних мечтах украинцев иметь собственное

государство, за обещанные им барыши и акции торговали самым ценным, что было в народе, — его молодежью.

...Когда сейчас я вспоминаю эти бессонные, бредовые ночи, проведенные на грязном полу Крымских казарм, когда то и дело слышится скрип дверей, ведущих во двор, и видишь силуэты санитаров, выволакивающих на носилках новых мертвецов, — приходит в голову одна назойливая мысль: ведь все эти молодые люди, сыны Украины, так рано ушедшие из жизни, могли бы еще отдавать свою буйную энергию, свой труд, свои способности на пользу Украине, и прежде всего — той части ее земли, на которой они родились.

При правильном, подлинно революционном, а не предательском руководстве они могли бы еще тогда отвоевать украинский Львов, добиться создания в нем украинского университета, передать в руки народа нефтяные залежи Прикарпатья, сахарные заводы Городенки и Ходорова, отнять у Сангушек, Потоцких, Дзедушицких и прочих магнатов сотни тысяч гектаров земли и передать ее крестьянам, тем самым делая ненужной эмиграцию украинского крестьянства за океан.

Что же вышло на поверку? Петрушевичи, Левицкие и другие буржуазные политики, напичкав националистической ложью мозги нашей молодежи, сперва превратили усусусов — галичан (ставших основой будущей «Украинской Галицкой Армии») в палачей украинского народа, в палачей тружеников восставшего Дрогобыча и других городов и сел Западной Украины, а потом погнали их под обманными лозунгами в бесславный, гибельный поход на «большую Украину».

Рядом со мной тогда на полу Крымских казарм лежал яркий папист, богослов, ставший потом одним из приближенных униатского митрополита Андрея Шептицкого, некий Петро Голинский.

Выздоровливая, он стал разговорчивым и хвастался нам, как еще год назад, в ноябре 1918 года, будучи на службе в Государственном уездном комиссариате в Рудках, по поручению уездного комиссара Александра Маритчака¹, он вел борьбу, как он выражался, с «больше-

¹ В годы гитлеровской оккупации Маритчак возглавлял быстро разогнанную СД «Обласну управу» во Львове.

вистскими элементами». Богослов Голинский охранял леса польских магнатов от самовольных порубок обнищавших за годы войны украинских крестьян, он отправился по первому зову эконома Загвойского в село Чайковичи, жители которого срубили несколько панских деревьев, и стал там угрожать и словом Божиим и пистолетом, выступая в защиту интересов бежавшего польского помещика. Он требовал с крестьян штраф в пользу помещика. Цинично спокойно рассказывал он нам всем о подвигных «подвигах» своих; они очень льстили ему, этому помещицкому слуге с крестом на шее и трезубцем на серой «мазепинке». И очень знаменательно, что именно он, Голинский, когда пришла весть о переговорах вожakov «Украинской Галицкой Армии» с белым старорежимным генералом Антоном Деникиным, — был одним из первых сичевиков, приветствовавших такой возможный союз с белыми добровольцами. И вот тут-то, когда вести о переговорах все больше стали проникать и в нашу казарму и позже — в полк, те усусусы, кто умел мыслить самостоятельно, были поставлены перед фактом страшнейшего предательства.

Тысячи галичан были к этому времени уже зарыты в неглубокие братские могилы Винницы, Гнивани, Жмеринки и других мест, скошенные сыпняком и возвратным тифом. Безвременно сошли в могилу молодые люди, которые могли бы стать инженерами, врачами, геологами, художниками, писателями, архитекторами, деятелями самых разнообразных профессий. Сколько бы пользы они могли принести Украине! Между тем они бессмысленно сошли в могилу, вывезенные со своей земли, где уже всю хозяйничали колонизаторы, выполняя волю Антанты и создавая на земле Галиции «санитарный кордон» против идей большевизма.

Что же делают перед лицом совершившейся трагедии вожаки бесславно погибших молодых людей, те политики, что напичкали их юные головы лозунгами о «самостийной Украине» от Карпат до Дона? Приостанавливают предательство? Скорбят? Признают ошибки?

Как бы не так! Они еще долго будут спекулировать и на этом бесславном походе и на загубленных душах молодых галичан, погибших за чужие, далеко не украинские интересы вдали от родины. Галицких политиканов не сму-

тят ни горе матерей, ни слезы невест, ни крах всей этой авантюры.

Долгие годы потом они будут выдавать поражение за победу, будут строчить и издавать бездарные воспоминания в нашем издательстве «Червона калина», зарабатывать на них солидные куши для собственного благополучия с таким же цинизмом, с каким львовский адвокат и лидер националистов Кость Левицкий «заработал» тысячи злотых, попросту положив себе в карман деньги, собранные львовянами на постройку украинского театра на стыке улиц Сикстусской и Сапеги.

Но, заранее предвкушая доходы от этой авантюры, стоившей жизни тысячам молодых галичан, их вожаки идут на позорнейшую в истории всех предательств сделку — на военный союз с царским генералом Антоном Деникиным.

Планы переговоров с Деникиным тщательно обдумывают в штабе «Украинской Галицкой Армии» такие «щирые украинцы», явные иноземцы, как бывшие высшие офицеры развалившейся недавно австро-венгерской армии полковник Шаманек, полковник генерального штаба Густав Цириц, генерал Краус, подполковник Альфред Бизанц, полковник Лобковиц, младшие по званиям атаман Льорнер, атаман Фердинанд Лянг и два бывалых австрийских разведчика — сотник УГА, доктор шпионской службы Ганс Кох и атаман генерального штаба Альфонс Эрле.

Казалось бы, что у этих людей общего с «самостийной Украиной», в бой за которую они вели стрельцов УГА?

Ведь даже языка украинского большинство из них толком не знало, изъясняясь с подчиненными через переводчиков.

Закоренелые враги всего прогрессивного, воспитанники прусско-австрийской военщины, палачи славянских народов, они считали временным развал императорской Австро-Венгрии и кайзеровской Германии.

Они знали, что живы еще их высокие покровители кайзер Вильгельм II, фельдмаршал Гинденбург и Габсбурги — Карл, Отто и прочие, чьей извечной политической целью был «Дранг нах Остен» — «Рывок на Восток», а первая задача в этой цели — овладение богатствами Украины. Именно поэтому вступили они в «большую

игру» за овладение ключевыми позициями на фронтах борьбы за Украину, за превращение ее в иностранную колонию. А все остальное, весь этот набор лозунгов о «самостийной», о возрождении национальной романтики и т. д., — была только мишура, пыль, сказочки для наивных детей, что, впрочем, обнаруживалось и невооруженным глазом при ближайшем рассмотрении ключевого вопроса о подчинении УГА армии генерала Деникина. Вот как звучал первый пункт протокола заседания военной комиссии, составленной из представителей командования Добровольческой и Галицкой армий, 17 ноября 1919 года в Одессе:

«Галицька армія переходить в повнім складі враз з етапними установками, складами и движимим залізнодорожним матеріалом на сторону російської Добр. Армії і входить в повне розпорядження головнокомандуючого збройними силами Південної Росії, тепер через командуючого Військами Новоросійської Области...»¹

От «Украинской Галицкой Армии» это позорнейшее соглашение (а ему предшествовал ряд других, предварительных соглашений) подписали: атаман генерального штаба Циммерман (немец), сотник Турчин и поручик доктор Давид.

Диктатор Евгений Петрушевич и тогдашний главнокомандующий УГА генерал Микитка пошли на такую постыдную сделку с одним из самых реакционных царских генералов — Антоном Деникиным и его помощниками, генералами Слащовым и Шиллингом, зная отлично, как те относятся к Украине и ко всему украинскому.

Ведь ни о какой Украине, даже с самой минимальной автономией, не говоря уже о «самостийной», не могло быть и речи в случае победы Деникина.

Везде и всюду Деникин провозглашал, что его главная цель — восстановление «единой и неделимой России». Победа Деникина логически вызвала бы возрождение той самой монархии Романовых, которая травила

¹ «Галицкая армия в полном своем составе, вместе с этапными учреждениями, складами и подвижным железнодорожным материалом переходит на сторону Российской Добровольческой армии и полностью подчиняется распоряжениям главнокомандующего вооруженными силами Юга России, теперь — через командующего войсками Новороссийской области...»

и ссылала великого певца Украины Тараса Шевченко, писателя Павла Грабовского, запрещала законами царских министров, вроде Юзефовича, украинский язык, украинский театр, называла «хамским» чудесный, мелодичный и богатый язык украинского народа.

Ведь всем было известно, знали об этом и агенты нашей разведки УГА, проникающие в тылы деникинской армии, что, еще не добившись победы, под нависшей угрозой разгрома их Красной Армией, деникинские офицеры повседневно в быту, на службе высмеивают и поносят всю культуру украинского народа, распространяют издевательские, т. н. «малороссийские» анекдоты и повсюду проявляют глубокое неуважение к Украине и ее многовековой освободительной борьбе, к ее историческим традициям. И вот к этим-то наиболее реакционным кругам, обломкам рухнувшей Российской монархии, пошли на поклон, склонив свои холопы выи, «спасители Украины» — вожаки «Украинской Галицкой Армии», деятели Директории ЗУНР¹, все те, кто с таким рвением насаждал теорию о «Галиции — Пьемонте».

Что может быть более позорного, унижительного, нелепого в прямом противоречии с логикой, чем этот военный союз с Деникиным?

...Может, и не стоило бы мне напоминать об этом акте, если бы он не был одним из постоянных постыдных приемов в двурушнической практике украинского буржуазного национализма, не повторялся бы неоднократно и в последующие годы — в иных вариантах. Есть еще обстоятельство, которое заставляет меня — после глубоких раздумий — напомнить об этих фактах читателю, особенно — молодому, которого легче обмануть, чем очевидца этих событий: ведь во всем постыдном походе УГА на «большую Украину» принимали участие многие и многие будущие воспитатели и вдохновители «Украинской военной организации» — УВО, слившейся впоследствии с «Организацией украинских националистов» — ОУН, те, что вызвали со временем к жизни кровавую бандеровщину, мельниковщину, бульбовщину и прочие ответвления украинского национализма, особенно расцветшие в годы гитлеровской оккупации на землях Западной

¹ Западно-Украинской Народной Республики.

Украины и надолго запомнившиеся населению. Казалось бы, они, эти новые «фюреры ОУН», должны стыдиться былых трагических событий и сговора их духовных отцов с палачом Деникиным.

Однако нет!

Стоит почитать многочисленные националистические издания, а в том числе книги и брошюры, выпущенные националистической «Червоной калиной» во Львове, как вам станет ясно, что все эти курмановичи, шухевичи, капустянские, купчинские и другие деятели УГА всячески «глорификують»¹ ее деятельность, на все лады превозносят свое участие в ней, со слюнявым сентиментализмом (писание богослова о. Голинского, например) повествуют о своих встречах с деникинскими офицерами — палачами Украины. Из заведомого предательства они с ловкостью профессиональных шулеров пытались, да, по моему, еще и поныне пытаются, изобразить некий подвиг УГА, поставить его на котурны, овеять националистической романтикой. Вот, собственно говоря, для чего напоминаю я о фактах, виденных мною в далекой юности, которые трудно было тогда осмыслить без должного житейского опыта.

...Я вернулся в родной Львов после развала УГА и долгих мытарств, отсидев несколько месяцев в лагере Либереце, в Чехословакии, куда доля загнала многих таких же, как я, бывших вояк УГА.

Полные радужных надежд покидали мы Львов, надеясь, что победы УГА на «большой Украине» будут содействовать укреплению позиций украинской делегации в Версале и заставят польских магнатов уйти из Западной Украины. Не тут-то было! Во Львове утвердился режим пилсудчины. Об украинском университете и о других высших учебных заведениях — речи быть не могло. Чтобы получить высшее образование, украинцу надо было пойти на сделку со своею совестью, с национальной честью, стать «перекинчиком»², отречься от всего, о чем мечталось, пойти внаймы до «сосідів».

¹ Прославляют.

² Перебежчиком.

Западная Украина на долгие годы была отдана под власть колонизаторов, и этим мы, галичане и жители Волини, были немало «обязаны» головному атаману Симону Петлюре, к которому националисты всех мастей относились с таким пиететом, несмотря на то что он лично совершил акт величайшего предательства по отношению к украинскому народу.

Годы, что прожил я под властью пилсудчиков, можно без всякого преувеличения назвать годами унижений и пресмыкательства. Нельзя было расправить плечи, поднять голову, смело посмотреть в глаза любому встречному, почувствовать под ногами свою родную украинскую землю, почувствовать себя ее хозяином. Надо было ловчить, изворачиваться, льстить, если ты хотел заработать на кусок хлеба, получить, скажем, клиентуру в адвокатской конторе. А все те, кто был у руля создания ЗУНР и «Украинской Галицкой Армии», вся наша украинская буржуазная элита, что несла персональную ответственность за гибель тысяч молодых галичан, ушедших в рядах УГА к берегам Днепра, жила припеваючи.

Господа «сеньоры», меценасы засели на теплых местечках в «Просвіті», в «Сільському Господарі», в «Народній торгівлі», в «Ревізійному Союзі», получили большие оклады, покупали себе виллы и дома, уезжали на модные курорты. В их руках была украинская пресса, которая отравляла сознание народа, призывала галичан ненавидеть Советскую Украину и вела ожесточенную кампанию против тех прогрессивных украинцев, которые с надеждой смотрели на советский Восток и призывали сопротивляться фашистской угрозе.

Крестьянские дети голодали, не имели кружки молока,— все молоко перегоняла на масло своими сепараторами широко разветвленная сеть «Маслосоюза», якобы кооперативной организации, которая на самом деле была хитро замаскированной резидентской сетью абвера — гитлеровской военной разведки.

Правда, люди, умеющие видеть, еще во времена пилсудчины угадывали за зеленым листочком клевера (фабричная марка «Маслосоюза») силуэт свастики.

Изредка, в знаменательные даты, прежние наши вожаки из УГА — атаманы, сотники, полковники, ставшие теперь «кооператорами», созывали нас, бывших усусу-

сов, на различного рода слеты и собрания. Не пойти туда, отказаться — значило потерять место и клиентуру, подвергнуться бойкоту.

Только сильные, волевые люди находили в себе мужество еще тогда разорвать с этим постыдным прошлым, найти другой, самый верный путь.

Какой только клеветы о Советской Украине мы не слушали на этих собраниях из уст наших седобородых, разжиревших политиканов из УНДО¹, из окружения митрополита Шептицкого! Очень, очень стыдно вспоминать, но некоторые из нас свято верили этим лжемессиям.

Весной 1940 года, когда Львов уже стал советским, украинским городом, меня послали в служебную командировку в Киев. А ведь тогда еще существовали пропуска между новыми, западными областями и основной Украиной. И в самом факте посылки меня в Киев я ощутил большое и, быть может, еще незаслуженное доверие ко мне товарищей с Востока... Поехал я в Киев с разноречивыми чувствами. Боялся! Каюсь. За месяцы, прошедшие с сентября 1939 года, много нового, такого, что открывало глаза, изменяло мой взгляд на вещи, довелось мне повиждать.

С волнением пересекал я в поезде узенький Збруч возле Волочиска, повторяя два десятилетия спустя маршрут 1919 года.

Не отрывая глаз, смотрел я на поля Подолии, видел иную Украину, чем ту, что наблюдал, когда осенью 1921 года рвался туда петлюровский атаман Юрко Тютюнник, видел веселых, жизнерадостных, спокойных людей. Повсюду звучала украинская речь. Совсем иной изображали нам в Галичине Советскую Украину наши верховоды. Они одурманивали сознание нестойкой части нашей молодежи, чтобы угнать ее за Сан, в эмиграцию, под опеку гитлеровской армии, когда 17 сентября 1939 года советские войска, перейдя Збруч, шли освобождать Львов.

Трудно было отказать себе в желании побывать в Виннице, в той самой Виннице, где в ноябре девятнадца-

¹ Украинского национально-демократического объединения.

того года валялись мы в сыпнотифозном бреду. Я сошел с поезда, закомпостировал билет и отправился побродить по городу, в котором решительно никто меня не знал.

Я увидел обновленную, веселую Винницу.

Винничане — как узнал я — с большим уважением хранят память о Коцюбинском и о других деятелях украинской культуры, своих земляках.

Улицы города были заполнены жизнерадостной молодежью, в городском саду слышались украинские песни. Насколько счастливее оказалась судьба этой молодежи по сравнению с судьбою тех молодых галичан, что были зарыты на безвестных, поросших бурьяном кладбищах в окрестностях города!

С большим трудом, при помощи кладбищенских сторожей, разыскал я могилы погибших от сыпного тифа своих товарищей — галичан, стоял над ними в безмолвии и думал: за что они погибли? Как глупо и нелепо оборвалась их жизнь! Кости их давно сгнили, а люди, пославшие их сюда, до недавнего времени благоденствовали... Ходил себе на очередное пиво к Бизанцу или к Нафтулле либо в другие львовские кабаки старейшина украинских националистов адвокат Кость Левицкий. Дом напротив львовского почтамта купил адвокат Степан Федак. Загрребал огромные деньги в кооперативных организациях бывший атаман УГА Шепарович. Получал посольскую тысячу злотых и гонорары за свои антисоветские книжки председатель УНДО Василь Мудрый. И все, как могли, спекулировали на печальной истории УГА.

Не думал я, стоя майским днем над стрелецкими могилами в Виннице, что уже известные мне косари смерти опять занесли свои косы над головами нового поколения галичан. Не знал и не предполагал я тогда, что история одного предательства повторится в ближайшем будущем.

Первый акт этого предательства разыгрался на глазах у нас 30 июня 1941 года. Еще не были убраны с улиц Львова и не преданы земле трупы женщин и детей, убитых фашистскими бомбами и пулями из пистолетов гитлеровских диверсантов, а уже с утра возле собора святого Юра можно было встретить знакомые лица воспрянувших духом наших «духовных вождей» старшего поко-

ления. Из уст в уста передавали они весть о том, что «наши хлопцы прежде всего сюда придут». На Цитадели уже развевался флаг гитлеровской Германии, и там звучали немецкие военные марши.

Одна из немецких частей, ворвавшихся во Львов, и в самом деле завернула к Святоюрской горе и, пройдя походным строем под арку ворот, остановилась перед палатами митрополита Шептицкого. Солдаты были в немецкой военной форме, и я сперва подумал, что это регулярная немецкая часть собирается располагаться на постоянной в соседних с собором святого Юра зданиях. Но пригляделся повнимательнее и увидел на плечах у стоявших желто-голубые нашивочки. История повторялась! Ведь и мы когда-то маршировали по дорогам Украины в чужих, австрийских мундирах, с трезубцами на шапках. Лицо командира этой части (именуемой, как узнал я потом, отрядом украинских добровольцев-националистов так называемого легиона «Нахтигаль») показалось мне знакомым.

Где-то видел я этого рыжеволосого детину с перебитым носом? Присматриваюсь, приглядываюсь и чуть не ахнул от изумления!

Да ведь это же Роман Шухевич, один из отпрысков всем во Львове известной адвокатской семейки Шухевичей, террорист и мастер тайных убийств, типичный фашистский молодчик, да еще с незалеченным сифилисом, жертвой которого стала не одна украинская девушка, вовлеченная им в ОУН. Гитлеровцы не зря взяли к себе на службу такого бывалого головореза, отлично зарекомендовавшего себя в их глазах не только убийствами многих своих, обращавших взгляды к советскому Востоку, земляков-украинцев, но еще и тем, что в свое время он был завербован профашистской кликой пилсудчиков и немецкой разведкой для убийства проштрафившегося министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого.

В подготовке убийства Перацкого, совершенного в Варшаве, ближайший соратник Степана Бандеры Роман Шухевич играл большую роль. Когда видные оуновцы-провокаторы братья Барановские сообщили польской полиции имена участников убийства, дипломатический нажим гитлеровской Германии вынудил правительство

Польшу сохранить всем им жизнь. Сейчас Роман Шухевич «отрабатывал» свой долг перед гитлеровцами, отдавал команды. Возле него крутился другой офицер, в котором мы все, кто стоял поблизости, узнали переодетого в немецкий мундир греко-католического священника, любимца митрополита Шептицкого, доктора богословия отца Ивана Гриньоха. Поглядел я на это трогательное содружество греко-католического пастыря и убийцы-сифилитика и подумал: какова же цена христианской морали, проповедуемой под сводами Святоюрского собора, чего стоит заповедь: «Не убий!»

В то утро захвата нашего города войсками чужеземцев, сразу переименовавших древний украинский Львов в «Лемберг», седовласый митрополит граф Андрей Шептицкий не последовал этой священной заповеди.

Он не отвернул свое лицо от заведомых убийц, не призывал никого силою своего духовного авторитета прекратить уничтожение мирного населения. Он принял в своих палатах представителей легиона «Нахтигаль», Романа Шухевича, отца Ивана Гриньоха и других офицеров. Он с большим удовольствием выслушал доклад своего воспитанника Гриньоха, передал свое благословение шпионам, переодетым в немецкие мундиры, и будущему украинскому правительству.

Вспоминаю я сейчас всю эту церемонию, свидетелем которой мне случайно довелось стать, оцениваю все происходившее с точки зрения исторической перспективы и думаю: какой позор! До какой степени нравственного падения докатилась в те дни подчиненная Ватикану и много лет руководимая Шептицким греко-католическая церковь, которая, по словам живущих и поныне ее адвокатов из клерикального лагеря, якобы «никогда не вмешивалась в политику»! В то утро, на глазах у нас всех, на паперти Святоюрского собора украинский национализм наглядно демонстрировал не только свой военный союз с гитлеровцами, верноподданнические чувства к фашистской Германии, но и тесную связь свою с Ватиканом и его агентурой в Западной Украине, агентурой, которая не раз и не два толкала нестойкие души верующих на тропу измены делу народному.

Но произошел в это июньское утро еще один эпизод, о котором до сих пор стыдливо умалчивают все его сви-

детели, особенно святоюрцы, стремящиеся во что бы то ни стало обелить посмертно своего патрона, графа Шептицкого. Растроганный приходом гитлеровских войск, бывший австрийский офицер и агент австро-венгерской разведывательной службы, облачившийся к тому времени в мантию митрополита, князь церкви Андрей Шептицкий принял гауптмана вермахта по отделу контрразведки абвера Ганса Коха. Да, да, того самого Ганса Коха, который написал книжку о договоре «Украинской Галицкой Армии» с генералом Деникиным. Митрополит был знаком с Гансом Кохом еще со времен образования «Украинской Галицкой Армии», сотником которой служил Кох, ведя одновременно разведывательную работу на «большой Украине» в пользу немцев. До гитлеровского нападения на СССР Ганс Кох не только служил в абвере, но и, числясь «профессором» Кенигсбергского университета, готовил в нем шпионов — специалистов по России и Украине, ведя всю эту «учебную работу» под непосредственным руководством здравствующего и поныне в Западной Германии известного разведчика генерала Рейнгарда Гелена.

Уже само по себе знаменательно, что в то первое утро во Львове, полное забот и организационных дел, Ганс Кох прежде всего направил свои стопы именно к Шептицкому. Разве не ясно из этого, какую роль отводили греко-католической церкви немецкая разведывательная служба и ее деятели, сегодня обслуживающие центры американского шпионажа в Европе?

Бывший разведчик, митрополит Шептицкий не только принял с распростертыми объятиями Ганса Коха. Его эксцелленция граф Шептицкий любезно предложил Гансу Коху поселиться по соседству со своей опочивальней, в митрополичьих палатах. Ганс Кох охотно принял предложение главы греко-католической церкви, вполне его устраивающее. Уж кто-кто, но он знал, как враждебно настроены ко всему прогрессивному святоюрцы, и понимал, что в палатах митрополита ему, представителю гитлеровской разведывательной службы, не будет угрожать ни пуля советского партизана, ни другие неприятности. Так под одной крышей старинного, увенчанного крестом дома львовских митрополитов в трогательном соседстве

коротали дни и ночи до августа 1941 года седой митрополит, или «украинский Моисей», как величали его наши меценасы, и представитель абвера, страшной из всех контрразведывательных служб, какие знала история.

Быть может, я преувеличиваю ее роль и значение такого соседства?

Поздней осенью 1944 года, когда митрополит Шептицкий уже умер, у меня в гостях был один из священников, живших во время гитлеровского вторжения рядом с собором святого Юра. С этим священником мы некогда учились вместе в гимназии, потом он пошел на теологию, я стал «студіювати право»¹, наши пути разошлись, но порою мы встречались как друзья детства. Под наплывом воспоминаний о той далекой поре, когда мир кажется прекрасным и вы не постигли еще цену человеческой подлости, гостя у меня, знакомый священник под большим секретом сообщил мне некоторые подробности о Гансе Кохе, и в свете этого рассказа совместное проживание Коха с митрополитом приобрело иную, еще более зловещую окраску.

Оказывается, живя под крышей палат митрополита, в одной из уютных, тихих комнат, пропахших запахом ладана и мира, попивая вино из богатых подвалов Шептицкого, Ганс Кох готовил и планировал здесь в первых числах июля 1941 года убийство выдающихся представителей львовской интеллигенции. Как стало впоследствии известно, в ночь с 3-го на 4 июля 1941 года 36 человек из числа львовской профессуры были арестованы эйнзатц-группой, офицерами немецкой разведки и нахтигальцами и зверски расстреляны эсэсовцами в лошине близ Вулецкой улицы. Это все мы знали, но не знали до сих пор, что списки намеченных к расстрелу ученых до того, как свершилось это ужасное преступление, составленные агентурой ОУН, побывали на письменном столе у Коха в покоях митрополита. Сам Шептицкий отлично знал многих обреченных. Особенно хорошо ему были знакомы медики — профессор и академик Роман Ренцкий, профессор и академик-стоматолог Антон Цешинский, терапевт

¹ Изучать право.

Ян Грек, хирург Тадеуш Островский, профессор-педиатр Станислав Прогульский и многие другие. Все они были римо-католиками, папской того самого папы римского Пия XII, которому подчинялся и Шептицкий. Многие из них постоянно лечили дряхлого болезненного митрополита, а его гость и старый знакомый Ганс Кох спланировал и осуществил их истребление. Что еще можно добавить к этому чудовищному факту!

До того, как было осуществлено это злодеяние, мы увидели гауптмана Ганса Коха в несколько иной роли, дипломатической.

Когда я возвращался со Святоюрской горы к себе, на Замарстинов, мне навстречу попался отец Роман Лукань, монах-вазилианин, известный во Львове своими исследованиями о первопечатнике Иване Федорове и, кстати сказать, очень загадочно погибший под колесами немецкого грузовика в одну из «круглых» дат смерти первопечатника. От него я узнал, что в город на машинах вермахта приехали вместе с немецкой армией вожаки ОУН Евген Врецьона, Ярослав Стецько-Карбович, Мыкола Лебидь, Лопатинский и другие националисты. Роман Лукань сказал мне, что вечером в здании бывшей «Просвіти» на площади Рынок созывается какое-то весьма важное собрание, на котором обязательно должны присутствовать все украинские интеллигенты, особенно те из них, кто служил в УГА. Тут же Роман Лукань добавил, что неявка на собрание может повлечь за собой последствия очень печальные, потому что оккупационные власти шутить не будут и всякого более менее заметного в городе украинского интеллигента, который попытается отлынивать от сотрудничества с новой администрацией и вести «свою политику», возьмут сразу на заметку. В свою очередь, заметил Лукань, появление на этом собрании каждого человека, кто сотрудничал с большевиками, будет служить для него как бы индульгенцией, доказательством того, что это сотрудничество было вынужденным, неискренним, временным.

Должен откровенно сказать, как только мы расстались с вазилианином, я подумал: «Какого дьявола я тебя встретил? Уж лучше бы я не знал ничего об этом собрании». Мне хотелось выждать, осмотреться, а потом при-

нимать какие-либо решения. Каюсь, я попросту перепугался. Должно быть, отсутствие стойкости в нужную минуту вызвано было долгим пребыванием «внаймах у «сусідів» (внайме у польской шляхты). И, движимый чувством предосторожности, опасаясь, как бы этот иезуит-василианин сам первый не сообщил о моем отсутствии, я, едва стало смеркаться, двинулся к центру города. Возле Кафедры встречаю Осипа Бондаровича (который вскоре стал редактором продажной газетки «Львівські вісти»). До того знаком я был с ним шапочно, но в этот вечер он держал себя как мой старый приятель. Взял меня под руку и торжественным тоном, не свойственным тону Бондаровича, какого я знал, промолвил:

— Пане меценасе! Пойдем со мною. Вы будете участником «Національних зборів», исторического события в жизни Украины.

Когда я стал отнекиваться, говоря, что я, мол, незаметный человек, всегда стоящий в стороне от политики, Бондарович энергично возразил:

— То было раньше, а ныне, в час нового «Великого зриву», каждый, в ком бьется украинское сердце, не имеет права стоять в стороне.

В маленьких полутемных комнатах «Просвіти» какие-то старушки зажигали свечи. На стульях сидели адвокаты, священники, учителя гимназий и другие интеллигенты; многих из них я знал. Все же собралось не более ста человек. Большинство присутствующих держались сдержанно, с опаской. Они переглядывались, молчали да покрхтывали. Выделялся своей окладистой бородой представитель митрополита Шептицкого, ректор духовной семинарии, митрат отец Иосиф Слипый¹. Он чувствовал себя очень уверенно и о чем-то громко разговаривал с адвокатом Костем Паньківським, бывшим усусусом. Видно было, что Иосиф Слипый упивается значительностью переживаемого момента: наконец-то он сможет послать своих воспитанников, священников греко-католической церкви, вслед за наступающей гитлеровской армией, на восток, и дальше — к берегам Тихого океана, с миссией утверждать на огромных просторах Советского

¹ Сейчас находится в Ватикане и недавно папой римским Павлом VI наименован — кардиналом. — В. Б.

Союза власть Ватикана и папы римского, т. е. осуществлять давнюю мечту католической церкви. Всегда нагловатый, не по уму самоуверенный, в этот вечер, при тусклом свете свечей, Слипый выглядел триумфатором. Несколько иначе выглядел он ровно через два года, после разгрома немцев под Сталинградом. Его сосед по столу на банкете, устроенном в бывшей столовой воеводства в честь приезда генерал-губернатора Ганса Франка, рассказывал такой эпизод: когда после окончания банкета гости стали подыматься из-за стола, архиепископ Слипый оглянулся и, схватив лежавшую у его прибора карточку с его именем (такие карточки раскладывались, чтобы каждый приглашенный знал, где ему сидеть), воровато опустил ее в карман реверенды¹, боясь оставлять для потомства такую улику...

...Шушуканье, тихие разговоры, поглядывания на часы продолжались слишком долго. Каждый побаивался, как-то он вернется домой: оккупанты ввели уже свой полицейский час, после девяти вечера нельзя было появляться на улицах.

Наконец открылась дверь и в комнату, сопровождаемый группой националистов, вошел представитель Степана Бандеры и будущий председатель правительства «самостийной Украины» Ярослав Стецько-Карбович. Любый человек, который до сих пор не видел этого недоучившегося тернопольского гимназиста, уже по одному его внешнему виду и по манере держаться смог бы безошибочно определить, что самозванный премьер не только позер, но и ничтожество. Был теплый июньский вечер, а он, чтобы подчеркнуть свою близость к немецким оккупантам, вырядился без всякой к тому необходимости в немецкий военный дождевик, да еще вдобавок, строго следуя гитлеровской моде, поднял воротник.

На его сером, невыразительном лице с красным носом, признаком приверженности к спиртным напиткам, освещаемом отблеском свечей, отражалось волнение. То и дело оглядываясь на пришедшего с ним вместе гауптмана абвера Ганса Коха, Стецько-Карбович тихим, срывающимся голосом, до того невнятно, что люди, сидевшие в соседней комнате, не могли разобрать ни одного слова,

¹ Парадная ряса униатского священника.

стал читать «акт» ОУН о «создании самостийной Украинской державы» и о признании фашистами ее «правительства». Впечатление от речи Стецько было жалкое. Этот «премьер» в немецком плаще ни своим видом, ни бессвязной болтовней не мог импонировать даже самым ярким сторонникам украинского национализма из представителей старшего поколения львовян. Если они его и слушали и дальше принимали участие в этой комедии, то только потому, что каждый понимал — за Стецько стоит другая, главная сила, которая за непослушание и оппозицию по головке не погладит. Этой силой был абвер — немецкая военная разведка. Представитель абвера Кох также выступал на этой церемонии. Его речь была жесткой и развеяла иллюзии, еще бывшие у иных, и опровергала она многое из того, что наболтал Стецько. Кох сказал дословно следующее: «Война не закончена, и надо со всеми политическими прожекторами ждать разрешения фюрера». Тонем прусского фельдфебеля, не знающего отказа, он требовал от присутствующих, чтобы они работали на пользу рейха и всеми силами помогали гитлеровской армии. Любопытнее всего, что ни о какой «самостийной» Украине Ганс Кох и не заикнулся. Однако это не помешало многим националистским писакам, Бондаровичу например, ликовать потом по поводу того, что «присутствующие были счастливы, видя в зале бывшего сотника УГА, офицера Великой Германии Ганса Коха».

Чтобы подсобить Стецько-Карбовичу и подкрепить его декларации авторитетом митрополита Шептицкого, выступал на этом собрании священник-василианин Иван Гриньох, переодетый в нарядный гитлеровский мундир. Все свои способности проповедника-иезуита пустил он в ход, чтобы заставить присутствующих поверить в серьезность трагикомедии. Он передавал привет от легиона «Нахтигаль» и его командира — Романа Шухевича. Эта речь Гриньоха о легионерах, пришедших во Львов в немецкой униформе, лишней раз свидетельствовала о полной тождественности целей немецкого фашизма и давно уже подчиненной ему ОУН, от чего после войны бандеровцы стали всячески открещиваться, предпочитая любыми способами затушевывать все подробности этой истории.

...Еще в ту же ночь, короткими перебежками, от одного затемненного уголка к другому, возвращаясь к себе домой, на Замарстинов, я мучительно думал: кто дал право этим людям говорить от имени украинского народа? Кто дал право бездарному недоучке Стецько провозглашать правительство огромной свободолюбивой Украины, сыновья которой в эти трудные месяцы, как мы узнали позже, оказывали бешеное сопротивление армии врагов, одетых в такие же мундиры, какой был на Гриньохе и его пастве из легиона «Нахтигаль»? Может быть, это строители Днепрогэса, рабочие киевского «Арсенала», шахтеры Горловки, колхозники Черниговщины, учителя Белой Церкви поручили Ярославу Стецько-Карбовичу стать выразителем их желаний? Даже в тот трудный вечер многие бесхребетные интеллигенты, запуганные приходом новой власти и из боязни за свою шкуру поддакивающие Стецько-Карбовичу, в глубине своих душ прекрасно понимали, что он не имеет ровно никакого права говорить от имени украинского народа, а выражает только жадные вожеления кучки националистических авантюристов, давно замышлявших сделать бизнес на новой войне, ибо без такой войны, на которую они издавна ориентировались, никто бы их знать не хотел и слушать бы их не стал.

Сейчас, когда я вспоминаю этот постыднейший вечер, один из самых глупейших фарсов, какой только довелось мне видеть в жизни, во мне вызывает недоумение еще одно обстоятельство.

Среди людей, сидевших со мной в комнатах «Прогресу» вечером 30 июня 1941 года, были не только профессиональные политиканы-авантюристы типа Стецько. В силу тех или других причин там оказались и отдельные научные работники — историки, филологи, преподаватели украинского языка, оставшиеся во Львове, когда в июле 1944 года фронт стремительно передвигался на запад, довольно бойко владеющие пером, давно искупившие честным трудом на пользу советской власти свои прежние заблуждения. С некоторыми из них потом я часто встречался на улицах Львова, здоровался, беседовал о том о сем... Я знаю, что некоторые из них отлично, от корки до корки, знают историю средневекового Львова, могут

наизусть назвать фамилии его патрициев, привести различные казусы из древних судебных актов. Другие, изучающие эпоху Хмельниччины, знают не только множество подробностей из жизни великого гетмана, но и предательство его преемника — гетмана Выговского. Они охотно печатают об этом публикации в газетах, в научных изданиях.

Чем же объяснить, что эти очевидцы комедийного фарса, о котором я здесь рассказываю, не описали до сих пор все, что произошло на их глазах, с большой обличительной страстностью? Почему они молчат? Ведь даже националисты за рубежом, во взаимных драчках мельниковцев с бандеровцами, сами того не желая, выболтали столько убийственных для разоблачения украинского национализма подробностей, что любой историк-аналитик, освоив этот материал, может окончательно добить их болтовню и демагогию. Я пишу все это только для того, чтобы рассказать молодежи, которую могут обмануть еще не раз всякие «идеологические референты ООН», как сводили они в могилу их отцов, как толкали заблудших на дорогу измены под шумными лозунгами националистической романтики торговцы честью украинского народа. Ученые всего мира ищут способы излечивать рак, детский паралич, проказу. Украинский национализм на протяжении многих лет пытался заразить чем-то подобным раковым клеткам здоровое тело украинского народа. Убежавшие за кордон его вожаки и поныне занимаются тем же. Перевербованный из абвера американской разведкой, «премьер» Стецько-Карбович вместе со своими сообщниками продолжает, как хищный паук, ткать свою паутину провокаций, лжи, человеконенавистнической пропаганды. Он давно уже нашел себе новых хозяев. Возглавляя «Антибольшевистский блок народов», он не успокоился до сих пор и открыто призывает к войне. Вот почему надо сорвать маски с него и всей его шайки на всем протяжении их подлого пути предательства.

Стараясь как-нибудь сохранить свои позиции и гальванизировать весь ассортимент идеологического воздействия на массы, вожаки ООН различных направлений

после падения гитлеровской Германии стали всячески от-
крещиваться от бывшего сотрудничества с немецким фа-
шизмом. Была пущена в ход легенда о том, что-де, мол,
«ОУН боролась с немецким наездником».

Однако восстановим в памяти факты тех лет так, как,
например, французы освещают сейчас факты участия
нынешнего главнокомандующего сухопутными силами
НАТО, бывшего фашистского генерала Шпейделя в убий-
стве короля Югославии Александра и французского пре-
мьера Барту. Иногда очень полезно извлечь из тайников
истории и представить для обозрения современников
самые забытые факты, бросающие свет в сегодняшний
день.

Если гитлеровское командование, захватив Львов
30 июня 1941 года, расположило свою комендатуру в Ра-
туше, то украинские националисты-оуновцы из окруже-
ния Степана Бандеры, полностью расконспирировав все
свои клички и организационную структуру (а сделали они
это, будучи твердо уверенными в победе гитлеризма), со-
вершенно открыто заняли под свои центры и под главную
квартиру весь трехэтажный дом на Русской улице, где
когда-то находилось товарищество «Дністер». В трога-
тельном единстве свисали со стен этого дома флаг гитле-
ровской Германии со свастикой и желто-голубое знамя
националистов с трезубцем. Оуновец Евген Врецьона
организовал городскую милицию и командовал ею до тех
пор, пока его не оттеснили офицеры из СС.

Несколько позже штаб-квартира ОУН переселилась
на площадь Смолки, в дом № 4, где некогда помещалась
польская полиция. В такой преемственности тоже была
своя символика: ведь ОУН стала глазами и ушами не
знающих местных условий гитлеровцев и выполняла мно-
жество чисто полицейских функций в борьбе с революци-
онно настроенными украинцами.

Именно в этом доме, на верхнем его этаже, 11 июля
1941 года собралось новоиспеченное «правительство
Украины». Оуновские верховоды торопились создать ви-
димость государственности, опередить застрявших где-
то в Кракове полковника СС Андрея Мельника и его со-
общников, и затыкали наспех дырки в своем «кабинете»,
как попало, раздавая портфели любому, кто пожелал бы

сотрудничать с ними, из числа буржуазных интеллигентов. И вот на горизонте липовой, самозванной «государственности» Украины в окружении горе-премьера Стецько взошли и заблестали на миг такие, с позволения сказать, «звезды». Министром иностранных дел был назначен засевший в Берлине по причине природной трусости Владимир Стахив. Служба безопасности была поручена одному из самых жестоких оуновских террористов — Мыколе Лебидю, известному еще по польским временам. Отъявленный садист, убийца многих революционно настроенных галичан, Лебидь в 1943 году сажал на колы украинских крестьян, отказывающихся выполнять приказы бандеровцев. Министерство пропаганды возглавил некий Ярослав Старух, старый болтун и националистический демагог, сочинявший оды в честь Петлюры, продавшего Западную Украину пилсудчикам. Так называемую «политическую координацию» возглавил такой же, как и «премьер», дилетант, недоучка и мастер «мокрых дел» Иван Климов, по кличке «Легенда». Первым же заместителем Стецько-Карбовича был «магистр» неизвестно каких наук Лев Ребет, председательствовавший на заседании «правительства» в этот день, ибо Ярослав Стецько-Карбович был пьян до потери сознания и его язык не вязал лыка.

Эта часть «правительства» была, так сказать, «импортная», составленная еще в Кракове, при ближайшей консультации гауптмана Ганса Коха. Во Львове же инициаторы этой комедии хотели опереться на чисто львовские кадры украинских националистов из числа лиц старшего поколения, которые бы своим жизненным опытом прикрывали бездарность зеленых недоучек, возомнивших себя равноправными партнерами Гитлера, Геринга, Геббельса, Гиммлера и прочих вожakov рейха. Вот почему пост министра здравоохранения был поручен профессору Мариану Панчишину, двурушнику и оборотню, который еще совсем недавно клялся публично в своей любви к советской власти. Его заместителем стал достаточно известный в городе врач и, как это позже выяснилось, немецкий шпион Александр Барвинский. Министерством финансов стал ведать ИллариЙ Ольховый. Министерством юстиции — тот самый судья апелляционного

суда Юлиан Федусевич, который с большим наслаждением еще в польские времена отклонял одну за другой апелляции людей, осужденных за революционные выступления против режима пилсудчины, против кровавых умиротворений — пацификаций. И этот «специалист» по судебным делам был подобран бандеровцами во Львове. Его заместителем стал другой судья, не менее жестокий, чем Федусевич, Богдан Дзерович. Портфель министра внутренних дел получил адвокат Владимир Лысый, а его заместителем стал Кость Панькивський — хитрая бестия, попавший в это «правительство» по протекции своего давнего приятеля, а ныне начальника Стецьковой цивильной канцелярии — адвоката Михайла Росляка. Кандидата на пост министра народного хозяйства нельзя было подыскать, поэтому портфели заместителя министра вручили двум оуновцам — Роману Ильницкому (старому немецкому агенту) и Дмитру Яциву. Инженер Андрей Пясецкий получил портфель министра лесоводства, так называемое министерство просвещения и культуры возглавил Василь Симович, министерство почт и телеграфа — советник Антон Костишин. Хотя все железные дороги на территории, занятой уже немецкими войсками, были в руках вермахта, тем не менее оуновцы не позабыли выдать портфель министра железных дорог некоему Н. Морозу. Старый националист Евген Храпливый, на всякий случай задержавшийся в Кракове, был назначен министром сельского хозяйства, а военное министерство должен был возглавить бывший петлюровский генерал, известный только победами, одержанными над ним Красной Армией, Всеволод Петров, находившийся в Праге. Его заместителем назначили сотника Романа Шухевича... Я не знаю, кто со временем, после моей смерти, найдет эту тетрадку, быть может не только наш, «місцевий» галичанин, но и «східняк» — восточник, потому-то я стараюсь быть предельно точным, а также объяснять вещи, хорошо известные каждому «місцевому», — предельно популярно...

...Запомните же все те, кому попадет в руки эта исповедь, фамилии этих предателей Украины, которые, склонив свои головы, решили добровольно пристегнуть себя к колеснице гитлеровской Германии в тот тяжкий час,

когда на украинской земле пылали села и города, разбиваемые фашистскими снарядами, когда вся Украина, от мала до велика, подымалась на ползущего с запада врага, клейменного свастикой.

Запомните и представьте себе такую возможность:

По городам и селам, занятым немецкими фашистами, насильно собирают украинских труженников — рабочих, крестьян, интеллигентов, не успевших эвакуироваться на восток. Солдаты из легиона «Нахтигаль», по поручению Шухевича, начинают зачитывать состав «правительства», которое заседало 11 июля 1941 года в доме на площади Смолки, во Львове. Что бы подумал, услышав перечень этих фамилий, любой украинец? Узнал бы он хотя бы одного из них по каким-либо делам, принесшим пользу народу? Да конечно нет!

Если не в присутствии националистов, переодетых в мундиры вермахта, то уже наедине со своими друзьями любой спросил бы: «Кто такие эти министры, кого это «набрасывают» нам на шею? Где совесть у этих типов, что не постеснялись продать себя в этот грозный и решительный час немецкому фашизму за тридцать даже не серебряных, а никелированных пфеннигов, за чашку суррогатного кофе, за эрзац-мармелад?»

Состав этого «правительства» показался настолько несолидным даже самим «министрам», что тут же, на заседании, они стали шушукаться и, бледнея, спрашивать Льва Ребета, а почему здесь нет представителей немецкого генералитета, которые освятили бы своим присутствием, сделали бы более весомым и значительным учреждение подобного правительства. В этих опасениях и оглядке на немецкий генералитет проявилась не только трусливая, лакейская природа нашей буржуазной интеллигенции, не только полное неверие в собственные силы этих политиканов, давно уже оторвавшихся от народа, но и их прямая зависимость от целей и практики гитлеровской Германии и ее военщины. Слова Льва Ребета о том, что «генерал все знает, организация находится с ним в контакте, и он санкционировал такой состав правительства», мало кого удовлетворили, так же, впрочем, как и личность самого Ребета, всплывшего на поверхность на грязных волнах оккупации.

Новоявленные министры и руководители департаментов решили, на всякий случай, направить к генералу собственных представителей.

На следующий день, 12 июля, напивлив на себя крахмальные рубашки с манишками и фраки еще австро-польских времен, адвокат Кость Панькивський и профессор Василь Симович, ведомые Стецько-Карбовичем и Ребетом, направились во Львовскую ратушу. Львовские перекупки, торговавшие цветами около фонтана со статуей Нептуна, надо полагать, запечатлели в своей памяти историческую картину, как двое пожилых мужчин в сопровождении двух более развязных людей помоложе, также одетых в штатское, униженно что-то долго объясняя немецкому часовому, стоящему в каске, с винтовкой на плече около двух каменных львов, а потом, расшаркиваясь перед ним, скрылись под сводами ворот Ратуши.

Как это мне рассказали точно информированные люди, командующий армией считал ниже своего достоинства беседовать с какими-то «правителями» Украины. Когда ему доложили об их приходе, он приказал, чтобы ими занялся его адъютант Ганс Иоахим Баер, очень наглый, самоуверенный немец, уже давно специализирующийся по вопросам шпионажа в славянских странах. Но Ганс Баер не пожелал беседовать со всеми членами делегации. Он впустил к себе лишь Стецько и Ребета, и они, оставив министра культуры и просвещения Симовича и заместителя министра внутренних дел Костя Панькивського на скамейке в коридоре, скрылись за дверью.

Несколько ошарашенные подобным афронтом, Симович и Панькивський вполголоса беседовали в коридоре. Симович сказал:

— Не кажется ли вам, пане меценасе, что мы попали в какую-то халепу?

— Ой, кажется! — ответил со вздохом Кость Панькивський.

В это время открылась дверь и появился смущенный заместитель премьера Ребет. На ходу он шепнул:

— Требуют еще магистра Ильницького! Мы сейчас придем.

Баер проявил интерес к старому оуновцу Роману Ильницькому отнюдь не случайно. Ильницький был из тех агентов абвера 6-й армии, кто в период, предшествующий гитлеровскому нападению на Советский Союз, информировал гитлеровцев о состоянии советского тыла. Из информации Романа Ильницького и других его коллег из ОУН выходило, что достаточно будет армии Гитлера перешагнуть Сан, как по всей Украине, под руководством подпольной сети ОУН, вспыхнет массовое восстание и немецкая армия, встречая массы ликующих, радостных по поводу ее появления украинцев, беспрепятственно совершит свой молниеносный марш до пограничного с Украинной хутора Михайловского, а оттуда уже будет рукой подать до Москвы.

Роман Ильницький жил тогда неподалеку от Ратуши, на Русской улице, и потому Лев Ребет привел его в СД очень быстро. Некоторое время из-за двери доносились голоса «премьера» и Ильницького, докладывающих шефу СД всю историю создания правительства, но потом их болтовню перекрыл громкий голос Баера, кричавшего на делегатов. Потом наступила зловещая пауза, распахнулась дверь и на пороге ее появился с пунцовым лицом Ребет в сопровождении унтерштурмфюрера СС Альфреда Кольфа. Этот офицер «службы безопасности» все три года немецкой оккупации Львова занимался украинскими и польскими делами, осуществляя на практике старый девиз римлян: «Divide et impera»¹, принятый и генерал-губернатором Гансом Франком для правления в «Генерал-губернаторстве».

Лев Ребет, показав Кольфу на Симовича и Паньківського, сказал:

— Еще вот эти делегаты, господин унтерштурмфюрер!

Кивком головы Кольф подозвал часового и сказал по-немецки:

— Охранять, чтобы не убежали!

Полчаса просидели в полном молчании Симович и Паньківський, решив, что, по-видимому, на этом их политическая карьера обрывается. Но Ребет и Кольф появились снова, и последний объявил, что Стецько и Иль-

¹ Разделяй, чтобы властвовать (лат.).

ницкий задерживаются потому, что повезут их в Берлин обсуждать некоторые вопросы в присутствии Степана Бандеры.

Точка на этой трагикомедии, длившейся две недели, была поставлена в конце июля, когда все члены «правительства» получили стереотипные письма за подписью Стецько, заканчивавшиеся фразой: «Я уверен, что Вы сохраните верность украинскому государственному делу».

Недалекие люди из числа украинской националистической интеллигенции, не разбираясь в подлинных причинах такого завершения всего этого блефа, пытались было, принимая позу обиженных, утверждать: «Немцы нас обманули». Но разве здесь собака зарыта? Скорее и правильнее всего будет начинать разговор с того, что группка националистических авантюристов типа Бандеры, Стецько, Мельника и других пыталась было обмануть немцев, внушая им, что на Украине у ООН много сторонников и она, мол, представляет собою грозную силу. Кроме того, донесения шпионской агентуры, выдавая желаемое для немцев за действительное, преуменьшали силу Красной Армии. Однако только в первых боях на границе и в треугольнике Броды — Радзивилов — Дубно гитлеровцы натолкнулись на столь упорное сопротивление со стороны Красной Армии, какого они не встречали нигде на Западе. Кость Паньківський, приехавший во Львов после путешествия за Збруч, передавал, что говорили ему немцы при виде кладбища немецких танков на пути в Киев, по обочинам дороги Броды — Дубно, когда все поля на протяжении нескольких десятков километров чернели от корпусов сожженных и разбитых стальных машин со свастикой. Немцы утверждали, что потери гитлеровской армии в первые две недели войны намного превышают потери во всех предыдущих сражениях гитлеровцев в Европе. И в этом основная причина того, что, получая тревожные вести с фронта, оккупанты решили — пришла пора кончать со всякими комедиями вроде провозглашения «правительства самостийной». Несколькими пинками оккупанты разогнали учредителей этого «правительства» и его министров. Была публично дана солидная оплеуха сборищу националистических вожakov, всерьез задумавших править Украиной.

Баер, подводя «теоретическую основу» под разгон не

признанного немцами «правительства», в своей статье «Что мы находим на Востоке», опубликованной 18 июля 1941 года в газетке «Українські щоденні вісти», прямо утверждал, что «украинство в историческом развитии отброшено на сто лет назад», что «возрождение может прийти только от крестьянства, ибо все остальные слои населения слишком слабы, чтобы возглавить регенерацию». Расправившись таким образом со всей украинской интеллигенцией, со всей культурой украинского народа, особенно развившейся за последние десятилетия, этот специалист СД по славянским странам утверждал, что украинцы — это «невольники труда», что, только следуя «немецкому примеру», они имеют единственную возможность «сделаться хлебопашцами, ибо оснований для создания руководящей прослойки украинской нации еще сегодня нет».

Что могло быть обиднее для любого украинского интеллигента, особенно для той части украинской буржуазной интеллигенции в Западной Украине, которая в австрийские и польские времена так любила по всякому поводу кичиться различными званиями — «пане профессор», «пане меценасе», «пане магистр», «пане доктор», «пане инженер», «пане редактор» и т. д., чем такое безапелляционное утверждение гитлеровского чиновника, который с первых дней вторжения был (вместе с Гансом Кохом, Альфредом Кольфом и полковником Бизанцем) властителем жизни и смерти любого человека украинской национальности?

И тем не менее, получив и этот очередной плевков в лицо, не только участники двухнедельного «правительства», но и их сообщники сделали вид, что ничего не произошло, раскланялись и стали искать иных путей, чтобы угодить гитлеровцам.

Уже 16 июля один из таких «панов меценасов», морально отхлестанный публично штурмбанфюрером Баером Кость Панькивський припелся к нему в Ратушу и попросился на службу. Баера вполне устраивали подобные люди, без хребта и чувства собственного достоинства. После превращения западных областей Украины в «Генеральное губернаторство» они на глазах у всех помогали фашистам грабить крестьян, сдирали с бедноты

контингенты, они выдавали партизан, которых все больше и больше становилось на нашей земле. А после сталинградского разгрома той же самой 6-й армии, что прежде занимала Львов, но которой под Сталинградом командовал уже Паулюс, когда стал очевиден близкий крах гитлеровской Германии, они делали все, чтобы его отсрочить: все эти панькивские, кубиевичи, росляки, мельники стали добиваться создания украинской дивизии СС «Галичина». Вымолили ее, добились! Но не успел замолкнуть звон литавр оркестра при оглашении первого приказа о создании дивизии, который прочел губернатор Отто Вехтер в зале бывшего воеводства Львова, как выяснилось, что охотников-добровольцев идти в дивизию не так уж много.

Их стали набирать силой, прибегая к любым уловкам. Видя всю эту возню с созданием дивизии СС «Галичина», наблюдая, каким обманным способом загоняют и в нее «добровольцев» националистические загонщики, я снова и снова вспоминал свою собственную молодость, подробности формирования легиона УСС и затем «Украинской Галицкой Армии» и думал, что, как это ни печально, история повторяется и вот готовится очередное жертвоприношение капиталистическому Молоху.

Было в терминологии наших интеллигентов в Западной Украине такое словцо «заангажуватыся»¹. Так вот, подобно вору, привлекающему к своему грязному делу сообщников, вожаки украинских националистов, уже запятнавшие себя в различных комбинациях с гитлеровцами, создавая дивизию «Галичина», стремились как можно больше пополнить ряды своих соучастников, «заангажуваты», вовлечь в грязное дело сотрудничества с оккупантами как можно больше молодых, неопытных людей, соблазнившихся по молодости лет националистическими лозунгами, чтобы потом, если даже придется им всем — и опекунам и опекаемым — бежать за кордон, была бы «паства», на шее которой можно сидеть, которую можно и дальше обманывать, численностью которой можно щеголять перед новыми хозяевами, теми, что придут на смену немецким фашистам.

¹ Наняться, подрядиться.

Известен печальный финал дивизии СС «Галичина». Почти вся она была разгромлена под Бродами летом 1944 года, приблизительно в тех же местах, где в июле 1941 года советские танкисты громили тысячи немецких танков.

Однажды после окончания войны мне пришлось быть по юридическим делам на Бродщине. Поблизости от села Белый Камень, в глухой лесной ложине, крестьяне показали мне белеющую на дне ее огромную груду черепов. Это было все, что осталось от завербованных ОУН в дивизию СС «Галичина».

Трагический апофеоз нелепой авантюры!

Долго стоял я на краю ложины, смотрел на выжженные солнцем, мытые осенними дождями черепа, слушал журчанье ручейка на дне оврага, пение птиц на деревьях, отдаленный гул мирных тракторов, вспахивающих колхозные поля, снова думая, как и в дни молодости, тягостную думу. А ведь все эти ныне погибшие, если бы не поддались они на удочку националистических верховодов вроде Мельника, Врецьоны, Панькивського, могли бы после освобождения Львова войсками Советской Армии поступить в тринадцать высших учебных заведений города, окончить их, стать инженерами, врачами, педагогами, агрономами. Могли бы приносить большую пользу украинскому народу и доставлять большую радость своим родным, делая спокойной их старость.

Что же осталось от них? Груды белеющих костей!

Огромная вина националистов перед украинским народом не только во всем том, о чем я говорил выше. Они повинны еще и в том, что, выполняя прямые поручения гитлеровской военной пропаганды, начиная с того времени, как Советская Армия подошла к Збручу, содействовали угону в Германию всякого рода беженцев. Ширя и распространяя самые клеветнические слухи о советской власти, угрожая украинскому населению «террором и массовым уничтожением» со стороны Советской Армии, они влияли на нестойких, бесхитростных людей, заставляя их покидать насиженные гнезда, отправляться в Германию. Они, вожаки националистов, сделали несчастными тысячи украинцев. Оторвав их от родной земли, от культуры украинского народа, от великого созидательного, благородного труда советских людей, они

превратили их в жалких «скитальцев», в объект национальной ассимиляции, то ли немецкой, то ли американской, то ли бразильской. Но, последовав вместе с ними в обозах гитлеровских войск, эти господа, спровоцировавшие «скитальщину», издавна связанные с иностранными разведками, знали хорошо, что для них-то, «панов меценасов», всегда найдется работа, пока существует ненависть капиталистического мира к Советскому Союзу. Посмотрите, как живет за рубежом молодой украинский «скиталец» и как припеваючи благоденствуют все эти «паны меценасы», обслуживающие сейчас американские шпионские центры в Западной Германии и за океаном!

...Я пишу свою исповедь со всей ответственностью за каждое ее слово, за каждую ее подробность, пишу правду, передуманную и проверенную годами раздумий, еще и потому, что сам в июле 1944 года, поддавшись было массовому психозу, чуть-чуть было не покинул жену и детей и не уехал в общем потоке беженцев на Запад. Какую бы глупость я совершил! И как я благодарю судьбу и добрых друзей-советчиков, послушавшись которых остался я во Львове, и как бы я счастлив был, если бы не попал в эту подземную тюрьму.

...Работа юриста давала мне возможность часто разъезжать по Украине и бывать за ее пределами. Я видел, как буквально на глазах становилась все краше моя страна, я гордился тем, что имел и свой маленький вклад в общенародное дело, вклад рядового защитника советского права, человека, дающего советы трудящимся, помогающего сохранить в нерушимости советские законы. Когда я ходил по тротуарам преображенного Крещатика, я не мог без слез смотреть на чудесные дома, выросшие на месте руин, созданные руками моих близких — тружеников Украины. Когда, проезжая западными областями Украины, я видел преображенный Луцк, восстановленный Тернополь с его новым, прекрасным озером, выросший на глазах у нас Львовско-Волинский угольный бассейн с копрами его шахт — сердце мое наполнялось гордостью за трудовые усилия моего, украинского народа. Когда я по радио слышал, как участники ансамбля Венгерской Народной Армии поют на своем языке нашу украинскую песню «Розпрягайте, хлопці, коні», когда я

узнавал, что, прибыв во Львов, зарубежные ученые проявляли удивительную осведомленность в творчестве нашего украинского писателя Василя Стефаника, я думал: как мы должны быть благодарны Советской власти за ее мудрую политику, расширяющую ежедневно интернациональные связи между народами и выводящую культуру моей Украины в общий фарватер мировой культуры.

Что может противопоставить благотворному влиянию учения социализма зарубежная болтовня жалких отщепенцев украинских националистических групп и группочек? Что, в частности, приносят их выступления по зарубежному радио на плохом украинском языке?

Злобную, челоуеконенавистническую пропаганду мести и смерти, третьей мировой войны, беспринципного, неоднократно повторяющегося за последние полвека обнаженного предательства. Они вылавливают и всячески раздувают отдельные ошибки советских людей, намеренно забывая о главном — о великом созидании. Ведь ни одной конструктивной мысли, ни одного собственного взгляда на вещи, кроме как повторения злобных завываний своих хозяев, стоящих у долларового мешка, нет больше у украинских националистов.

Все развенчано, заплевано, продано, все загажено в таких помойных ямах морального падения, что иной раз диву даешься — еще есть люди, верящие националистическим подпевалам, которые по-прежнему ткут в закоулках Европы и на американском континенте свою старую паутину лжи и измены. Но не свернуть им больше с помощью вранья и демагогии на дороги измены украинскую молодежь. Однако знать повадки и недавнее прошлое националистических отравителей надо всякому честному сыну Украины. Перед ним, перед народом моей Родины, мне и хотелось исповедаться в этом ужасном плену на склоне лет своих, когда седина посеребрила мою голову, много передумавшую на трудном, не всегда прямом пути.

...Вполне возможно, когда-нибудь эта моя исповедь попадет в руки честным сыновьям Украины и у них возникнет естественный вопрос: как и для чего я написал ее, да еще в таких страшных условиях затхлого монастырского подземелья?

...В марте 1950 года ко мне в юридическую консультацию среди прочих посетителей заявился невзрачного вида хлопец в грубошерстном пиджаке и, когда поблизости никого не оказалось, шепотом сказал мне, что один пан, мой давнишний школьный товарищ, настоятельно просит меня ждать его сегодня вечером в двадцать один час на паперти костела святой Магдалины. И просит меня ни в коем случае не опаздывать. Все это было сказано тоном решительным, исключающим отказ. Как известно, костел святой Магдалины находится на перекрестке людных улиц Львова, поблизости — Политехнический институт и Львовское управление Министерства государственной безопасности, и ничего опасного такая встреча не предвещала. Если бы randevу было назначено в лесу — я, возможно, поколебался бы. А здесь — нет. Когда я стоял на паперти костела, по его ступенькам ко мне поднялся человек в форме советского офицера. За ним следовало еще два человека, но они остановились внизу, на тротуаре. По-видимому, это была охрана. Когда офицер приблизился, по его большим ушам, по искривленному носу я сразу признал в прищельце своего старого знакомого Романа Шухевича, который в это время именовал себя «генералом Тарасом Чупринкой, командующим Украинской повстанческой армией», и уже давно находился на нелегальном положении.

Поздоровавшись, Шухевич сказал, что он не хочет откладывать дело в долгий ящик, и предложил мне изолировать себя на месяц от работы и семьи и, находясь в укромном месте, написать краткую историю борьбы руководимых им бандеровцев с советской властью. Он пообещал доставить мне все нужные материалы и посулил, что, когда написанное мною будет переправлено им за границу, в Мюнхен, в закордонный центр организации украинских националистов, то на мой текущий счет там будет положена приличная сумма гонорара, которым, как сказал Шухевич, я смогу воспользоваться, когда «все в мире переменится и от большевиков не останется ни следа».

Я стал отнекиваться, ссылаться на свою старость, на работу, на то, что я давно отошел от всего этого, но Шухевич прервал меня словами:

— Пане меценасе! Все уже решено. Мы знаем ваши литературные способности, знаем, как вы сотрудничали до прихода Советской власти в «Червонной калине», знаем, какие хорошие воспоминания написали об «Украинских сичовых стрельцах». Напишите сейчас такое. И запомните раз и навсегда — человек, однажды вступивший в ОУН, может уйти из организации только в могилу. У нас есть достаточно средств, чтобы спровадить туда каждого, кто отказывается от службы нашему делу.

Чувствуя явную угрозу и зная, что с такими лицами шутить опасно, я снова стал спрашивать: как же с работой, как с семьей?

— Все будет в полном порядке! — ответил Шухевич. — У вас в юридической консультации работает наш человек. Уже заготовлен приказ о вашей длительной командировке в Киев и в Москву по делу здешних спекулянтов мясом, которых якобы вы будете защищать. Жене позвонят о вашем внезапном отъезде. Дело, как говорят, для вас, адвокатов, прибыльное, можете получить «много в лапу». Поедете вы не один. А работать вы будете только в моем личном бункере, о котором знаю только я, а кто его оборудовал, давно находится там, откуда начинается хвост редиски. . .

И эта последняя, страшная по своему цинизму фраза, за которой скрывалось многое, и решительный тон Шухевича, и два субъекта, что охраняли нашу беседу несомненно с оружием наготове, парализовали мою волю, и спустя час я находился здесь, под землей.

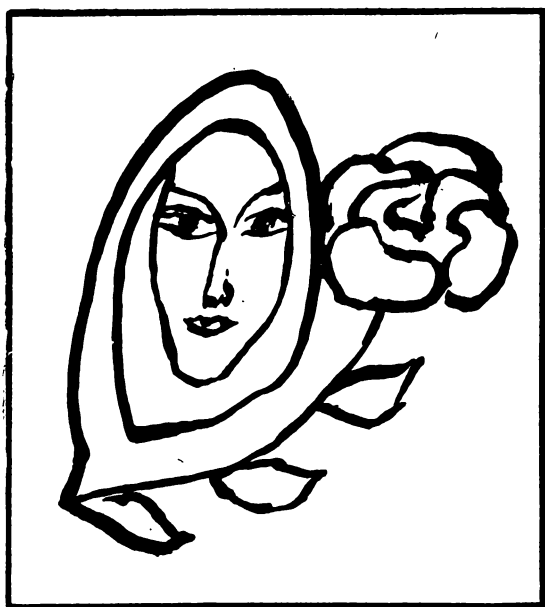
Я начал работу. Через два дня Шухевич обещал лично (это было точно обусловлено) доставить мне материалы о действиях группы ОУН «Вороного» в лесах под Сокалем, но Шухевич не пришел. Прошла неделя. Никого! Видимо, что-то случилось наверху, и тогда мне стал ясен мой исход. Заживо погребенный, я уже никогда больше не увижу солнечного света. И тогда, вместо нового обмана, я решил рассказать всю правду людям. Будь что будет. Одна лампочка уже перегорела. Осталась вторая, последняя. Если перегорит и она, у меня останется возможность осветить это подземелье последней вспышкой. Прощайте!

3 июня 1950 года

Павло Галибей.

...Когда я кончил читать, полковник Косюра, разминая тонкими пальцами папиросу «Казбек», сказал:

— Можете взять эту тетрадку и использовать ее по вашему усмотрению. Любопытный человеческий документ, не правда ли? Что же касается «последней вспышки света», то она озарила подземелье только потому, что в очередной операции в марте 1950 года на окраине Львова нами был убит, при оказанном им сопротивлении, Роман Шухевич, называвший себя «генералом Тарасом Чупринкой»...



КТО ПРЕДАЛ?

ПОВЕСТЬ

«УБИЙЦУ ХОРОНЯТ!»

В четыре часа пополудни мы должны были выехать на трофейной немецкой машине в Раву-Русскую. По непроверенным данным, в годы оккупации там находился большой концентрационный лагерь для военнопленных.

Как и обычно, перед новой поездкой я положил в свой потертый ленинградский портфельчик фотоаппарат «ФЭД», два чистых блокнота, баночку чернил для вечного пера и тяжелый немецкий пистолет «вальтер» с двумя запасными обоймами — нехитрое походное имущество военного журналиста.

Спускаясь по Сикстусской улице к центру Львова, у недавно разминированного почтамта я услышал доносящееся откуда-то заунывное церковное пение.

Осенний ветер разгулялся над седыми холмами старинного города с такой силой, будто пытался раскатать

его древние башни и колокольни. Ветер рвал тугое полотно алого знамени, недавно поднятого вновь на флагштоке городской Ратуши.

Я свернул направо и узкими улочками добрался до Академической аллеи, усаженной старыми тополями. И тут впервые увидел человека, который впоследствии помог мне приобщиться к весьма запутанной и трагической истории.

Худощавый, сгорбленный старик в летнем белом пыльнике, в надвинутой на лоб старомодной соломенной панаме с засаленной лентой медленно брел серединой Академической аллеи по направлению к оперному театру.

Ветер обрывал последнюю листву с оголенных тополей, швырял под ноги старику жесткие листья и гнал их к поблескивающему вдали памятнику Адаму Мицкевичу. Шагах в двадцати от старика ленивой походкой, то и дело заглядываясь на свежевыкрашенные вывески недавно открытых магазинов, шел коренастый человек средних лет в форме железнодорожника.

Казалось, ему не было никакого дела до бредущего впереди дряхлого старика. Однако острый, пристальный взгляд, брошенный железнодорожником на человека в белом пыльнике, заставил меня насторожиться. «Следит», — подумал я.

Подходя к гостинице «Жорж», я увидел множество развевающихся по ветру хоругвей и опять отчетливо услышал церковное пение, то затихающее, когда переставал дуть ветер, то возникающее с новой силой, когда хоругви вздымались еще выше. Перед гостиницей на сравнительно широком тротуаре собралась толпа зевак.

Маленькая курносая регулировщица в кокетливо сдвинутой набекрень пилотке, лихо управлявшая уличным движением, вдруг изменилась в лице. Слегка ошеломленная, она строго подняла полосатую палочку и закрыла выезд машин и фэзтонов с Академической на Марьяцкую площадь.

К площади Бернардинов медленно приближалась похоронная процессия. Открытый гроб возвышался на большом черном катафалке. В нем лежал крупный мужчина в парадном церковном облачении. Белые хризанте-

мы окружали умное, величавое лицо с окладистой белой бородой и руки, скрещенные на широкой груди усопшего.

За черным катафалком с гробом, окаймленным множеством венков, очень медленно шагали каноники, викарии, деканы в пелеринах и без них, церковные чины в фиолетовых камилавках, протопресвитеры в одеждах, соответствующих их сану.

Наверное, важного мертвеца везли хоронить на Лычаковское кладбище. Велико же было мое удивление, когда черная процессия вдруг стала поворачивать налево, окружая петлей памятник Мицкевичу. Похоронная процессия собиралась вновь возвратиться по улице Коперника в нагорную часть Львова. Позже мне стало ясно, что это были не просто помпезные похороны, а тщательно подготовленная политическая демонстрация. Помощники и прислужники седовласого старца хотели показать населению освобожденного города, что для них с его смертью ничего не изменилось. Даже будучи мертвым, их патрон продолжает владеть умами и душами верующих.

Я напряженно следил, как похоронная процессия, подобно большой черной змее, постепенно окружала памятник Мицкевичу.

Среди монахов выделялся один молодой священник. Его цветущий вид никак не вязался с атмосферой смерти и тления. Значительно позже я узнал, какую роль играл при усопшем этот отец Роман Герета, и понял, сколь обманчива может быть внешность на первый взгляд кроткого священнослужителя.

А тогда, видя, как, потупив взгляд, скромный, благопристойный молодой человек лет двадцати восьми, в хорошо сшитой реверенде, явно скучая, движется за гробом в скопище церковников, я даже мысленно пожалел его и подумал: «И как это ты затесался среди такого старья? Сидеть бы тебе сейчас на студенческой скамье, скажем, в Политехническом институте, изучать сопротивление материалов, а в свободное время перебрасывать через сетку волейбольный мяч! Вместо же этого идешь в этой черной хламиде, такой смиренный, с этими катасами, как твои земляки презрительно называют служителей церкви».

Тем временем катафалк остановился, и какой-то се-

добородый иерарх дал знак рукой идущим сзади, чтобы те подтянулись и выровняли ряды.

С не меньшим, чем я, любопытством наблюдали за перекрывшей им дорогу процессией солдаты и офицеры воинской части, следовавшей на фронт, добывать гитлеровцев между Вислой и Саном. Каждая минута в ту осень была для них дорога. Об их решительном маршруте говорили надписи на бортах грузовиков и закамуфлированных приземистых танках: «Добьем гада Гитлера!», «Вперед, на запад!», «Освободим народ братской Польши!» У гостиницы толпились пешеходы, задержанные похоронным шествием. Я оглянулся и увидел заинтересовавшего меня старика в белом пыльнике. Он пристально всматривался в процессию, словно отыскивал в ней знакомых.

Стоящая рядом девушка в дубленом полушубке и пестром платке спросила старика:

— Скажите, пожалуйста, кого это хоронят?

Старик в пыльнике внимательно посмотрел на девушку, будто изучая, можно ли ей доверять, и глухо отрезал:

— Убийцу хоронят!

За спиной старика внезапно возникло лицо человека в железнодорожной фуражке, которого я видел в Академической аллее. Он явно прислушивался к разговору.

— Убийцу? — удивленно переспросила девушка.

Старик в панаме внезапно побледнел, пошатнулся и, схватившись рукой за сердце, стал клониться назад.

— Ему плохо! — вскрикнула девушка.

Я успел подхватить слабеющее тело, осторожно вывел старика из толпы за угол гостиницы и прислонил к стене.

Тотчас возле нас появился железнодорожник.

— Опять сердечный приступ! Я его знаю. То мой сосед. Позвольте, я отведу его домой, — вкрадчиво произнес он. В его голосе было что-то слишком приторное, услужливое. И он снова показался мне подозрительным. Может, не по себе делалось от его холодных, стального цвета, недобрых глаз?

— Его не домой нужно, а в больницу, — сказал я, оглядываясь.

Неподалеку на козлах допотопного фиакра дремал

пожилой возница с усами и бакенбардами, отпущенными, очевидно, в подражание австрийскому императору Францу-Иосифу.

Осторожно подведя ослабевшего старика к извозчику, я сказал:

— Послушайте, пане! Человеку плохо. Давайте отвезем его в ближайшую больницу. Я заплачу вам.

— Прошу пана! — сразу стряхивая сон, отозвался возница и стал отвязывать вожжи.

Приподняв старика, я усадил его на лоснящееся сиденье, пропахшее лошадиным потом. Полуобняв его, уселся рядом. Извозчик дернул вожжи, и фиакр мягко покатился кривыми улочками.

После блокадной зимы в осажденном Ленинграде, когда сердце ослабело, я не расставался с валидолом. Сейчас он пригодился. Я почти насильно засунул таблетку валидола в холодеющие губы старика.

Лекарство подействовало быстро. Старик открыл глаза.

— Не надо, ради бога, в больницу, — прошептал он. — Хватит с меня этой больничной пытки. Везите домой, на Замарстиновскую...

Фиакр пересек улицу Коперника почти перед самым носом у черного катафалка в венках и пышных хризантемах.

— Вот виновник моего горя и несчастий! — сказал уже громче старик, показывая слабеющими пальцами на катафалк. — Но и его наказала карающая десница всевышнего правосудия...

ЗА МОНАСТЫРСКОЙ СТЕНОЙ

Мистикой повеяло от слов моего больного спутника. Не задавая лишних вопросов, я счел своим долгом проводить его домой, до постели. Пусть убедится в гуманизме людей, прибывших с востока. Пусть поймет, что мы отнюдь не «рогатые антихристы», какими долгие годы старалась представить нас буржуазная пропаганда, а затем гитлеровские захватчики. Кроме того, я был заинтригован словами: «Убийцу хоронят!», что обронил старик о важном мертвце, так как мне в числе других членов Чрезвычайной государственной комиссии приходи-

лось с первых дней появления во Львове расследовать гитлеровские преступления.

К моему удивлению, фиакр остановился не у жилого дома, а у монастырского здания, возвышавшегося на бугре и огороженного старинной крепостной стеной. Прикосновением пальца старик остановил возницу перед высокой колокольной странной, четырехугольной формы. С двух сторон ко входу в колокольню и еще выше, на погост, вели выщербленные от времени каменные ступеньки древней лестницы. Под нею, в нише, виднелось изображение коленопреклоненного святого — патрона церкви и здешнего монастыря, святого Онуфрия.

— За этой вот оградой похоронен много лет назад ваш земляк первопечатник Руси Иван Федоров, — сказал старик. — Прошу вас, коль вы были столь сострадательны ко мне, поднимитесь во двор и зайдите направо, в келью двадцать один. Там должен быть приютивший меня отец Касьян. Скажите ему, что я здесь, и попросите сойти. Если же его нет дома — поедем дальше.

Признаться, слово «отец» несколько меня насторожило. Когда же, найдя нужную келью, я застал в ней высокого священника в сутане и целлулоидном белом воротничке, моя настороженность усилилась еще больше.

«Вот те и на! — подумал я. — Решил помочь старому человеку, а попал в гнездо церковников!»

Отец Касьян принял меня очень любезно и, когда я объяснил ему, в чем дело, заторопился, сказал, чтобы я подождал, пока он приведет сюда отца Теодозия.

— Позвольте, но я не расплатился с извозчиком!

— Не беспокойтесь, — сказал священник. — Вы нам оказали неоценимую услугу. — И он вышел, оставив меня одного в келье с низкими сводчатыми потолками.

Отец Касьян говорил по-русски чисто, без всякого акцента, четко выговаривая слова. Это было большой редкостью в здешних краях, особенно среди служителей униатской церкви, к которым, судя по облачению, принадлежал и хозяин кельи.

Разглядывая ее неприхотливое убранство, я заметил на столике последние номера львовской газеты «Вільна Україна», — очевидно, обитатели кельи интересовались текущей политической жизнью.

Отец Касьян под руку ввел в келью пошатывающего-

ся старика и сразу уложил на узкую коечку под окном. Потом принялся расшнуровывать его стоптанные, запыленные башмаки с тупыми старомодными носами.

— Вот спасибо, вот спасибо, отец Касьян, — тихо приговаривал старик. — Молодой человек проявил столько христианского милосердия — доставил меня сюда. Случись иное — больница бы меня убила. После всего, что пережито, я бы не выдержал!

Тем временем отец Касьян достал из шкафика, прибитого к стене кельи, лафитничек малинового стекла с гранеными боками, наполненный какой-то жидкостью.

— Чем хата богата, тем и рада. — Он придвинул мне рюмку и достал из шкафика блюдо с домашним печеньем. — Это наша, монастырская, настоящая на почках черной смородины. Не побрезгуйте! — И налил в рюмку темно-зеленую жидкость, от которой сразу распространился по келье запах весеннего сада.

— Спасибо, я не пью, — отказался было я.

— Да вы не бойтесь! Одна рюмочка не повредит. — Священник улыбнулся, налив свою рюмку, тут же пригубил ее, доказывая тем самым, что мне нечего опасаться его угощения.

Делать было нечего! Чтобы меня не заподозрили в трусости, я тоже отпил половину рюмки пахучей, слегка горьковатой настойки.

Легкий храп, донесшийся с койки, на которой лежал старик, заставил меня заторопиться.

— Теперь вы знаете, где мы живём. Милости просим, заходите в свободное время! — сказал отец Касьян и, поглядев на спящего, добавил: — Когда отцу Теодозию станет лучше, он сам расскажет вам историю своей жизни. Это очень поучительная и очень грустная история!

В Раве-Русской мы и впрямь обнаружили на окраине городка окруженный колючей проволокой лагерь для советских военнопленных, созданный здесь фашистами. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в этом лагере за год было уничтожено больше восемнадцати тысяч советских солдат и командиров.

Пожилый крестьянин Василий Кочак тихим голосом, пугливо озираясь, рассказал:

— Я работал туточки, в цьому лагери, с декабря 1941 года до весны 1942 года. За это время немцы уничтожили и заморили голодом больше пятнадцати тысяч русских вояк. Их трупы отвезли на тракторных прицепах у Волковыцкий лес. Я знаю место, где они зарыты. . .

— Знаешь, старина? — спросил председатель комиссии. — Тогда поехали с нами. . .

Страшное зрелище открылось нашим взглядам, когда солдаты расположенной неподалеку воинской части, сопровождавшие нас на грузовике, разрыли братскую безымянную могилу: люди в советской военной форме были вповалку набросаны один на другого. Их расстреливали по испытанному методу гитлеровцев — в затылок. Сотни и тысячи трупов наших людей. Вот он, фашизм! . .

Потрясенные увиденным, мы молча возвращались в Раву-Русскую, как вдруг слева, поодаль, под лесочком я заметил маленькое, очень опрятное кладбище, огороженное стволами берез. У входа в него, как бы впаиваемый в лесной грунт, серел каменный алтарь с большим крестом.

Я тронул Кочака за плечо:

— Что это?

— Здесь французов похоронили. Тех, что полонили гитлеровцы.

Французы? Вот неожиданность. Я предложил вернуться к маленькому кладбищу.

На ровных могилках лежали каменные одинаковые подушечки с надписями. Я насчитал двадцать две подушечки и две насыпи без них.

— «Боне Рожер, родился в 1911 году. Годи Пьер, родился в 1915 году. Дастю Пьер. Леплей Жозеф, 30 лет. Самье Арман. Блонди Рожер, 29 лет. Посе Поль, 34 года. Гюйон Андре, 30 лет. Рейно Шарль, 29 лет. Витто Эужен, 34 года. Сирг Камиль. Бонуа Альфон. Котье Рожер. . .» — читал я своим спутникам фамилии, а про себя думал: «Какая судьба забросила этих сыновей Франции на украинскую землю? Какую тайну скрывает это чистенькое, уютное кладбище?»

Я предложил разрыть несколько могил, чтобы установить причины смерти французов. Но мои спутники запротестовали. Один из них так прямо и сказал:

— Да вы видели сейчас, как там, в Волковыцком лесу, зарыты наши люди, убитые выстрелами в затылок? Навалом! А эти похоронены культурно, даже алтарь каменный для богослужений есть. . .

И все же после моих настояний солдаты разрыли одну могилу, с большим трудом вытащили на поверхность деревянный, хорошо сохранившийся гроб. Тут я был посрамлен окончательно. Когда с треском раскрылась крышка гроба, мы увидели полуразложившегося мертвеца в полной военной форме французской армии. Мундир был цел, и на ногах сохранились даже шерстяные носки малинового цвета и крепкие солдатские ботинки.

Нет, гитлеровцы не обряжали так в последний путь свои жертвы и не складывали им руки на животе!

Один из судебно-медицинских экспертов осмотрел останки француза и, стягивая резиновые перчатки, сказал:

— Вероятнее всего, инфекционное заболевание. Тиф или, скажем, дизентерия. Но его не убивали. Тем более — одет так парадно! Каков был смысл гестаповцам нарядить его под землю?

Всю дорогу мои спутники нет-нет да и подтрунивали над настойчивостью, с какой я просил их потревожить смертный покой Рожера Блонди. Ведь задержка у французского кладбища отняла у нас добрых два часа. Но меня, человека по природе упрямого и настойчивого, не покидала убежденность в том, что французское кладбище все же скрывает какую-то тайну.

«ОБЕДЫ КАК У МАМЫ»

В ту последнюю военную осень во Львове было еще много буфетов и киосков, где торговали частники. Перед зданием городского Совета, там, где два каменных льва стерегут и поныне вход в бывшую ратушу, существовала крохотная столовая с вывеской: «Обеды как у мамы».

В длинной комнатке, уходящей в глубь старинного дома, стояло пять или шесть столиков. Содержательница столовой, почтенная седая пани Полубинская, готовила за клеенчатой занавеской на газовых плитках еду.

Помогала ей в этом дочь Данута — высокая, стройная брюнетка лет двадцати двух, в пестром платье, изящно облегающем ее фигуру. Всякий раз, посещая столовую «Обеды как у мамы», я любовался врожденной грацией панны Дануты, тем, как легко передвигается она между столиками, то и дело отбрасывая назад густые, вьющиеся волосы.

Поздоровавшись сегодня с пани Данутой, я заказал себе флячки — традиционное львовское блюдо из коровьих желудков, бокал пива и, глядя, как лавирует девушка между столиками, подумал о том, что она удивительно напоминает француженку. И меня осенило.

— Пани Данута, — спросил я, стараясь говорить по-местному, — не знает ли пани, подчас оккупации во Львове были французы?

— Почему «были»? — ответила девушка, отбрасывая назад волосы. — Они и сейчас есть.

— Как сейчас? Где?

— В пансионате у мадам Вассо. Улица Кохановского, 36.

Мадам Ида Вассо-Том, как успела рассказать Данута, — жена погибшего во время оккупации хозяина мельницы Тома. Она проживает во Львове давно, по французскому паспорту. Одно время даже выполняла консульские поручения французского, а в годы оккупации — петэновского правительства. Сейчас мадам Вассо приютила у себя целую группу бывших французских военнопленных, которые иногда заходят «на одно пиво» в заведение «Обеды как у мамы».

Первый раз я оставил недоеденным любимое блюдо и, попрощавшись с Данутой, быстро зашагал на улицу Кохановского.

Поднимаясь по скрипучей деревянной лестнице дома, заросшего диким виноградом, я услышал звуки гортанной французской речи. Они вырывались из полуоткрытой двери, на которой была привинчена позеленевшая от времени медная табличка с надписью: «Ида Вассо-Том».

Я потянул рукоятку звонка.

На пороге появилась седая женщина в старомодном платье, с зорким, прощупывающим взглядом, — такими

обычно рисуют хозяек французских меблированных комнат или магазинов.

На ломаном французском языке я объяснил цель своего визита. Мадам расплылась в улыбке и попросила меня проследовать к ее «питомцам».

Большая, довольно мрачная комната, в которую меня ввели, производила странное впечатление. На стенах — ценные картины голландских, французских, австрийских и польских мастеров, а посредине комнаты — обеденный деревянный стол с посудой и недоеденной пищей в тарелках. Вокруг простые походные кровати. На них лежали, задрав ноги, и сидели, разговаривая, несколько человек: одни — в пятнистых немецких камуфлированных накидках, другие — во французской, уже изрядно потертой и местами залатанной форме, третьи — в одежде польского покроя. Мы быстро перезнакомились, и тут же я пообещал мадам Вассо похлопотать, чтобы ее питомцам были выданы продовольственные карточки в городском распредбюро. Откровенничать при мадам Вассо не хотелось, и я пригласил двух французов выйти на улицу и погулять со мною. Данута ведь упомянула о связях хозяйки пансионата с профашистским правительством Петэна!

Мы пошли втроем улицами осеннего Львова: художавый лейтенант иностранного легиона Эмиль Леже, в короткой спортивной куртке, лыжной шапочке и в сапогах «англиках» с высокими задниками, лысоватый Жорж Ле Фуль и я. Осторожными, навещающими вопросами я пробовал узнать, как они сюда попали, прикоснуться к тайне их военной судьбы.

Впрочем, надобности в такой осторожности вовсе не было. Когда я спросил Жоржа Ле Фуля, не знаком ли ему лагерь в Раве-Русской, он оживился и, жестикулируя, выпалил:

— Ну как же! Как же! Дьявольский лагерь! Нас доставили туда ночью из Франции после тяжелых пяти суток пути в закрытых свинных вагонах. Из вагонов нас вытягивали, так мы ослабли. Немецкий унтер-офицер крикнул нам: «Вот вы и приехали в страну солнца!» Боже, какой ужас этот лагерь! Позже немец-адъютант, уроженец Страсбурга, хорошо говоривший по-французски, признался нам, что в лагере уже умерло от одного

только тифа более трех тысяч русских. «Мы зарываем их тут же, на территории лагеря. Случается, что среди них бывают и живые. Все равно их бросают в ямы и засыпают негашеной известью, от которой они задыхаются», — рассказывал немец. Ежедневно в лагерь привозили по тысяче французов, которые не хотели работать в Германии. . .

— В лагере был только один водопроводный кран на двенадцать тысяч человек, — вмешался в разговор Эмиль Леже. — Пользоваться им разрешали только четыре часа в день. Немецкая охрана избивала нас. Мы голодали. По утрам, во время переклички, мы едва стояли на ногах. В день нам давали двести граммов хлеба, по утрам — горячую воду с сосновыми иглами и пол-литра бурды, которую никак нельзя было назвать супом. Спали мы на полу. Блохи, вши. . .

— Ну, хорошо, — прервал я Эмиля Леже, решив действовать в открытую. — Как же совместить то, что вы рассказываете, с хорошо оборудованным кладбищем для французов под лесом? Неужели немцы лучше заботились о мертвых, чем о живых?

— Кладбище под лесом?! — оживленно воскликнул Жорж Ле Фуль и захохотал, хотя момент для этого был явно неподходящий. — Так ведь это геббельсовская липа чистой воды. . .

— Да погоди, Жорж, — резко остановил товарища Леже. — Нашел над чем смеяться! Давай объясним толком русскому писателю, как было дело. Понимаете ли, в печать нейтральных стран и в британское радио стали просачиваться вести о нашей жизни в этой «стране солнца». Комиссия Международного Красного Креста в Гааге решила проверить на месте, верны ли рассказы об этих ужасах. Вот тогда-то гитлеровский министр пропаганды Геббельс¹ дал команду спешно соорудить в Равен-Русской образцово-показательное кладбище. Пока его готовили, пока каменотесы сооружали алтарь из гранита, наших покойников обряжали для этого фарса. Самолетами из Франции привезли для них специальную новую форму из интендантских запасов на тот случай, если

¹ Одним из помощников Геббельса в подобных делах был недавний канцлер Федеративной Республики Германии Кизингер. — В. Б.

комиссия потребует сделать эксгумацию. И надо вам сказать, что элегантно кладбище отвело глаза комиссии от тех ужасов, которые мы, живые, ежедневно переживали в лагере. И если даже вас, советского человека, вид кладбища ввел в заблуждение...

Уловив упрек в словах Эмиля Леже, я спросил:

— Но как же все-таки вам удалось вырваться из этого ада?

— О, это уже совсем другая история. Нас впоследствии перевели сюда, в Цитадель. Вы знаете, что такое Цитадель?

Да, я уже знал Цитадель, страшный лагерь смерти, сооруженный в самом центре Львова, рядом с Главным почтамтом, на горе Вроновских, в бастионах, построенных в середине прошлого века по приказу австрийского императора. На всю жизнь останутся в моей памяти надписи, обнаруженные нами на закоптелых стенах бастионных подвалов: «Тут умирали от голода русские военнопленные тысячами», «Доблестная русская армия, вас ожидает с нетерпением не только народ, но и военнопленные, обреченные на смерть. Как тяжело умирать!». . .

— Я хорошо знаю, что такое Цитадель, — ответил я Эмилю Леже. — Но ведь оттуда вырваться было еще труднее!

— Нам никогда бы не удалось сделать это, если бы не помощь извне. Мы убежали оттуда ночью двадцатого марта. Триста человек убежало!

— Триста человек! — воскликнул я. — Ведь это большой побег! Какая же организация помогла вам?

— Мы думали тогда, что нам помог всего один человек, — сказал Леже, и его серые глаза заблестели. — Девушка. Милая девушка. Монахиня. Даже если нет на свете бога, каждый из нас будет молиться за нее всю жизнь, как за святую...

— Монахиня? Какая монахиня? — удивился я. — А где она сейчас? Расскажите-ка мне о ней подробно!

Сверх ожидания, Леже сразу нахмурился и, переглянувшись со своим соотечественником, замолчал.

Я выжидающе смотрел на него.

После некоторого колебания Леже оглянулся и, переходя на полупшепот, сказал:

— Камрад писатель, поймите меня правильно. Я не

трус. Я прошел трудную службу в иностранном легионе в Северной Африке, видел, как ночью снимали с постов моих друзей. Я пережил гитлеровский плен. Сейчас я хочу спокойно ехать с моей Зорой и ребенком до Одессы, сесть на пароход и добраться до Марселя, чтобы снова увидеть мою родину. Гитлеровцев отсюда вы выгнали, но их пособники гитлерчуки остались. Да, да! Осталась такая же «пятая колонна», что предала республиканскую Испанию. У них везде уши. И если они узнают, что я рассказал вам правду о нашей спасительнице, меня ждет пуля или нож даже в убежище мадам Вассо, которой, по правде сказать, я не очень доверяю. Увольте меня от этого рассказа. Пусть вам расскажет об этой истории кто-либо другой, переживший меньше, чем я... Пардон, товарищ камрад...

Настаивать я не имел права: как-никак Эмиль Леже был иностранцем. И тотчас же, по непонятной мне ассоциации, вспомнил встречу с двумя священниками за стенами древнего Онуфриевского монастыря, где некогда печатал свои первые работы «друкарь книг пред тем невиданных», русский умелец Иван Федоров...

Монахиня? А не ведает ли об этом отец Касьян? Или отец Теодозий?

... Утром следующего дня по дороге в Онуфриевский монастырь я неожиданно встретил молодого судебно-медицинского эксперта Николая Герасимова, который ездил с нами в Раву-Русскую.

Он взял меня под руку и, шагая рядом, тихо сказал:

— Оказывается, вы, голубчик, были правы, когда настаивали повнимательней изучить происхождение французского кладбища. Я только что из прокуратуры. Туда звонили из Равы-Русской. Нашей вчерашней работой очень заинтересовались враги. Ночью все могильные каменные плиты сняли бандеровцы из куреня «Вороного» и на подводах увезли их в сторону Гребенной, к польской границе. Когда об этом узнал командир Рава-Русского пограничного отряда полковник Сурженко, то послал в погоню за бандой тревожную группу. Удалось захватить нескольких бандитов. Другие удрали в Польшу, или, как они называют ее, в «Закерзонский край». Один из задержанных рассказал, что в банде были два офицера немецкой разведки, которых сбросили на парашютах с гитле-

ровских самолетов. Очевидно, по их указанию были сняты каменные плиты с могил. Тут какая-то тайна...

— Я уже почти знаю эту тайну, — сказал я эксперту. — И напрасно вы подтрунивали надо мной, когда я записал все, что было высечено на плитах. Можно разбить или утопить надгробия в каком-нибудь лесном озере, но нельзя усыпить человеческую память. Мы занесем эти надписи в акт Чрезвычайной комиссии.

ПОЛУЧАЮ ТЕТРАДЬ

Когда я вошел в знакомую монастырскую келью, отец Теодозий сидел в удобном старомодном кресле и, как это ни странно, читал «Правду».

Я поздоровался со стариком, осведомился о его здоровье и, получив приглашение садиться, с места в карьер спросил, не слышал ли он о монахине, которая помогла бежать из Цитадели большой группе военнопленных.

Старик сразу изменился в лице. Газета с легким шорохом выпала у него из рук и, опустившись на пол, накрыла стоптанные ночные туфли священника.

Помолчав, он тяжело вздохнул:

— Эта монахиня была моей дочерью... — И зарыдал тяжело, глухо.

А я сидел перед ним, совершенно ошеломленный.

Отец Теодозий встал, подошел к шкафчику и, открыв его, достал с полки тетрадь в коричневом гранитолевом переплете. Он протянул ее мне со словами:

— Извините, рассказывать об этом сам не могу. Трудно. Это еще так близко! Я доверил все, что знаю, бумаге. Возьмите и прочтите на досуге. Вы ведь человек с востока и куда лучше многих местных поймете меня.

...Страницы тетради заштатного священника отца Теодозия Ставничего познакомили меня с трагедией тех оккупационных времен, когда героизм и человеческое благородство соседствовали с торжествующей подлостью и предательством. Однако отцу Теодозию было известно далеко не все имеющее отношение к западне, в которую заманили его дочь. Много новых деталей я узнал, уже работая в архивах, беседуя с бывшими узниками львовской Цитадели и работниками органов безопасности.

Еще одно странное стечение обстоятельств помогло мне разгадать тайну гибели дочери отца Теодозия.

Война уже окончилась, но на территории западных областей Украины еще существовало несколько лагерей для немецких военнопленных. Бывшие солдаты и офицеры гитлеровской армии, а быть может, и замаскированные эсэсовцы теперь стали смирными, покорными. Они разбирали руины и строили новые дома, возводили мосты и выравнивали аэродромы, поврежденные бомбежками, прокладывали дороги, — короче говоря, своими руками исправляли и восстанавливали то, что сами же разрушили.

ДОПРОС ПИТЕРА КРАЗУ

Как-то мне позвонил начальник одного из таких лагерей и попросил — не смог бы я прочесть для оперативного состава лагеря лекцию на тему «Гитлеровцы в Западной Украине».

Я, конечно, охотно рассказал офицерам-чекистам о немецких злодеяниях.

Несколько дней спустя начальник лагеря снова позвонил мне:

— Любезность за любезность. Вы нам прочли лекцию, а мы можем предоставить вам возможность побеседовать с гестаповцем, выявленным чекистами среди рядовых солдат вермахта. Очень крупная птица! В 1937 году его принимал сам Адольф Гитлер. Этого типа помогли нам обнаружить немецкие антифашисты. Вчера его судили. Он получил двадцать пять лет, и, пока мы его не отправили после приговора в места не столь отдаленные, вы можете поговорить с ним. Есть у вас время и желание?

Еще бы! Не каждому литератору, даже в дни войны, выпадала такая удача!

На попутных машинах и трамвае примчался я в здание тогдашней Замарстиновской тюрьмы (теперь в ней располагается обычная городская больница, а тюрьма давно прекратила свое существование) и вместе с переводчиком вошел в следственную комнату. Там я и провел все воскресенье.

... По моим представлениям, бывший начальник гестапо Гамбурга, крупнейшей гавани Германии, города с

миллионным населением, а затем начальник гестапо Львова должен был бы выглядеть весьма внушительно.

Когда же два конвоира ввели невзрачного, средних лет человечка в потертом солдатском мундире, в стоптанных сапогах немецкого покроя; лысоватого, с лицом, ничем не запоминающимся, я, по правде сказать, решил, что произошла досадная ошибка. Этот щелкает каблуками, благодарит меня, когда приглашаю его садиться. Но когда он охотно рекомендует: «Питер Христиан Крауз», — я понимаю, что ошибки нет. Да, передо мной тот самый Питер Христиан Крауз, который пытался настичь советского разведчика Николая Кузнецова и потерпел поражение в схватке с ним.

Мое преимущество перед Краузом заключалось в том, что он не знал, кто я такой, я же отлично был осведомлен, с какой обезвреженной змеей имею дело. По-видимому, Крауз принял меня за работника прокуратуры, призванного пересмотреть его дело и, может быть, сбавить срок заключения.

Рассчитывая снискать мое расположение, он был весьма откровенен, сыпал именами подчиненных ему гестаповцев; сообщая их бывшие адреса во Львове, рассказывал, откуда они родом, каковы их приметы и привычки, какую агентуру они оставили в городе.

— Сколько лет Эриху Энгелю и как он выглядел? — спросил я.

— Гауптштурмфюрер Эрих Энгель, — по-военному отрапортовал Крауз, — руководил рефератом «А» в моем четвертом отделе, то есть, собственно, в гестапо, и был первым моим заместителем. Он занимался коммунистами, социал-демократами, партизанами и вел борьбу с актами саботажа. Сейчас ему лет тридцать семь — тридцать восемь. Рост — метр шестьдесят восемь сантиметров. Плотен, мускулист. Волосы зачесывает назад, блондин, глаза карие, с зеленоватым оттенком, полное, круглое лицо. Особенных примет нет.

— Как и у вас?

— Яволь! Как и у меня. — И, ослабившись, добавил: — При такой внешности легче работать. Меньше бросаемся в глаза.

— Где сейчас Энгель?

— В июле 1944 года, перед вступлением советских

войск во Львов, уехал в город Кассель. Его сменил штурмбанфюрер СС и уголовный советник Дергах. Из Вены...

Я решил действовать в открытую.

— Скажите, Крауз, — прервал я, — дело Иванны Ставничей вел Энгель?

— И Энгель и Альфред Дитц, — услужливо ответил Крауз. — О, это было крупное дело — Ставничей! Я не мог им непосредственно заниматься, потому что мне была поручена разработка деятельности подпольной «Народной гвардии Ивана Франко». Дело Ставничей исполнило наш провал в истории с гауптманом Паулем Зибертом — вашим разведчиком, которого мы упустили из Львова. Мы не смогли захватить его живым. Он погиб от руки украинских националистов на пути в Броды.

— Вы сами хорошо знаете подробности дела Ставничей?

— Яволь! — Крауз привстал и щелкнул каблуками.

Такое признание было для меня неожиданностью. Думалось, Крауз будет записывать, сваливать все на своих коллег, говорить, что ему неизвестна подлинная фамилия девушки, носившей сутану. А он проявлял полную готовность пролить свет на трагическую судьбу дочери отца Теодозия Ставничего!

ГЕРЕТЕ НУЖНА ЖЕНА

Вернемся в прошлое.

Еще в то время, когда Питер Христиан Крауз вылавливал коммунистов в Гамбурге и тайно готовил шпионов для засылки их в Польшу, отец Теодозий сидел на приходстве в селе Тулиголовы, у реки Сан. Его приходство было расположено рядом с причудливой деревянной церквушкой, окруженной смереками — пихтами.

Была у вдовца Ставничего единственная и любимая дочь Иванна. Смуглая, с умными глубокими глазами и нравом открытым, простым и честным, она походила на цыганку. Иванна с отличием окончила гимназию в Перемышле, несколько лет безуспешно пыталась пробиться в Львовский университет имени короля Яна Казимира. Ей вежливо отвечали, что все места уже заполнены. Но Иванна прекрасно понимала, в чем подлинная причина

отказа. Правительство довоенной Польши вовсе не было заинтересовано давать высшее образование украинцам, которых магнаты презрительно называли «хлопами». Украинцы побогаче уезжали учиться — кто в Чехословакию, кто в Австрию, а иные даже во Францию.

Приход же отца Теодозия был бедным, село небольшое, полунищее, недаром и звалось оно «Тулиголовы». Послать дочку за границу у Ставничего возможности не было. Оставалась у Иванны одна доля — замужество.

Все в округе были уверены, что такая красивая и смышленная девушка, как Иванна, не засидится долго в невестах. И действительно, Роман Герета, семинарист из Львова, уроженец соседнего села Нижние Перетоки, сын тамошнего униатского священника, стал частым гостем приходства отца Теодозия.

Высокий, стройный, настоящий подкарпатский легинь, как звали здесь красивых парубков, Роман Герета большую часть своих каникул проводил в Тулиголовах. Несмотря на то что и его отец был священником и села стояли почти вплоты друг к другу, богослов Роман охотнее помогал править службу отцу Теодозию, часто дирижировал церковным хором, выполнял обязанности регента маленькой сельской церквушки. Когда Ставничему нездоровилось, Герета читал за него вслух Евангелие, продавал и тушил свечи, помогал вести церковные книги, регистрируя рождения, свадьбы и похороны прихожан.

Было очевидно: Роман всеми силами старается завоевать симпатии доверчивого старого священника и таким путем добиться расположения его дочери. Герета рассказывал отцу Теодозию, как благосклонно относится к нему глава всей униатской церкви Западной Украины, «князь церкви» и граф Андрей Шептицкий. Он намекал, что митрополит даст ему после окончания семинарии богатый приход где-нибудь под Львовом, а не в такой дыре, как нищие Тулиголовы.

Когда же Роман Герета оставался наедине с Иванной, он, заглядывая в ее темные глубокие глаза, напевал под гитару:

Очі ви мої одинокі,
Ви чарівні глибокі
І найкращі з усіх...

А однажды прислал из Львова стихи, написанные на отличной веленовой бумаге ровным почерком прилежного семинариста:

У місці далекім, понурім
Часами стражда душа.
Одна лишь подруга — смерека —
Самітня і горда, як я!..

Иванну взволновало трогательное стихотворение об одиноком дереве-смереке, с которым Роман сравнивал себя. Тот, кого она про себя, тайно, называла «мій Ромцю», оказывается, еще был и поэтом! Откуда могла знать доверчивая девушка, что «Ромцю» совсем не так просто-душен, как ей казалось? И меньше всего она могла предполагать, что еще на втором курсе семинарии Герета был принят в тайную организацию украинских националистов — ОУН, руководимую из гитлеровского Берлина, что вперемежку с чтением Евангелия и других священных книг Роман по ночам штудировал евангелие Адольфа Гитлера — «Майн кампф». Свято веря проповедям митрополита Шептицкого, что «никакого фашизма в природе нет», «поэт» учился у него лютой ненависти к коммунизму.

Роман заканчивал духовную семинарию. Ему давалось несколько месяцев на подыскание достойной священника невесты, а затем предстояло рукоположение. Если по законам униатской церкви, подчиненной Ватикану, он за это короткое время не подыщет суженую, на всю жизнь останется ему одиноким, неженатым попом — целебсом. Правда, поповен, желающих выйти замуж, в деканате было немало, но Роману приглянулась именно Иванна.

Иванна не выдержала натиска и к концу летних каникул дала согласие стать женой Гереты. Но тут случилось непредвиденное: первого сентября 1939 года гитлеровские танки и самолеты рванулись на Польшу.

Перемахнув через Сан, они уже дошли до окраин Львова, когда с востока, ломая старые кордоны, на помощь западным украинцам и белорусам двинулась Красная Армия и ее танки. Немцы вынуждены были попятиться за Буг и Сан. Большую часть древнего Перемышля заняли советские войска, и Иванна с подругами ездил из Тулиголов встречать освободителей.

Там-то, в Перемышле, на митинге услышала она, что во Львове открывается новый украинский университет, куда широко открыт доступ молодежи. Услышала Иванна эту весть и тут же, на почтамте, написала заявление во Львов. Она писала, как отказывали ей раньше, сообщала, что, думая подать заявление и на следующий год, оставила в делах университета имени Яна Казимира свои документы: метрику и удостоверение об окончании гимназии с золотой медалью, — просила на этот раз, коль скоро «университет открыт для народа», отнестись к ее просьбе внимательно. Впервые наклеила Иванна на конверт две советские марки, впервые получила она квитанцию на украинском языке.

ПИСЬМО ИЗ ЛЬВОВА

О своих планах Иванна не сказала дома ни отцу, ни встревоженному приходом советских войск Роману Герете. Даже своей близкой подружке Юле Цимбалистой не сказала. Вдруг откажут? Нового отказа ей уже не вытерпеть. Да и Герета при случае сможет попрекнуть. Скажет: «Куды, дивча, полизло!»

Велика же была ее радость! Спустя две недели, когда она перебегала по узкой кладочке быстрюю горную речку, перед ней возник, хитро щуря глаза, сельский письмоносец Хома.

— Танцуйте, пани Иванна! — письмоносец прятал за спиной жилистую руку.

— С какой стати?

— Говорю — танцуйте! — продолжал Хома, размахивая письмом. — Танцуйте же!

Иванна, ловко подпрыгнув, вырвала из рук почтальона конверт с типографским штампом: «Львівський Державний університет імені Івана Франка». Осторожно разорвала конверт и прочла письмо. Потом неожиданно поцеловала в жесткие, прокуренные усы старого Хому и помчалась в приходство.

На погосте возле церкви, как и всегда по вечерам, собралась празднично одетая молодежь. Хлопцы разгуливали в гуцульских кептариках — разлетайках, отороченных мехом, девчата толпились группками в пестрых, расшитых разноцветными нитками, тяжелых плахах.

Отец Теодозий, закончив вечерню, спускался по деревянным ступенькам. Иванна подбежала к нему и, обняв, воскликнула:

— Поздравь меня, таточку! У меня такая радость!

— Что случилось, доню?

— В университет меня приняли, тату! Боже, как я рада! Как мечтала об этом, как молилась долгими ночами, сколько слез пролила! И вот теперь бог услышал мои молитвы.

Однако, не в пример дочери, старый священник не склонен был разделять ее радость. Разглядывая уведомление, он протянул:

— Покинуть меня собираешься? А как же свадьба?

— Какая может быть свадьба, когда я теперь студентка? Ты же сам так хотел этого! Что лучше — киснуть всю жизнь в приходстве в глухом селе, стирать мужу и детям белье и сутаны или стать ученой? Разве бы ты надел эту реверенду, если бы тебе в молодости удалось получить светское образование?

— Не будем вспоминать об этом, — оборвал дочь Ставничий. — Оставить меня одного!

— Какие глупости! Скоро пойдут пригородные поезда. Три часа — и я здесь. Подумаешь! Все воскресенье здесь. И татусю сможет приехать ко мне во Львов. Ты же сам хотел, чтобы я училась в университете!

— Но теперь другие времена! — осторожно сказал отец Теодозий, подумав про себя: «Кто знает, какие порядки в этом безбожном университете?»

— Хорошие времена настали, татусю, як мне так быстро ответили! — весело и убежденно сказала Иванна, ища глазами, с кем бы еще поделиться этой новостью. — Мы еще поговорим об этом!

И бросилась к подруге, невысокой блондинке в вышитой украинской блузке.

— Юльця! — запыхавшись, проговорила она. — Ну, бачишь, Юльця? Есть правда на земле! — И протянула письмо.

Юлька читала уведомление, а из-за ее спины вглядывался в текст высокий хлопец в зеленой тирольской шляпе с щеголеватым фазаньим перышком.

— Видишь, видишь? Я же говорила тебе — все изме-

нится. А ты все ныла: «Не доведется мне больше учиться. Буду обычной попадшей...» — сказала Юля.

— Ты была права, Юльця, дорогая моя курносая подруга, — целуя девушку, говорила Иванна. — Все меняется на глазах.

— Разрешите и мне поздравить вас, Иванна, — сказал парень в зеленой шляпе. — Меня зовут Щирба. Грицько Щирба. Я живу в Нижних Перетоках и вас знаю с виду. Это вы верно сказали — все меняется на глазах. Моего батька за коммуны в дрогобычской тюрьме гноили, а сейчас вот меня, селянского сына, во Львовскую политехнику приняли. Буду учиться в Дублянах, на агрономическом факультете...

ВСЕ РУШИТСЯ

Внезапное письмо из Львова разрушило все надежды Романа Гереты на такое, казалось бы, уже близкое обручение с Иванной.

— Извините, Ромцю, — сказала она ему просто, — беру свое слово обратно. Не могу я выйти за вас замуж и не хочу ставить вас в смешное положение. Попадьянка — студентка советского университета! Да засмеют меня все товарки. И не огорчайтесь. Пробачьте меня! Не на мне одной свет клином сошелся. Мае́тэ час подыскать себе до рукоположения добрую невесту. Вы будете с ней счастливы, а я пойду своей дорогой, той, о которой мечтала.

Все это было жестоко и никак не устраивало Герету. Он уже сообщил друзьям по семинарии о своей избраннице. Как же он будет выглядеть теперь в глазах митрополита и председателя консистории, ее генеральных викариев, когда расскажет, что Иванна Ставничая, как говорят в народе, «поднесла ему гарбуза» — отказалась выйти замуж!

«Какой, — скажут они на одном из ближайших тайных заседаний, — из этого Гереты будет священник, как он может держать в руках свою паству, если какая-то девчонка пошла наперекор его воле и он не сумел ее убедить от тлетворного влияния безбожной власти?»

«Нет! Нет! Нет! — сказал он мысленно себе. — Не бывать тому! Иванна во что бы то ни стало должна стать моей женой».

И решил действовать тайными, ему одному известными способами, чтобы прямым напором не вызвать у Ивановы протеста, а быть может, и ненависти.

— Ну что же, на то воля божия, — он смиренно наклонил голову с волнистыми, цвета вороньего крыла волосами. — Насильно мил не будешь. Раз пани Иванна решила променять супружеский союз со мной на учение в большевистском университете, я схожу с вашего пути. А другие невесты меня не интересуют. Я сохраню любовь к вам, пани Иванна, в своем сердце и посвящу себя только служению богу, навсегда останусь безженным.

— Не надо этого делать, Ромцю, — чуть не плача, сказала Иванна. — Поезжайте в Перемышль, сколько там в епархиальном училище красивых и умных попаданок, из них будут хорошие хозяйки и верные жены. Ну, наконец, вы можете подыскать себе невесту из светской среды. Хотя бы в том же самом Львове.

— Не уговаривайте меня, милая Иванна. Лишь в служении богу, запрятав глубоко в душу любовь к единственной на земле девушке, могущей быть моей избранницей, я смогу найти себе утешение и отраду. И пусть вас отныне не волнует моя судьба.

Так говорил Роман Герета, а в его голове лихорадочно созрел точный, рассчитанный до мельчайших подробностей план, которому мог позавидовать самый искушенный изезуит.

ДЕЙСТВОВАТЬ

Спустя неделю переодетый в штатское Герета сидел за столиком львовского ресторана «Атлас» на площади Рынок и медленно пил из высокого бокала прозрачное и пенистое пиво.

Герета не зря выбрал именно это место и дневной час для тайной встречи с тем, кто мог изменить его судьбу и спасти будущее благополучие. На плечи Гереты был небрежно накинут светло-синий пиджак из английского твида. Светло-серые брюки, сшитые у модного портного, были не так широки, как у многих приезжих с востока, а его спортивную грудь обтягивала белая шелковая рубашка «апашка». И никто не смог бы узнать в этом франте, мирно посасывающем пиво, богослова, решившего посвятить себя служению всевышнему.

Тот, кого он ждал, его старый школьный товарищ еще по частной украинской гимназии Кукурудзов, Дмитро Каблак, коренастый, широкоплечий парень лет двадцати пяти, вошел шумно, размашистыми шагами обогнул пустые столы и, протягивая Герете волосатую, загорелую, сильную руку, сказал:

— Сервус, Ромцю!

— Сервус, — ответил Герета и придвинул Каблаку полированную табуретку.

— Случилось что-нибудь, Ромцю? — спросил Каблак.

Спиной к друзьям у пианино сидел музыкант, француз Эмиль Леже. Он тихонько наигрывал знакомые мелодии львовских песенок: «Есть у меня гитара, купленная во Львове», «Володя», «Я условился с ней ровно в десять». В этой «связке», или, как говорили поляки, «вёнзанке», музыкальных мелодий одна сменяла другую.

Тихо, поглядывая, не подслушивает ли музыкант, Герета рассказал, как Иванна «поднесла ему гарбуза».

— Ну, хорошо, а я-то здесь при чем? — не понимая, в чем дело, спросил Каблак и знаком показал появившемуся в дверях официанту, чтобы тот принес и ему пива. — Я тебе давно говорил — ищи себе невесту не в Тулиголовах, а здесь, во Львове. Нужно было тебе связываться с этой тулиголовской квочкой!

— Она хорошая девушка, но очень упрямая, — возразил Герета. — И только ты один можешь мне помочь. Мы с тобой старые побратимы, не один год в организации, — тут голос Гереты перешел на трудно уловимый шепот. — Ты, как секретарь приемной комиссии университета, должен отказать Иванне в приеме.

— Ведь она уже зачислена! На что же я сошлюсь?

— А это уж твоя справа! Сошлись на распоряжение ректора, на социальное происхождение... Да, да! — оживился Герета, радуясь быстро найденному решению. — Это ход! Ты ей отказываешь как дочери священника, ссылаешься на то, что ее отец нетрудовой элемент.

Увлечшись, они не заметили, как неслышными шагами, вертя в руках маленькое круглое банджо, к столу подошел Эмиль Леже и сказал, безбожно ломая русские и украинские слова:

— Панове гачу слушать шансон франсез?

Герета вздрогнул и, желая скрыть это, спросил как можно спокойнее:

— Пан есть француз?

— Так, — Леже кивнул.

— Какими судьбами во Львове? — спросил Каблак тоном следователя.

— Я биль офисье связь от Франс в армэ чехословак... Пюи, потом демобилизе, женился. Ма фам, жена, чешка, компрене ву? ¹ Когда Гитлер захватил Судет, а потом тут, Чехословаки, ма фам, жена, компрене ву, через Карпат сюда, Львов...

— Теперь надо обратно до дому... З поворотом, — засмеялся иронически Герета.

— Нельзя Франс. Там Даладье, Петэн. А Мюнх они продаль Чехословаки бошам. Ма фам не простит им. Я ошень люблю советски люди. Ма фам работай садовница на Высоки замок, а я здесь спевам...

И, словно в подтверждение, бывший французский офицер запел веселую песенку о далеком и родном Марселе

— Прошу пана! Едно пивко для музыканта! — крикнул появившемуся в дверях официанту Каблак.

Когда тот принес большую кружку пива, покрытую густой пеной, Леже, прерывая игру на банджо, учтиво сказал: «Мерси! Гран мерси!» — и понес кружку на пианино, роняя пену на истертый пол. Он пил пиво маленькими глотками и все продолжал тихо напевать. Под мелодию французской песенки Герета прошептал:

— Думаешь, подслушивал?

— Холера его знает! У этих коммунистов всюду агенты. Только нам еще французского большевика не доставало. «Я ошень люблю советски люди», — зло передразнил Каблак. — Погоди, погоди! Недолго остается тебе их любить... Послушай, Ромцю, есть указание руководства всюду и везде насаждать наших людей. Мы должны быть хитрыми, как лисы, гибкими, как змеи, и проникать всюду, чтобы в час великого взрыва суметь захватить ключевые позиции. И в университете тоже.

— Да, это верно, — согласился богослов. — Я знаю эту инструкцию. Но в ней идет речь о наших подпольщи-

¹ Понимаете? (франц.)

ках. А Иванна, как ты изволил выразиться, «квочка», и я никогда не дам ей вмешиваться в политику. Мне нужна жена. Понимаешь? Любящая жена. И все. Точка! Но есть и другая инструкция: всеми силами и способами вызывать недовольство местного населения советской властью. Если ты откажешь Иванне в праве учиться в университете, то она озлобится против большевиков. А это будет только на руку подполью. Мы приобретем еще одного сочувствующего для тех времен, когда провозгласим здесь самостоятельную Украину и когда падет Москва...

Бедная Иванна! Если бы только она знала, что националист, давний фашистский агент Дмитро Каблак проник в приемную комиссию! Иванна и впрямь была «квочкой», наивной, доверчивой. И не подозревала она, что ее близкие могут ткать вокруг ее зыбкой судьбы паутину незуитских провокаций, как не знала и того, что, прощаясь с Геретой в ресторане «Атлас», Каблак сказал:

— Хорошо, згода! Но прежде всего я посоветуюсь с митратом Кадочным. По заданию митрополита Шептицкого он курирует наши дела в университете.

— Только, ради бога, не выдавай меня и не говори, что Иванна отказала мне в своей руке, — поспешно заметил Герета. — Скажи просто, что в ее лице стоит приобрести еще одного недовольного советской властью. А ее очень любят подружки и в Тулиголовах и в Перемышле. К мнению ее прислушиваются, и она сможет отвратить их от влияния комсомола. Скажи митрату Кадочному, что Ставничая может стать хорошей активисткой в обществе Святой Богородицы девы Марии. Ведь церковь заинтересована в этом!

Не знала Иванна ни этих, ни других слов, которыми обменялись на прощанье Дмитро Каблак и ее суженый Роман Герета.

КАБЛАК ДЕЙСТВУЕТ

Радостная, ликующая приехала Иванна во Львов. Надо было пораньше узнать, где находится студенческое общежитие и когда начнутся занятия.

В нарядном ярком платье, загорелая, длинноногая, шла она с чемоданчиком в руках по Академической ал-

лее, и не один прохожий оглядывался на красивую девушку с густыми длинными волосами, сбегавшими на плечи.

Бывала Иванна во Львове и раньше, но никогда еще город не казался ей столь оживленным.

Мелькали последние лицеисты в разноцветных шапочках-корпорантках. Спешили на работу усатые, все в черном, трубочисты, похожие на чертей, покинувших преисподнюю: в руках у них были длинные пики и кольца веревочных шнуров с гирьками, а на головах «профессорские» шапочки.

Среди потока прохожих Иванна могла без труда различить новых и подлинных хозяев освобожденного города: молодых гуцулов в нарядных кептарях, веселых украинских девчат в национальной одежде, перед которыми советская власть распахнула двери институтов и школ старинного города.

С рюкзаками за плечами, в брюках и тяжелых лыжных ботинках шагали девушки с распущенными волосами. Это были беженки из центральных районов Польши, занятых гитлеровцами.

Увядающие пани то там, то здесь прогуливали по тротуару японских болонок, откормленных такс и тупомордых, лоснящихся от жира бульдогов. Навстречу Иванне попадались пожилые пенсионеры-эмериты в старомодных канотье и котелках, с тростями, украшенными монограммами. Она видела сидящих кое-где у ворот стариков, рассуждающих с опаской, что принесет им новая власть; усы и бакенбарды у них были точь-в-точь как у императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа. А вот престарелый раввин вывел на прогулку воспитанников хедера, или талмуд-торы; на тонкие, рахитичные ноги подростков, перешагнувших сразу из детства в старость, были натянуты белые, до колен, чулки, а вдоль их бледных щек, прямо-таки просвечивающих от истощения, спустились курчавые черные пейсы.

Из улицы Килинского доносилась уже полюбившаяся и во Львове «Катюша». Ее пели красноармейцы. В полной выкладке, со скатками и котелками, они маршировали на Главный вокзал. Молоденький лейтенант, то и дело ревниво поглядывая, как держат равнение его подчиненные, подавал команду: «Раз, два, три!левой!..»

Взгляды пешеходов невольно обращались к колонне, пересекавшей Первомайскую улицу. Одни смотрели на советских воинов с восхищением, другие — со сдержанным любопытством, третьи, в модных сапогах «англиках», те, что долгими годами распространяли здесь сказки о «большевистских фанерных танках», о «колоссе на глиняных ногах», — с плохо скрываемой ненавистью.

Паренек в домотканой куртке, с узлом, висющим за плечами, обратился к пожилому человеку в старомодной крылатке:

— Простите, пане... Как пройти к университету имени Ивана Франко?

— К университету имени Ивана Франко? — ядовито переспросил старик. — Шестьдесят пять лет живу во Львове, но такого университета не знаю. Если же пану надо посетить университет Яна Казимира, тогда прошу повернуть налево и затем у Народной гостиницы направо. А потом просто по улице Третьего мая налево.

Иванне стало жаль селянчука, видимо впервые попавшего в такой большой город, и, тронув его за локоть, она сказала:

— Пидемо разом, товарищу! Я покажу вам, где университет Ивана Франко...

Они подошли к portalу университетского здания, украшенного аллегорическими изображениями Вислы, Днестра и Галиции. Когда-то здесь заседал галицийский сейм, затем, после того как в восемнадцатом Австро-Венгрия распалась, польские власти отвели это огромное здание под университет.

Иванна собиралась подняться в ректорат, но увидела в вестибюле толпу хлопцев и девушек; с возбужденным вниманием, приподнимаясь на цыпочки, они читали списки принятых.

Долго всматривалась она в списки, водя пальцем сверху вниз, от фамилии к фамилии, но не нашла там своей. Слезы подкатили к горлу. Ей почудилось, что студенты и даже засевшие в нишах вестибюля каменные князья Владимир Великий, Ярослав Мудрый, Мечислав и Казимир с насмешливым вниманием глядят на нее.

По широкой лестнице она взбежала на второй этаж. Ворвалась в кабинет секретаря приемной комиссии. Навстречу ей из-за широкого дубового стола поднялся важ-

ный, полный сознания собственного достоинства и вместе с тем чиновно-замкнутый и корректный секретарь. Он знаком предложил девушке сесть, но она, растерянная, порылась в своем чемоданчике и, достав оттуда извещение, протянула его через заваленный папками стол.

Секретарь бегло прочел извещение.

— Дуже приємно, пані Ставничая? Будем знайоми! Дмитро Каблак. Ну и что же?

— Как что же? — готовая разрыдаться, воскликнула Иванна. — Но в списках меня нет!

— И не будет! — Каблак разорвал извещение.

В ужасе следила Иванна за тем, как белые клочки бумаги, разорванной загорелыми волосатыми пальцами Каблака, падали в плетеную корзину. И казалось ей, что не извещение, а в клочья разорванная судьба ее летит туда, в мусор, смешиваясь с окурками и обломками сургучных печатей...

— Почему же? — почти простонала Ставничая.

— Есть причины.

— Но я окончила гимназию с отличием!

— Мало ли кто кончает гимназию с отличием! Сыновья графа Дзедушицкого или князя Сангушко. Разве они учились плохо?

— Но какое я имею к ним отношение? Зачем вы меня сравниваете с теми, кто преследовал нас? Я украинка, а это польские аристократы.

— Украинцы бывают разные. Вот Остап Луцкий, помещик из Волини, или адвокат Кость Левицкий, которого большевики недавно «закрыли». Социальное происхождение не всякому дает право учиться в этом только для народа открытом университете! — сказал Каблак, театрально подняв руку.

— Значит, из-за того, что мой отец священник в бедном украинском селе, я не могу получить высшее образование? Но ведь отец стал священником, когда еще не было советской власти! Он простой селянский сын, и, кто знает, будь здесь другие порядки, надел ли бы он сутану?

— Мы живем в переходное время, дорогая, и не каждый способен понять все эти тонкости, — сочувственно сказал Каблак. — Сегодня не рассуждают, а рубят сплеча...

Иванна уже не слушала секретаря.

— Боже мой! Как это жестоко: вызвать меня изда-
лека, обнадеежить и сразу разрушить все!

Она опустила в кожаное кресло и, припав к резной
кромке дубового стола, залилась слезами. Со странной
усмешкой, скользнувшей по лицу, Дмитро Каблак обо-
гнул огромный стол, подошел к Ставничей и, меняя тон,
положив руку на ее плечо, ласково сказал:

— Милая девушка, я ведь тоже местный и хорошо
понимаю ваше горе. Не мы завели эти порядки. Их при-
несли сюда они, люди с востока. Мы жили здесь иначе,
а они азиаты...

Иванна вскочила. Ласковый, мягкий голос Каблака
внушил ей надежду.

— Я пойду к ректору. Быть может, он не знает всего.
Я расскажу ему все! Я объясню, что мой отец никогда
не агитировал против советской власти. Я расскажу, как
мечтала учиться, как мне не давали и что говорил коман-
дир на митинге в Перемышле.

Каблак засмеялся, приглаживая широкой темной ла-
донью и без того прилизанные волосы. С удивлением по-
смотрела на него Иванна. Над чем он смеется? Кто дал
ему право издеваться над ней?

— Милое, наивное дитя! Я передал вам личное реше-
ние самого ректора, — пояснил Каблак. — Его собствен-
ное решение, поймите! А своих решений он никогда не
меняет. Кроме того, у него есть прямое указание Сталина
закрывать дорогу к образованию таким, как вы. Чужа-
кам! Будете жаловаться, возражать, наболтаете чего-
нибудь лишнего, чего они не любят, — он воспримет
вашу обиду как недовольство советской властью, и вме-
сто университета вы поедете с вашим отцом в Сибирь.
К белым медведям!

— Что же мне делать? — спросила, окончательно рас-
терявшись, Иванна.

— Вы красивая девушка и без университета прожи-
вете, выйдете замуж, будут у вас дети, любимый муж,
и никто вас укорять не будет...

— Укорять? — насторожилась Иванна. — За что уко-
рять?

— Для них вы чужая! Повторяю! Навеки чужая.
Поймите это сердцем. Таков закон нового, советского
времени. Теперь всю жизнь вы будете писать об этом

в анкетах, отвечать на собраниях, каяться! — вдохновенно сказал Каблак. — Если, конечно...

— Что «конечно»?

— Ну... подайте публикацию в газету «Вільна Украйна». Напишите, что вы отрекаетесь от бога и своего отца. Порываете с ним. Это модно. Так заведено у Советов.

Иванна с ужасом посмотрела на Каблака.

— Да как вы смеете? — выкрикнула она.

Ничего больше сказать у нее не хватило сил, и, хлопнув дверь, она выбежала в заполненный молодежью университетский коридор.

ВЛАДЫКА УТЕШАЕТ

Иванна медленно брела по тенистым аллеям парка Костюшко, который некогда назывался Иезуитским. На скамейках сидели парочки, на фасаде деревянного кино-театра виднелась новая афиша фильма «Подкидыш» с актрисой Фаиной Раневской в главной роли. Но взгляд Иванны скользил безразлично мимо всего: счастье, такое возможное, потеряно раз и навсегда.

Справа, на Святоюрской горе, за высокими буками, на фоне ясного неба проглядывался узорчатый силуэт униатского собора святого Юра.

Иванна вышла из парка. С площади святого Юра дорога вела к триумфальной арке, украшенной венцом, сплетенным из терний. Под ней проходили прихожане в собор и на поклон к митрополиту.

У самого входа под арку Иванна вынуждена была сторониться. Сверху, из подворья, на фиакрах еще старого, австрийского образца выкатила свадьба. Сияющая новобрачная в белой фате и самодовольный, пьяноватый жених с белым, восковым флёрдоранжем в петлице черного пиджака ехали в первом фиакре. За свадебной парой следовали шафера, разнаряженные дружки, родные и друзья жениха и невесты.

«Неужели и у меня остался теперь только этот путь вместо большой дороги в настоящую, интересную жизнь?»

Пропустив процессию, Иванна медленно поднялась по выщербленным ступенькам на крыльцо. Под высоки-

ми холодными сводами собора было тихо и пустынно. Отовсюду на Иванну глядели грустными, поблекшими глазами изображения митрополитов, что некогда правили здесь, откуда-то доносились приглушенные деловитые голоса священнослужителей, деливших дневную вырубку. Пахло елеем и потушенными свечами.

Иванна зашла в притвор и остановилась перед алтарем с чудотворной иконой Теребовельской божьей матери — девы Марии. Она опустилась на колени и обратила свой взор и свою душу к образу богоматери. Тусклые отблески горящих свечей озаряли полное религиозного воодушевления лицо девушки.

— Царица неба и земли, дева пречистая, — шептала Иванна, — мать божья, заступница наша, я никогда не откажусь ни от бога, ни от тебя! Но почему люди так несправедливы? Разве я отверженная или прокаженная? Чем я хуже других?

Глухие рыдания то и дело прерывали молитву Иванны. Крупные слезы скатывались по смуглым щекам и падали на холодный каменный пол собора святого Юра.

Проходивший мимо митрат Кадочный, высокий, пожилой, с вкрадчивыми, кошачьими движениями, остановился за колонной. Он сразу узнал в богомолке дочь тулиголовского священника, о судьбе которой еще совсем недавно советовался с ним Дмитро Каблак. Чуть заметная улыбка скользнула по узким, бледным губам митрата. Он понял, что план Каблака, согласованный с ним, начал успешно осуществляться. Тихо приблизившись, он опустился рядом с Иванной на колени и, положив на ее вздрагивающие плечи тонкую, пропахшую елеем руку, ласково спросил:

— Кто тебя обидел, дочь моя? Что случилось злого в юной твоей жизни? Открой мне свою душу, и я помогу тебе...

...Через несколько минут, сопровождаемая Кадочным, Иванна, робко озираясь по сторонам, шла по коридору капитула. Спаситель ее души предупредительно показывал дорогу, то и дело простирая на поворотах то вправо, то влево холеную, тонкую руку. Он вел девушку в покои митрополита. Они вошли в библиотеку, уставленную по стенам высокими книжными шкафами. Среди книг духовного содержания Иванна увидела даже сочи-

нения Маркса и Энгельса, тома Большой Советской Энциклопедии, книги советских авторов. В простенках между шкафами портреты римских пап в золотых тиарах соседствовали с изображениями деятелей унии. На почетном месте в старинной позолоченной раме висел портрет патрона униатов папы римского Урбана III. Как боевой наказ, неизвестный художник начертал древней славянской вязью в уголке портрета слова наместника бога на земле, обращенные некогда к греко-католикам униатам: «С помощью вас, мои русины, я надеюсь обратить весь Восток».

Иванна едва успела прочесть эту надпись, как в дверях появился дородный келейник. Самый приближенный к митрополиту монах Арсений громко доложил:

— Его эксцеленция на балконе. Прошу...

С балкона капитула открывался прекрасный вид на затянутые дымкой взгорья Львова, на его старинные башни и сады.

Иванна увидела митрополита. Прикованный много лет неизлечимым недугом к передвижному креслу, граф Андрей Шептицкий полулежал в нем.

Иванна по установленному ритуалу опустилась перед митрополитом на колени. Шептицкий милостиво протянул девушке распухшую от недугов, поразивших его мощное тело, мясистую, синеватую руку. Девушка поцеловала перстень со святыми мощами на руке князя церкви. Митрополит осенил Иванну крестным знамением и сказал кротким, приглушенным голосом:

— Отец Орест поведал мне о твоём горе. Почему ты постеснялась сама прийти ко мне?

— Я не хотела нарушать покой вашей эксцелленции. У вас и без меня столько дел и столько посетителей.

— Мое сердце открыто и в минуты отдыха для всех страждущих. А к тому же ты еще и моя крестница. Ты-то не помнишь, как во время визитации в Тулиголовах я осенил тебя крестным знамением. Ты была совсем маленькая, а отец Теодозий — совсем молодой священник. И матушка твоя еще была жива... Поведай мне — это правда, что в университете требовали, дабы ты отреклась от господа бога нашего?

— Не только от бога, но и от моего отца, ваша эксцелленция! — запальчиво и гневно сказала Иванна.

Задумчиво устремив взгляд на синеватые холмы Львова, Шептицкий сказал тихо:

— Слуги антихриста топчут сейчас нашу землю. Видно, сильно мы нагрели перед богом, если он прислал нам с небес такое испытание — владычество сатаны...

С площади святого Юра донесся звук пионерского горна, а затем громкие слова песни:

Грими, грими, могутня пісне,
Як ті громи весняних бур!
Хай знає панство ненависне,
Що наша армія, як мур...

У древних каменных стен, окаймляющих митрополичьи палаты, замелькали алые пионерские знамена. Под звуки барабана прошел мимо собора один из первых пионерских отрядов Львова. Митрополит провожал его глазами. Некоторые из пионеров еще не имели новой формы: на мальчиках были бархатные шапочки старого, гимназического образца, на девочках синие форменные мундирчики с номерами школ на рукавах. Но у всех были повязаны красные галстуки.

Весело и задорно пели самые молодые из молодых советских граждан Львова, и звуки их песни перелетали через монастырскую ограду на обвитый диким виноградом балкон капитула.

Шептицкий тяжело вздохнул:

— Наши дети поют бесовские песни. Кто бы мог подумать, что станет такое? Большевики свои порядки заводят. Закон божий в школах запретили. А когда я письмо в Киев их правительству послал, протестуя против запрета, протестуя против пионерских отрядов в школах, мне даже не ответили. Посмеялись, видно, только! Мужичье! А ведь меня короли здесь посещали, наследные принцы, самые видные люди Европы. Когда русский генерал Брусилов в прошлую мировую войну приказал вывезти меня за мои проповеди в глубь России, не только первые аристократы мира, но даже сам король Испании поднял голос в мою защиту, добивался моего освобождения. Сам король Испании! А тут советский комиссар из простых мужиков, что сидит в Киеве, не внемлет моему гласу протеста. Бессильны мы пока, дочь моя! Даже мне, понимаешь, даже мне, человеку пожилому,

который почти полвека сидит на этом престоле, приходится теперь приспосабливаться к новым условиям. Вот послушай, что написал я сегодня в новом послании к духовенству...

С этими словами митрополит немощной рукой вынул из кармана мантии тетрадочку и прочел:

— «Чтобы избежать всяких недоразумений, должен прежде всего заявить, что я коммунизма как такового никогда не называл и не называю нашим врагом или врагом церкви. Ведь есть же и евангельский коммунизм, который основывается и на евангельском убожестве и на общности жизни, которым я сам сочувствую и принадлежу более чем пятьдесят лет... Ну, а если бы случайно могло показаться, что коммунизм или коммунистов я называю врагами, то это либо непонимание моих слов, либо ошибка, причиной которых было неясное мое высказывание. Врагом церкви и религии я называю безбожие, которое само этим хвастается...»

Иванна с почтением слушала бархатный, вкрадчивый голос митрополита, но тут ей уже было трудно удержаться:

— Простите меня великодушно, ваша эксцелленция, но, насколько мне память не изменяет, в 1936 году со всех амвонов, в том числе и в Тулиголовах, читали ваше «Предостережение против коммунизма», в котором вы открыто осуждали коммунизм и коммунистов и говорили, что фашизм — это их выдумка.

Внимательно, очень внимательно посмотрел митрополит умными, прозорливыми глазами на Иванну и, пряча в карман тетрадочку, сказал:

— Я вижу, дочь моя, что годы, проведенные под сенью бога и христианского учения, не прошли для тебя даром, если ты даже запомнила мою «Осторогу». Но именно этим новым своим обращением к духовенству я хочу в условиях этого сатанинского режима затереть ее следы. Все экземпляры «Остороги» теперь уничтожены, и большевики не найдут ее. А новое послание может убедить их в том, что меня не стоит трогать. Если бы ты не была дочерью священника и моей крестницей, я никогда бы не стал говорить с тобой так откровенно, но я знаю тебя с детства и доверяю тебе. И не дай бог тебе злоупотребить моим доверием. Мы живем в страшное

время тяжелых испытаний, и надо его переждать во что бы то ни стало, даже пользуясь хитростью, за которую не осудит нас всевышний...

И, как бы в ответ на слова разгневанного графа, уже с улицы Мицкевича донесся громкий стук барабана и веселая песня:

Здравствуй, милая картошка,
Низко бьем тебе челом...

Шептицкий продолжал еще взволнованней:

— Ты слышишь, дочь моя? Занесли сюда, в Галичину, свои кацапские песни! Картошка им бога заменяет теперь... Но я твердо верю, что владычество антихриста продлится недолго. Бог услышит наши молитвы.

— А что же мне делать сейчас, ваша эксцелленция? — взмолилась Иванна.

— Все будет хорошо! Время — лучший лекарь бед человеческих. Не горюй о безбожном университете. Посвяти себя всецело служению в обществе имени пресвятой девы нашей Марии. Детей от большевиков спасать надо! — И митрополит кивнул седой головой в сторону удаляющейся песни. — Молодежь спасать! Сделай все возможное, чтобы предостеречь знакомых тебе юношей и девушек от вступления в комсомол. Билет комсомола в кармане наших молодых галичан — это кайнова печать навсегда, наивысший грех перед господом богом. Запомни это! Любыми способами надо искоренять тлетворные плевелы безбожного учения. И пусть тебе поможет в том твой избранник. — Митрополит пытливо окинул Иванну острым, пронизательным взглядом, сверкнувшим из-под нависших седых бровей. — Вы уже обручены с богословом Романом?

Иванна смешалась. Она не ждала такого прямого вопроса. Осведомленность митрополита застала ее врасплох.

— Роман говорил с папой... Но я...

Голосом, не знающим возражений, Шептицкий преврал Иванну:

— И прекрасно. Роман — самый достойный избранник твоего сердца. Он верный слуга и воин божий. Роман — один из лучших выпускников духовной семинарии,

мой стипендиат. В наше страшное время, когда сатана ликовует повсюду, будь Роману надежной подругой...

Растерянная Иванна пыталась было объяснить, что она уже отказала Герете, но Шептицкий взял с балюстры ды звоночек и помахал им.

КОЛЬЦО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА

Вошел келейник Арсений. Митрополит сделал ему знак, и келейник принес дорогую инкрустированную шкатулку. Шептицкий привычно порывлся в шкатулке распухшими пальцами, извлек оттуда золотое обручальное кольцо и надел его на дрожащий палец ошеломленной девушки.

— Иди, дочь моя Иванна, — сказал он, — по пути, уготованному тебе всевышним! Живи в честном и святом супружестве христианском. Борись всеми силами со слугами антихриста, а отцу Теодозию и твоему избраннику передай мое благословение!

С этими словами Шептицкий резким движением руки приказал келейнику убрать шкатулку и нечаянно сбросил на пол серебряный колокольчик. Он, позванивая, покатился к балюстраде...

Иванна вспомнила этот звон, когда через несколько дней в приходстве ее отца под звон рюмок и бокалов праздновали ее обручение с Романом Геретой.

Светлицу заполнили гости. Вызванные телеграммами, они съехались из Львова, Перемышля, Нижанкович, Бирчи и окрестных сел — дальние и близкие родственники и знакомые. Всем нашлось место за красиво сервированным столом.

Помолодевший, энергичный отец Теодозий суетился, подливал соседям вина, подсовывал то бигос, то жареную кровяную колбасу с гречневой кашей, то различные салаты, то узенькие колбаски — кабаносы.

Растерянная, заметно подавленная неизбежностью близкой свадьбы, сидела Иванна рядом с Геретой. Старинной чеканки серебряное монисто и такие же серьги. яркое платье еще более усиливали ее сходство с цыганкой.

Отец Теодозий поднялся с бокалом вина в руке:

— Панове и пани! Достойное общество! Я хотел бы

выпить чару сию за здоровье своего будущего зятя Романа и моей дочурки Иванны. Да будут они счастливы в этом грешном мире, уже потрясенном войной, и пусть война обойдет стороной их дом!

Выйдя из-за стола, Ставничий крепко трижды поцеловал Иванну и Романа.

А гости, не уставляясь, как это водится в таких случаях, запели: «Многая лета, многая лета, многая лета...»

Пели все: и приехавшая из Львова игуменья женского монастыря католического ордена василианок — Вера, и монахиня Моника, и старенький дьяк Богдан. Пел даже адвокат Гудим-Левкович, старый знакомый семьи Ставничих, благообразный, в пенсне с золоченой дужкой, с бородкой клинышком.

Одна лишь давняя, закадычная подружка невесты — Юлька Цимбалистая — молчала, то и дело морща курносый веснушчатый нос. Ведь она так верила, что ее подруга будет студенткой университета. А тут — на тебе! Завтрашняя попадьа!

И, кроме того, Юлька чуралась этого мещанского общества.

Совсем недавно Грицько Щирба, принятый в Политехнический, сын старого подпольщика, сидевшего неоднократно в тюрьмах буржуазной Польши, уговорил Цимбалистую вступить в комсомол. И они вместе основали в Тулиголовах — на берегу Сана, на самой границе с гитлеровскими войсками, чьи гарнизоны и артиллерия стояли уже в Засанье, — первую в их краях легальную комсомольскую ячейку. Теперь же Юльке казалось, что быть на этом пиршестве, в поповской семье, в кругу бывших панских чиновников и монахинь кощунство. Если бы не уговоры Иванны — никогда бы она не пришла сюда.

Роман Герета, сняв с пальца невесты кольцо и разглядывая его, уверенным голосом бывалого проповедника, или, как их зовут в Польше, казнодея, не скрывая самодовольства, произнес:

— Я предлагаю тост за здоровье нашего обожаемого митрополита Андрея... Его эксцеленции нет за этим столом, но я не ошибусь, если скажу: митрополит здесь!

Он, как всегда, и сегодня незримо присутствует рядом с нами, направляет наши помыслы и деяния. Владыка почтил наше скромное празднество драгоценным подарком. — Роман приблизил обручальное кольцо к глазам и прочел: — «Моей крестнице на счастье. Кир Андрей».

Обведя взглядом всех присутствующих и удостоверившись, какое впечатление произвела на них эта новость, Герета после намеренно затянутой паузы продолжал:

— Немало крестниц у его эксцеленции во Львовской епархии и даже за далекими морями — в Канаде и Америке, особенно в пастырских семьях. Но лишь самые избранные удостоиваются такой чести и получают такое драгоценное кольцо — памятный подарок на всю жизнь. И я, скромный слуга божий, безмерно счастлив оттого, что моя избранница сумела честно пройти по стезе господней от святой купели до сегодняшнего дня и заслужить такое высокое признание владыки. . . Пусть же еще многие лета восседает владыка, наш украинский Моисей, на своем престоле! Да поможет всем нам владыка спасти от безбожия неньку Украинну до тех дней, пока кара божья не покарает окончательно всех грешников. . . За его эксцеленцию!

И, подняв бокал, наполненный рубиновым вином, Герета запел гимн церковников и украинских националистов:

Боже великий, единый, нам Украину храни!

Гости стали дружно подпевать ему. Только уснувший было во время длинного тоста захмелевший дьячок, похожий на маленького, пучеглазого гнома, не разобравшись, в чем дело, затянул польскую песенку:

Грай, скшиппко, грай!

Адвокат Гудим-Левкович дернул дьячка за рукав и прошипел:

— Не из той оперы, любезный добродию. Вы не в корчме. . .

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

— Добрый вечер! — как гром с ясного неба, заглушая торжественное «Многолетие» и надтреснутый голос дьячка, прозвучало вдруг приветствие.

Среди общего шума и пения хозяин дома и гости не слышали, как в затемненную часть светлицы вошли с улицы два советских командира.

Тихо, очень тихо сразу стало в светлице. Не у одного из сидящих за столом екнуло сердце, и не один подумал: «А не арестовывать ли нас пришли?» Даже кроткий, незлобивый отец Теодозий насторожился. Причины для таких опасений были: только что здесь пели церковный гимн националистов, само обручение можно было принять за незаконное, подпольное сборище. А местному населению годами внушали всякие небылицы и страхи о людях в форме Красной Армии.

— Добрый вечер! — повторил один из вошедших, прикладывая руку к лакированному козырьку фуражки с красной звездой. — Извините... Кто здесь хозяин?

Ставничий нетвердыми шагами вышел из-за стола. Растерянность и тревога сквозили в каждом его движении, в напряженном вопрошающем взгляде голубых, с красными прожилками старческих глаз.

— Простите, батюшка, — с уважением сказал командир, протягивая священнику руку. — Я лейтенант Зубарь, — представился он. — На постой к вам районный исполком определяет капитана Журженко. Человек он смирный, одинокий, с высшим образованием. Жилплощадь-то у вас богатая, а в селе уже не продохнуть...

Пока Ставничий читал ордер и собирался с ответом, Иванна дерзко бросила из-за стола:

— Это у вас на востоке так принято — вторгаться без всякого согласия хозяев в мирные дома да еще в столь позднее время?

Роман незаметно дернул невесту под столом за руку.

Журженко, подавляя обиду, сказал как можно мягче:

— Военные обстоятельства не всегда согласовываются с желаниями мирного населения. Что же касается позднего времени... то где же здесь спящие?

Ставничий, пытаясь сгладить резкость Иванны, взял капитана под руку и сказал миролюбиво:

— Не осуждайте дерзость моей дочери, гражданин командир. Молодо-зелено. Пойдемте, будьте любезны, я покажу вам свободную комнату. — И повел за собой офицеров.

Он шел впереди с зажженной свечой. За ним осторожно, стараясь не удариться головой о притолоку, закопченную дымными четверговыми пасхальными крестами, двигались, полусогнувшись, Журженко и Зубарь.

Теодозий ввел их в маленькую комнату с неприхотливой обстановкой: односпальная кровать, этажерка, старомодный письменный стол на выгнутых лапах, гуцульский коврик на стене, ясеневое деревянное распятие да большая икона святой Параскевы с трехраменным крестиком в руке и ликом, потемневшим от времени.

— Электричества пока нет, но радио вчера провели, — как бы извиняясь, сказал Ставничий, показывая на рупор громкоговорителя, чернеющий над окном, занавешенным пестрым домотканым ковриком.

— Ну что же. . . вполне удобно, — оценил комнату Зубарь, — но только это, — он показал на икону, — придется. . .

— Ладно, Зубарь. Отставить! — оборвал его Журженко. — Где у вас можно помыться, батюшка?

— Днем, сын мой, мы моемся у колодца, ну, а сейчас сюда можно принести кувшин с водой и тазик.

— Не беспокойтесь, на воле удобнее, только покажите, будьте добры, где колодец. . .

Появление непрошеного квартиранта, да еще «совета», не доставило особой радости ни старому священнику, ни его гостям. Кто знает, каков он, этот капитан Журженко! Внешне симпатичен, Зубарь нахваливал его. Но ведь оба они оттуда, с востока.

Позднее Теодозий Ставничий записал в своей тетради:

«Нежданый визит советских военных не только поверг нас в большое волнение, но вызвал большую тревогу — как бы это новое соседство не отразилось на наших судьбах, моей и Иванны. Все предыдущие годы правда о Советской стране прорывалась сюда с большим трудом, через полицейские кордоны государства, которое считало себя бастионом христианства на Востоке, а богоматерь, пресвятую деву Марию, даже «королевой короны польской». Мы, слуги церкви, читали преимущественно церковную прессу. . . И мы обязаны были вести борьбу с любой, даже самой маленькой правдой, проникающей с

Востока на нашу галицийскую землю, иначе нас лишили бы сана. Вот почему оба неожиданных гостя в тот вечер показались многим из нас явными слугами антихриста...»

ЗУБАСТАЯ НЕВЕСТА

Тем временем один из «слуг антихриста», старший лейтенант Зубарь, обливал из ведра у деревянного колодца с журавлем крепкую, мускулистую спину своего начальника.

Фыркая и кряхтя, Журженко плескался холодной водой. Вытерев мохнатым рушником скуластое лицо с красивыми, чуть раскосыми, миндалевидными глазами, он заметил:

— Про икону вы, Зубарь, сказали зря. Чувство такта вам изменило. Нельзя оскорблять религиозные чувства верующих!

— Неужто вы, капитан, под иконой³ спать будете? — обиделся Зубарь. — Увидит кто — и потащат вас, раба божьего, на парткомиссию.

— Все можно сказать осторожно и своевременно, так, чтобы не задевать хозяев. Вы же видели: у них свадьба!

— Свадьба свадьбой, а невеста-то, видать, зубастая, — протянул Зубарь, выплескивая из ведра в лопухи остатки воды. — Такой в рот палец не клади. Из чуждых, а не стесняется. Глазами, как пантера, сверкнула!

...Гости, заполнившие светлицу, заметно приуныли. Лишь дьячок не терялся и, не обращая внимания на соседей, уплетал большой кусок ветчины, смазав его горчицей. «Ведь не каждый день попадаешь на такие пышные заручины», — думал он.

Игуменья Вера промолвила скорбно:

— Гляжу — и сердце кровью обливается. Чистые варвары! Азиаты! Быть может, пока я здесь, и мой монастырь во Львове эти антихристы под военную часть заняли? Какой они формации?

— Наверное, энкавэдисты! — сказала Иванна.

— Инженерно-технические части, — тоном осведомленного человека поправил невесту Герета. — Строят укрепления вдоль границы, аж до Полесских лесов. Целые села мобилизованы, возят к ним камень, цемент, же-

лезю. Каждый их дот на шесть-семь этажей под землю уходит. Батальон может в нем разместиться.

— Неужели целый батальон? — удивился адвокат Гудим-Левкович. — Я служил в Перемышле в первую мировую войну, и даже его форты не могли вместить такого количества солдат. А ведь Перемышль был первоклассной крепостью тех времен!

— Мне известно точно: батальон! — упрямо сказал Герета.

— С Гитлером договор, а границу укрепляют. Чудеса! Ради чего, спрашивается? — усмехнулась игуменья.

Герета не без иронии заметил:

— Мать игуменья думает, что Гитлер всерьез придает значение договору с этими безбожниками? А для чего немцы войска к Сану подтягивают?

— Поскорее бы разуверился! Дай господи! — Игуменья перекрестилась.

Вошедший Ставничий покосился на нее.

— Панове, не забывайте: тут о политике не говорят. Особенно сейчас, когда и у стен — уши... А к столу пригласить придется. Неудобно все же — квартирант... — Он развел руками.

Ставничий поднялся в комнату к капитану и поклонился:

— У нас маленькое семейное торжество. Милости прошу к скромному столу. Все будут рады видеть вас, граждане командиры... Простите, я не разбираюсь в званиях.

— Да это не важно, — улыбнулся Журженко, застегивая ворот гимнастерки. — Зовите меня просто Иван Тихонович. А старший лейтенант Зубарь — Николай Андреевич.

Когда они вслед за священником вошли в светлицу, капитану освободили место между адвокатом Гудим-Левковичем и стареньким дьячком. Зубарь сел рядом с Юлькой, и та сразу принялась угощать его.

Словоохотливый Гудим-Левкович занялся капитаном и, пододвигая к нему бутылку с вишневым наливком, сказал:

— Мы с вами почти коллеги, капитан. На заре юных лет я был ротмистром. Правда, служил в драгунах, сперва здесь, в Перемышле, потом в Бродях.

— Вы служили в царской армии? — спросил Журженко.

— В царской, да не в русской, — засуетился Гудим-Левкович. — Броды ведь тогда Австро-Венгрии принадлежали, а я служил ротмистром тяжелой кавалерии его императорского величества Франца-Иосифа... Был такой грех! Ха-ха-ха! В русский плен попал в таком звании, а ваша революция из плена меня освободила. Бывают такие камуфлеты!

Подняв рюмку с вишневой наливкой, Журженко встал и торжественно произнес:

— Разрешите поблагодарить вас за доброе гостеприимство и поднять бокал за здоровье молодоженов...

Гудим-Левкович осторожно тронул капитана за локоть и шепнул:

— Извините, но это еще не свадьба. Сегодня у них только заручины, обручение. Так сказать, прелюдия.

Желая выручить смутившегося капитана, Ставничий обратился к гостям:

— Товариство! Наш гость желает напутствовать голубят.

Журженко улыбнулся. Он не забыл еще первого отпора Иванны.

— Будем говорить прямо: мы не столько нежданные, сколько непрошенные гости. Чего греха таить! Тем не менее я хочу пожелать молодым людям, решившим соединить свои судьбы в то время, когда их земля наконец освобождена... Да, я хочу пожелать, чтобы ваша жизнь была на уровне тех событий, которые мы переживаем. Чтобы тот новый ветер с востока, какой ворвался и в это тихое пограничное село, освободил вас от многих заблуждений и показал вам самую верную дорогу к будущему...

— Простите, капитан, — еще злее, чем раньше, блеснув глазами, перебила Иванна. — А что, собственно говоря, нового принес нам этот «ветер с востока»?

— Доню! Как не стыдно! — пытался остановить Иванну Ставничий.

Такого резкого, недоброжелательного вопроса Журженко не ожидал. Он на мгновение смешался, подыскивая и не сразу находя нужные слова для ответа.

— Как что? И вы еще спрашиваете! Самую справедливую конституцию. Право на труд и образование. Воз-

можность повсюду свободно говорить на родном языке. . . Ну вот, университет во Львове открыли для местного украинского населения. А сколько лет шла за него борьба! Сколько крови было пролито! Студент Адам Коцко был убит в начале века в этом университете за то, что добивался права учиться на родном, украинском языке. Разве вы не помните памятник Коцко на Лычаковском кладбище? Девушка Украина, склонив голову, скорбит над его могилой. А сейчас в здании, где была пролита кровь Адама Коцко, может свободно учиться каждый молодой украинец и люди любых национальностей. . .

— Это сказочки для маленьких детей! — взорвалась Иванна. — То, что вы говорите, хорошо звучало первые дни, когда вы сюда пришли, на митингах, а на деле. . . — Она махнула рукой. — На деле — мыльные пузыри. Я не вижу никакой разницы между тем, что было. . .

— Иванна, пшестань! — неожиданно по-польски крикнул священник.

— Я, папа, уже двадцать лет Иванна! — отрезала дочь. И вдруг, разрыдавшись, выбежала из светлицы. . .

До самого утра не мог заснуть Журженко в эту ночь на узкой и жесткой кровати. Он повторял про себя каждое свое слово, сказанное на заручинах, вдумывался в его смысл и приходил к выводу, что не было в его словах ничего, что могло бы вызвать такой бурный отпор. Каждый честный человек мог убедиться в том, что Красная Армия принесла свободу и настоящее счастье миллионам западных украинцев, соединила их с народом Советской Украины.

Журженко с юных лет жил на советско-польской границе, восточнее Збруча. Он не раз встречался с перебежчиками из Западной Украины, слышал их рассказы о кровавом умиротворении местного населения жандармами, о так называемых «пацификациях»: целые села сжигались тогда за найденный портрет Шевченко или за экземпляр советской газеты.

В Силикатном институте, где учился Иван Тихонович, старичок преподаватель геометрии часто рассказывал о том, как бежал он из Львова в Советский Союз. Насколько лет он не мог найти во Львове работу по спе-

циальности. Он рассказывал о борьбе за украинский университет, о том, что многие вынуждены были учиться тайно.

Какого же лешего взбеленилась поповна? Не поймали ли девушку в свои сети украинские националисты? Подпольная их деятельность ощущалась и во Львове и здесь, в пограничных селах, куда его прислали оборудовать канализацию и водопровод в новых военных укреплениях.

До мобилизации в инженерные войска Журженко работал во Львовском Водоканалтресте. Тогда произошел случай, который заставил его и многих других задуматься над тем, что все не так-то просто в городе, где еще недавно один митинг, полный народного ликования, сменял другой.

Воскресным днем на открытом воздухе в предместье Клепаров для жен и детей начальствующего состава Красной Армии демонстрировали фильм «Шуми, городок». Во время сеанса приподнялся люк подземной канализации, и чья-то рука выбросила из темноты под синий лучик киноаппарата тяжелую противотанковую гранату немецкого образца. Ее осколками было убито шесть женщин и детей, девять — ранено. Человек, выбросивший гранату, скрылся в подземелье разветвленного коллектора канализации.

Через несколько дней органы охраны государственной безопасности напали на след подпольной организации и арестовали пять сотрудников Водоканалтреста. Это были молодые ребята. Они ходили в вышиванках — расшитых украинских сорочках. Участвовали в драмкружке, танцевали гопак и гуцульский «аркан», а самое главное — почти на каждом собрании били себя в грудь и распинались в любви к освободившей их советской власти. И как-то не верилось тому, что услышал на закрытом партийном собрании Журженко: все пятеро были «боевой» организации украинских националистов — ОУН.

«Но ведь те действовали тайно, всячески маскируя свои взгляды, а эта девушка открыто выразила свою враждебность к новым порядкам, — размышлял в ночной тишине Журженко. — Чем вызвана ее вспышка и слезы?»

ЮЛЯ БОИТСЯ «ДЛИННЫХ РУК»

От Сана тянуло густым предутренним туманом. Он проникал в открытое окно, заползал под одеяло, Журженко еще долго ворочался, слушая пересвист немецких пограничников на сопредельной стороне.

Утром вместе с Зубарем они подошли к своему «объекту». Официально он назывался «полевой почтой 4567». Для них за этими цифрами раскрывалось мощное сооружение.

Железобетонный дот, или долговременная огневая точка, способная вместить, как это утверждал Герета, до батальона воинов, глубоко ушел в землю. Бойницы дота были еще пусты. Крестьяне и красноармейцы сбрасывали на его покрытие привезенную издалека на грузовиках и подводах землю. Другие строители маскировали дот, укладывая на бетоне тяжелые пласты зеленого дерна.

Из дота вылез краснощекий полковник и подошел к Зубарю и Журженко. Поздоровавшись, он похвалил капитана:

— Воду подвели хорошо, молодцы твои ребята. Ну, а как же будет с кранами?

— Задерживает Львов. Третью шифровку послали, а они молчат.

— Поезжай сам. Немедленно поезжай! Ты же понимаешь, дорога каждая минута, а у тебя во Львове полно знакомых!

— Съезжу, — согласился Журженко. — Дайте приказ, чтобы выписали командировочное предписание.

— Поехали в штаб! — заторопился полковник.

Штаб укрепленного района располагался в соседнем селе Нижние Перетоки. Когда они возвращались оттуда, Зубарь заметил впереди на проселочной дороге девушку. Она легко шагала с плетеной корзинкой в руке, приминая пыль белыми сандалетами. Золотистые волосы были повязаны газовым платочком, короткое платье из шотландки обнажало длинные загорелые ноги.

— Не узнаете эту принцессу, капитан? — спросил Зубарь.

— Что-то не узнаю. Кто это?

— Подружка вашей поповны! Догнать и перегнать! — решил Зубарь.

— Не стоит. Отбреет, как вчера ее подруга.

— Проверим! — И Зубарь, надвинув поглубже на лоб фуражку, ускорил шаг.

Делать нечего — Журженко тоже прибавил шагу. Когда они поравнялись, Зубарь, козыряя, осведомился у Юли Цимбалистой:

— Куда торопимся, уважаемая?

Юля опешила, задержалась, внимательно посмотрела на Зубаря и, признав в нем знакомого, сказала:

— Да вот зайду на минуту к Иванне, а потом во Львов, на практику.

— У вас есть попутчик. Капитан тоже во Львов собрался.

— А вы надолго у Иванны задержитесь? — спросил Журженко.

— Ровно столько, чтобы не опоздать к поезду.

— Тогда договорились, — улыбнулся Журженко. Ему было приятно иметь такую попутчицу.

Подмигивая капитану и показывая на Юлю, Зубарь сказал.

— Вот видите — не кусается. А вы боялись подойти!

— Здрасьте! — Юля засмеялась. — А с какой стати я должна кусаться?

— Ну, хотя бы из чувства солидарности с вашей подругой, — сказал Журженко.

— Ах, вон вы про что! — нахмурилась Цимбалистая. — Не сердитесь, ради бога, на Иванну и не придавайте особого значения ее словам. Они вырвались у нее случайно — от личного несчастья. У Иванны большое горе. . .

— Горе? — удивился Зубарь.

Пока Цимбалистая рассказывала грустную историю Иванны, дорога, по которой они шли, удаляясь от Сана, потянулась косогорами, зажатая полями наливающейся пшеницы.

— . . . Я сама настаивала, чтобы Иванна послала документы в университет, — горячо говорила Юля, — а она колебалась, разуверенная во всем после стольких отказов, но в конце концов послала их тайком, даже от меня. Она ведь очень гордая, Иванна! А почему я настаивала?

Меня же в медицинский приняли безо всяких: А ее и давно должны были принять: лучшая ведь ученица гимназии. Весь Перемышль ее знал.

— Но все-таки дочь попа, — осторожно заметил Зубарь. — Так сказать, нетрудовой элемент.

Журженко сильно дернул его за руку, а Цимбалистая метнула острый взгляд в старшего лейтенанта. Даже вздернутый ее нос, усыпанный веснушками, покраснел от негодования.

— Дочь попа? Да? А почему же тогда приняли в университет Зенона Верхолу из Нижних Перетоков? Его отец маслобойку в селе имел, двенадцать батраков на него работали, а сам он теперь до фашистов убежал. Туда! — и Юля показала рукой на открывшийся снова противоположный, обрывистый берег Сана, по которому прохаживался на виду у всех гитлеровский пограничник в рога-той каске.

Внимательно посмотрел Журженко на чужого солдата, разгуливающего так близко, и задумчиво сказал:

— Видите ли, Юля, конечно, Николай Андреевич переборщил. Мы следуем правилу: сын за отца не отвечает и дочь также. И, быть может, тот же самый Зенон Верхола...

— Да вы его не знаете! — распалилась Юля. — Он сам тоже штучка хорошая. Еще в гимназии, в Перемышле, с националистами путался. Подручным у их атамана Степана Бандеры был. Дружил с тем, известным, Лемиком, а когда Лемик в тридцать третьем застрелил во Львове секретаря советского консульства Андрея Майлова, польская полиция сразу же приехала в Нижние Перетоки, чтобы арестовать Верхолу. Но он уже бежал в Данциг от ареста...

— Молодой Верхола или его отец? — переспросил капитан.

— Конечно, молодой! А кто же еще? Зенко! — воскликнула Юля. — Он и гимназию не сумел окончить из-за той политики. Из восьмого класса его прогнали. А у Иванны... Ой! — вдруг смешалась она и, бледнея, протянула: — Що ж я наробыла? Только, ради бога, молчите. Ничего я вам не говорила... Хорошо? Бо у них длинные руки...

Журженко постарался успокоить девушку. А по дороге во Львов узнал от нее такое, что заставило его задержаться в городе после того, как водопроводные краны были отправлены грузовой машиной в Тулиголовы. Он пошел во Львовский университет и добился приема у ректора Казакевича.

Не подозревая, какой сюрприз его ожидает, Дмитро Каблак в это время, примостившись на краешке письменного стола, заигрывал с миловидной сотрудницей приемной комиссии, которая по его поручению сортировала дела. Волосы девушки были уложены коронкой, и в них виднелось несколько ромашек.

Каблак поправил одну из ромашек и спросил:

— Пани Надийка не знает еще танго «Осенний день»? Да не может быть! Большое упущение. Оно куда лучше «Гуцулки Ксени». Вот послушайте...

Болтая ногами в брюках гольф, он стал насвистывать мелодию, и Надийка, польщенная вниманием начальника, отложила дела в сторону. Каблак сейчас был совсем иным, чем при встрече со Ставничей, — предупредительным, любезным до приторности. Таких типов зовут в Галиции «бавидамак» — развлекатель дам.

Когда зазвонил телефон, Надийка лениво взяла полной рукой трубку, но, узнав по голосу ректора, с испугом передала ее Каблаку.

Тот сразу прыгнул со стола, вытянулся и несколько раз повторил:

— Слушаю... Слушаю... Так... Так... Будет сделано...

Заметался по кабинету, выхватил из шкафа пачку папок с делами студентов и, не глядя на Надийку, быстро вышел.

В кабинет ректора университета Казакевича Каблак входил уже чеканным шагом, слегка наклонив голову вперед, — замкнутый, исполнительный служака, обученный заранее угадывать, а подчас и предупреждать вопросы куратора.

Поклонившись ректору — седому красивому человеку в очках с золотыми ободками, — Каблак положил перед ним папки и скользнул взглядом по сидящему в мягком

кресле наискосок от Казакевича офицеру. Появление военного насторожило Каблака, но, различив на его черных петлицах значки капитана военно-инженерных войск, он успокоился. Еще раз поклонился и вопросительно посмотрел на ректора.

Казакевич, уставший от потока посетителей, просмотрел дела и, отобрав одно из них, поднял голову.

— Скажите, Дмитро Орестович, — спросил он усталое, — кто вам дал право самолично отменять прием абитуриентки Иванны Ставничей?

Каблак чуть вздрогнул, но, овладев собой, переспросил:

— Кого? Кого?

Ректор полистал тоненькую папку.

— Вот этой гражданки. Посмотрите фотографию! — и протянул Каблаку через стол снимок, приложенный к заявлению.

Каблак долго всматривался в фото, выгадывая время, вертел его в руках, а потом, пожимая плечами, заявил:

— Первый раз вижу! — Но тут же сообразил, что совершил непоправимую ошибку. Ведь первая же очная ставка с поповной уличит его во лжи, спутает все козыри! Надо было рубануть прямо: дочь униатского священника, социально чуждый элемент, не для таких, мол, паразитов советская власть университет открыла! И попробуй докажи тогда, что неправ. Наоборот, как бы сразу взлетели его шансы. Ведь они так любят сверххбдительных людей!

Казакевич передал фото капитану и сказал:

— Странная история!

— Простите, Иван Иванович, — вмешался Журженко, — разрешите вопрос, — И, не дожидаясь согласия ректора, с ходу спросил: — Ваша фамилия Каблак? Не так ли? Дмитро Каблак?

— Ну, допустим, Каблак... А что? — насторожился секретарь приемной комиссии.

Капитан оглядел приметные гольфы Каблака, ноги в узорчатых чулках, напoмаженные волосы, пристально взглянул в хитрые, пронырливые глаза.

— Какого чёрта вы нас обманываете? Вы отнюдь не в первый раз видите эту девушку!

Деланно улыбаясь, Каблак развел руками:

— Нет, я вижу ее впервые. . . А собственно говоря, какое право вы. . .

— Но ведь это вы, именно вы отсоветовали Иванне Ставничей идти к ректору! Вы запугивали ее ссылкой в Сибирь и белыми медведями. Знаете, как это называется?

Каблак оскорблённо пожал плечами.

— Пане. . . то есть. . . товарищ ректор. . . Это чистый наговор. Это нарушение Сталинской Конституции. . .

— Наговор? — возмутился капитан, вспомнив все, что подробно рассказывала ему по дороге во Львов Цимбалистая. — Скажите. . . вы. . . а принятый вами в университет Зенон Верхола, сын владельца маслобойки из Нижних Перетоков, тоже наговор?

Каблак побледнел. Он попытался оправдаться, но перехватило дыхание, и он только молча махнул рукой.

Ректор кивком головы остановил взволнованного Журженко и спокойно произнес:

— Хорошо, Дмитро Орестович. . . С этим вопросом мы еще разберемся. . . Идите. . .

Как можно непринужденнее Каблак покинул кабинет. Едва захлопнулась за ним обитая клеенкой дверь, как капитан воскликнул:

— Ну, видите, какая бестия?! Зачем вы держите в университете таких оборотней? Только потому, что они козыряют тем, что местные? В душу смотрите им. Врет в глаза и не споткнется.

— Тем более неосмотрительно было с вашей стороны бросать на стол все козыри! — заметил ректор и укоризненно качнул седой головой. — Ну зачем вы кричали на него? Для чего фамилию Верхола назвали? Разве не достаточно, что вы мне одному рассказали об этом типе? А еще военный! Мы бы сами осторожно разобрались во всем.

Чувствуя, что неправ, из ложного стыда Журженко все же попытался возражать:

— Если вы мне не верите, вызовите сюда Ставничую. Напишите ей несколько слов. Я чувствую, эту девушку затягивают в паутину. Хотите, я сам передам ей ваш вызов?

— Не волнуйтесь, капитан! Что будет нужно — сделаем, — заметно нервничая, сказал ректор, утомленный настойчивостью военного. Казакевич не любил, когда по-

сторонние вмешивались в дела руководимого им университета. Он поднялся, протягивая капитану руку, давая понять, что аудиенция окончена.

ЗАМЕТАЮТ СЛЕДЫ

Разгоряченный Журженко, проходя по заполненным студентами коридорам, не обратил внимания, что поджигавший за колонной Каблак указал на него сухощавому черномазому студенту в лыжной шапке-касметке. Это был тот самый Зенон Верхола, друг террориста Лемика, о котором рассказала мимоходом Журженко и Зубарю Юля Цимбалистая.

В сентябре 1939 года Верхола, обучавшийся в школе диверсантов-националистов, покинув Данциг (так тогда назывался нынешний польский город Гданьск), поступил в гитлеровскую армию. С нею он ворвался в Польшу, дошел до окраин Львова, а когда фашисты откатились за Сан, по заданию гитлеровской военной разведки остался во Львове. И было бы все хорошо в его тайной и явной судьбе, не появившись в университете дотошный крикун капитан, озабоченный судьбой этой «квочки» — тулиголовской поповны. И Дмитру Каблаку и особенно его напарнику Верхоле стало теперь ясно: надо действовать, не теряя ни минуты. Как только капитан скрылся в одной из аллей парка Костюшко, Каблак сразу же помчался на Главный почтамт. . .

Ничего этого не знала Иванна, лежа у себя в комнате и перелистывая старые номера польского журнала «Ас». Фотографии и строчки мельтешили у нее в глазах, то и дело заливаемых слезами.

Расхаживая по светлице, отец Теодозий, правда, мягко и ласково, но выговаривал плачущей дочери за ее поведение в тот вечер, когда на заручинах появились незваные гости «с востока».

— Не надо было, доню, этого делать! — в который раз говорил Теодозий. — Я тебе добра желаю. Одного добра! Зачем было перечить ему так резко и открыто? А теперь могут стрястись неприятности. Кто знает, что он за человек, этот капитан?

Голос отца раздражал девушку. А тут еще радио донесло из-за стены громкие звуки популярной песенки: «Во

Львов е идет капиталный ремонт...» Иванны вскочила, ватарабанила в стенку кулаками, приговаривая:

— Какой он человек? Гадкий человек! Уехал, а радио не выключил! Орет на все приходство. Свинья, а не человек. Ну и прислал бог квартиранта!

— Не бог, а райисполком! — осторожно поправил Иванну отец.

Если бы шагавший в это время под склонами Цитадели, поросшими цветущими каштанами, Журженко, человек самолюбивый и обидчивый по натуре, знал, что где-то в Тулиголовах какая-то девчонка обозвала его свиньей, он, возможно, сел бы немедленно в поезд, вернулся обратно в село и переехал на другую квартиру. Но он не знал этого и, заботясь о ее судьбе, обдумывал события сегодняшнего дня, который начался так удачно. Если бы не его горячность и обмолвка у ректора о Верхоле, все было бы отлично.

Навстречу шагали прохожие, по гранитным торцам мостовой то и дело проезжали экипажи и пролетки, изредка, позванивая, пронёсился маленький львовский трамвайчик. Вдруг Журженко услышал, что его кто-то окликает.

— Иване Тихоновичу! Иване Тихоновичу! — донеслось из боковой улочки

Журженко оглянулся и увидел наполовину вылезшего из люка канализации знакомого бригадира Водоканалтреста Голуба. Тот приветственно махал ему засаленной кепкой. За те полтора года, что Журженко, присланный сюда, во Львов, сразу же после его освобождения проработал в тресте, он успел подружиться с этим милым стариком, бывалым подпольщиком. Голуб воевал здесь за советскую власть еще в двадцатые годы. Он много томился в камерах разных тюрем, пока, наконец, не встретил в предместье Лычаков первых красноармейцев.

Увидев Голуба, вылезающего в своей обычной брезентовой куртке из подземного царства, где он чувствовал себя как дома, Журженко обрадовался. Он подошел к люку, огороженному треногой с красным кругом, и позвал Голубу руку.

— Рад, очень рад вас видеть!

— Как же это так: вы в городе, а до меня на Персен-

кувку не заглянули? — сказал Голуб укоризненно. — Или, быть может, загордились тем, что капитанские «шпалы» навесили, и не хотите до старого капрала на чарку горилки завитать?

— Да я же сегодня только приехал, Голубе! И попал в такой переплет, что и не знаю, как теперь быть! Давайте сядем тут на приступочке, я вам расскажу все, а вы, как человек мудрый и местный к тому же, подскажите, что мне делать.

Усаживаясь вместе с Голубом на теплую плиту лестницы, ведущей в подъезд старого барского дома, Журженко не обратил внимания на то, что по другой стороне медленно прошел, поглядывая на них, Зенон Верхола. Он ни на минуту не выпускал капитана из поля зрения во время его блужданий по городу и не без удовольствия отметил встречу Журженко с каким-то стариком.

— Да, инженере, вы поторопились, — сказал задумчиво Голуб, посасывая прокуренную трубку — С такими типами «из-под темной звезды» надо действовать осторожно, потихоньку, чтобы первому перехитрить их. Ведь все молодчики из ОУН обучались у иезуитов, церковь их годами готовила и натравливала против нас, а вы пошли в открытую, как наивный детяк. Нельзя так!

— А поправить дело можно? — тихо спросил Журженко.

Голуб помолчал, а потом сказал, как бы рассуждая вслух:

— Ну что же, ректор ректором, а я бы на вашем месте сходил вот в этот дом, — и Голуб показал на современное полукруглое серое здание напротив. На дверях краснела вывеска: «Управління Народного Комісаріату державної безпеки УРСР по Львівській області».

— Мудрые люди сидят там, — продолжал Голуб. — Понимают людские души. И наши хлопцы там работают, местные. Коммунисты. Проверенные в тюрьмах. Им доверие оказали большое, взяв туда. Понимает, должно быть, начальство этого дома, что никто так, как они, не знает города и того, что происходит не здесь, на глазах, а в тишине ночной, в подполье оуновском, с которым мы уже с двадцатых годов ведем жестокую борьбу.

— Спасибо, Голубе, пойду я в этот дом! — твердо сказал Журженко.

ПРИШЛИ ТЕЛЕГРАММЫ

Несколькими часами позже в алтаре деревянной церкви в Тулиголовах старенький дьячок Богдан с шумом открыл жестяную кружку для сбора приношений. Он высыпал на металлическое блюдо разнокалиберную мелочь. Послунив пальцы, дьячок ловко сортировал и пересчитывал деньги. Тем временем Герета, только что отслуживший в порядке духовной «стажировки» обедню вместо отца Теодозия, прихорашивался, как всегда, около зеркала, освещаемого двумя восковыми свечами. Ему нравилось выходить из церкви подтянутым, хорошо причесанным, красивым, обращая на себя внимание тулиголовских молодцов.

— Холера ясная! — воскликнул дьячок.

— Что такое, Богдане? — оглянулся Герета.

— Да какой-то нехристь польский злотый до кружки кинул. А куда мы его сдадим? Разве до польского президента Мосцицкого в Швейцарию отошлем?

— Всего-то денег сколько?

— Минуточку... Шестнадцать рублей сорок копеек, — сказал, жалостливо вздыхая, дьячок.

— Не богато, — согласился Герета. — Эх, Тулиголовы, Тулиголовы! Тут можно ноги протянуть от голода, если священником остаться. А отец Теодозий мечтает еще крышу цинком перестлат!

— Нечего бога гневить, пане Романе, — подобострастно сказал дьячок. — Кому горевать, но только не вам. Такую красуню подхватили! Сыграете свадьбу, и вызовет вас митрополит до Львова. Там и молящихся больше и капитул рядом. А вот каково то мне, горемыке?

В это время на погосте среди белых, покрашенных известкой крестов появился письмоносец Хома. Он остановил старушку, спускающуюся по деревянной лестничке из церкви:

— Слава Иисусу, титко Марийка! Пан богослов еще там?

— Навеки слава! Там, там, в захристии, переоблачаются, — прошамкала старушка беззубым ртом.

— Ну, слава богу, не надо будет до него в Нижние Перетоки бежать! — с облегчением сказал Хома и, сняв картуз, перекрестился.

Войдя в церковь, Хома просунул голову в захристие и, повышая Герету в сани, спросил:

— Можно до вас, ваше егомосье¹?

— Заходи, Хома!

— Дешеша, ваша милость. Как бы нюхом чуял я, что вы еще здесь. Сберег подошвы на три километра. — И он протянул Герете сложенную вчетверо телеграмму, дружную оставляя в зажатом кулаке.

Герета прочел текст, который не доставил ему большой радости:

«Нижние Перетоки Дрогобычской приходство церкви Иоанна Крестителя Роману Герете.

Прошу срочно прибыть день моего рождения Дмитро».

Телеграмма была кодированной и обозначала опасность. Герета, заметив зажатую в кулаке Хома вторую телеграмму, спросил:

— А та кому?

— До вашей нареченной!

— Давай передам, — заподозрив неладное, потребовал Герета.

— Да оно не полагается, — замялся Хома. — Пани Иванна сами расписаться должны. По советской инструкции мы должны вручать депеши лично, под расписку получателю.

— Глупости! — прикрикнул богослов. — Ты от сватов-мужичков такие формальности требуй, а я твой будущий пастырь и обманывать тебя не собираюсь. Давай! — И он почти силой вырвал у озадаченного почтальона смятую телеграмму.

Когда Хома ушел, Герета осторожно вскрыл ее и, читая, почувствовал, что у него начинает кружиться голова.

«Тулиголовы Дрогобычской улица под дубом Иванне Теодозиевне Ставничей.

Отказ приеме университет вызван досадным недоразумением тчк просим явиться Львов получения общежития оформления студенческого удостоверения тчк рек-

¹ Так в Западной Украине величали униатских священников.

тор университета имени Ивана Франко Казакевич».

Герета оглянулся. Богдан из захристья ушел. Лишь слышно было, как шаркает метла в опустевшей церкви. Как всегда после службы, дьячок подметал деревянный пол.

— Вот тебе и свадьба! А все так хорошо складывалось! — зло прошептал Роман. Он задумался, дробно постукивая пальцами по ясеневому комодику. Потом достал из-под реверенды залоснившийся от времени бумажник, перетянутый резинкой, аккуратно спрятал в него телеграмму, адресованную Иванне. Свою же поднес к пылающей свече и поджег. Он напряженно следил, как горит телеграмма, как свертывается, чернея, в его тонких пальцах, превращаясь в быстро седеющий пепел. Опытным, сноровистым движением он растер пепел в порошок на том самом подносе, где подсчитывал выручку дьячок, и кликнул:

— Богдане!

— Недобрые вести, пане богослов? — спросил участливо дьячок.

— К вечерне не буду, Богдане, — сказал Герета, думая о другом. — Предупреди отца Теодозия. И, быть может, завтра к тихой заутрене тоже не поспею. Срочные дела.

АНОНИМКА

Капитан Журженко, шагая утром следующего дня по знакомой улице Дзержинского, не знал, конечно, что накануне в бюро пропусков областного управления Наркомата государственной безопасности УССР вошел никому не известный человек. Стараясь не обращать на себя внимания вахтеров, он опустил в большой дубовый ящик для заявлений конверт.

Письмо сразу же дошло до начальника управления, старшего майора государственной безопасности Самсоненко. Тот, в свою очередь, передал его начальнику одного из отделов Садаклию.

Садаклий, уроженец старинного местечка Скала Подольская, расположенного поблизости бывшей государственной границы Польши с Советским Союзом, не один год занимался подпольной работой. На сопредельной,

тогда еще польской, стороне он выполнял многие важные задания, предупреждающие действия врагов против Советского государства.

После освобождения Львова Садаклий стал работать в аппарате областного управления Народного комиссариата государственной безопасности, и опыт бывшего подпольщика-революционера, хорошо знающего местные условия, помог ему распутать не одну сложную комбинацию.

Порученное ему сегодня дело выглядело довольно странным. Раздумывая над письмом, он почувствовал в нем какую-то фальшь.

На листке, вырванном из школьной тетради, изготовленной на львовской фабрике «Светоч», каллиграфическим почерком по-украински было выведено:

«Зря вы, товарищи с востока, держите за решеткой наших хлопцев из Водоканалтресту, то простые мачорды и в политику никогда не вмешивались. Их любимое занятие по кабакам шалаться да танчить. А бомбуто в жен ваших командиров бросил по наущению инженера Журженко совсем другой человек, который удрал сейчас через «зеленую границу» до Кракова. Инженер Журженко, чтобы замести следы, надел военную форму и сейчас строит укрепления в Тулиголовах над Саном, а по ночам передает сведения об этих укреплениях гитлеровскому абверу.

Симпатик Советской власти»

А меж тем личное дело Ивана Журженко, затребованное Садаклием из Водоканалтреста, решительно опровергало анонимные наветы неизвестного «симпатика».

Комсомолец ленинского призыва 1924 года. Был одним из активистов городской комсомольской организации, кандидатом в члены бюро Каменец-Подольского окружка комсомола. Член ВКП(б) с 1932 года. Успешно окончил Силикатный институт имени Карла Либкнехта в Каменец-Подольске и направлен на работу в освобожденный Львов. Самые лучшие характеристики.

Как мог враг так легко затянуть его здесь в свою паутину?

Автор анонимного письма был, несомненно, галичанин. Уроженцу надднепрянской Украины несвойственно выражение «симпатик». И потом — откуда рядовому обывателю, даже «симпатику Советской власти», известно слово «абвер»? Да, письмо написал именно галичанин. Но для чего?

Участники задержанной националистической «боевки», бывшие служащие Водоканалтреста, действительно были выпивохами — мочемордами. Большую часть свободного времени они проводили в различных кабаках на окраинах Львова. Однако это не помешало им — Садаклий имел точные сведения — устраивать за пивными столиками тайные явки и встречи с курьерами, прибывающими через «зеленую границу» из той части Западной Галиции, где стояли сейчас гитлеровские войска.

Садаклий полистал еще раз дело, посмотрел анонимное письмо на свет. Он взялся за трубку, чтобы позвонить начальнику Особого отдела того укрепленного района, где служил сейчас Журженко, когда раздался звонок по внутреннему телефону.

Положив трубку аппарата, Садаклий взял другую. Вахтер снизу докладывал, что капитан-инженер Журженко просит выдать ему пропуск к уполномоченному по особо важным делам.

«Странное совпадение», — подумал Садаклий и тут же решительно сказал в трубку:

— Дайте пропуск!

Визит был сверхнеожиданным.

Садаклий открыл несгораемый шкаф и бережно положил на одну из его полок личное дело инженера Журженко и анонимное заявление, разоблачающее капитана как опасного, умного врага.

Журженко спокойно вошел в кабинет и поздоровался.

Особая работа, которую годами вел Садаклий и в подполье и в органах безопасности, научила его почти безошибочно распознавать людей с первого взгляда, разгадывать их скрытую жизнь, потаенные планы, улавливать самую простую, безобидную хитринку.

В кабинет уверенно вошел высокий человек, загоре-

лый, статный, с прямым, открытым взглядом чуть раскосых, устремленных на собеседника добрых зеленоватых глаз. Сразу было видно: вошел свой человек.

Волнуясь, рассказывал Журженко майору, как обманули Иванну, как солгал Каблак, рассказал и о своей промашке, допущенной в кабинете ректора. Когда он назвал Зенона Верхола, Садаклий насторожился.

Оуновский террорист Лемик, убийца секретаря советского консульства во Львове Андрея Майлова — друга семьи Дзержинских, был выпущен гитлеровцами из тюрьмы и находился где-то на нелегальном положении. Кто знает, быть может, в эту самую минуту он бродил по улицам Львова, проживая тут по чужим документам? Его старый сообщник Зенон Верхола мог навести на след Лемика.

...— Ну и что с того, что Иванна дочь попа? — меж тем горячо доказывал Журженко. — Наша задача — отрывать молодых людей от чужой среды, перевоспитывать их и, если они искренне хотят учиться, помогать им!

Садаклию все больше и больше нравился этот капитан с его страстностью, с глубокой заинтересованностью в судьбе несправедливо обиженной девушки из Тулиголов. Он и сам всегда помогал людям и глубоко уважал тех, кто не оставался равнодушным к человеческому горю. Тем более когда обида, нанесенная человеку, могла вызвать недовольство советской властью.

Но, с другой стороны, он не имел права забывать об анонимном письме.

— Скажите, Журженко, есть у вас личные враги? — спросил внезапно Садаклий и потер эмблему с мечом на рукаве гимнастерки.

— А у кого их нет? — как-то застенчиво улыбнувшись, ответил Журженко. — Когда стремишься честно служить делу, отдавая ему душу и сердце, враги всегда найдутся. Много ведь всякой дряни еще вокруг нас, особенно здесь. Возьмите, например, вот эту историю со Ставничей. Только врагам было выгодно натравить ее на нас!

— Пятерка националистов при вас была арестована?

— При мне.

— Что вы думаете обо всей этой истории со взрывом гранаты?

— Фашистская работа! Чистой воды!
— Могли подготовить этот взрыв те пятеро?
— Кто его знает? — капитан задумался. — Веками иезуиты и церковь воспитывали в Западной Украине в людях двурушничество. Голуб хорошо сказал: «У нас, брате, тутай есть такие люди, что днем на Карла Маркса молятся, а по ночам бегают к митрополиту руку целовать».

— Подмечено точно, — сказал Садаклий. — А кто такой этот Голуб? Очень знакомая фамилия!

— Бригадир треста. Славный старик. И гордый. Настоящий человек. Революционер-подпольщик.

— Вы мне так и не ответили: могли эти пятеро подготовить взрыв?

— Все возможно. После истории с Каблаком я допускаю и такое. Какими чистыми глазами глядел он на ректора, когда говорил, что впервые видит Ставничую! Говорил и нагло врал. Он видел ее не раз и до университета, когда приезжал ловить рыбу на Сан к ее жениху в соседнее село Нижние Перетоки.

— У нее есть жених? — заинтересовался Садаклий. — Почему же вы мне раньше этого не сказали?

— Есть, конечно. Богослов один. Роман Герета.

Видимо что-то припоминая, Садаклий пристально посмотрел в угол комнаты, где чернел несгораемый шкаф, потом встал.

— Спасибо, товарищ капитан, что зашли. Действительно, история загадочная, но дело даже не в ней, а в том, что вы помогли нам установить ее связь с людьми, которые нас весьма интересуют. Когда вы возвращаетесь в Тулиголовы?

— Сегодня. Ночным поездом.

— В случае чего мы свяжемся с вами через Особый отдел укрепленного района. Дайте, пожалуйста, ваш пропуск...

Журженко пришел на Главный вокзал, или Глупый двожец, как его еще называли многие по старинке, когда уже стемнело. В ожидании поезда он прохаживался под высокими стеклянными сводами. В ларьках на перронах появилось уже много советских продуктов, завезенных сюда в изобилии из Киева и Москвы, — видне-

лись баночки со шпротами, невиданные здесь доселе крабы, папиросы «Герцеговина Флор» и «Северная Пальмира».

К первому перрону подошел пригородный поезд из Перемышля. Будь капитан поближе к паровозу, он увидел бы, как с чемоданчиком в руках, в легком кремовом пыльнике из первого вагона выскочила на перрон Иванна.

Но как раз в то время, когда Ставничая быстрыми шагами пересекла перрон и спускалась вместе с другими пассажирами в туннель, Журженко повернулся спиной к поезду. Дневной зной еще не развеялся, и капитану очень хотелось пить. Он подошел к будке, из стены которой торчали краны с кипятком и холодной водой. Рядом, обдавая паром пустеющий перрон, весело прогудел паровоз.

Гудок паровоза и заглушил одиночный выстрел из пистолета, пуля которого настигла Журженко в ту самую минуту, когда он открывал кран.

Почувствовав острую, жалящую боль в ноге, он рухнул лицом под струю льющей воды.

Облако паровозного пара скрыло от взглядов пассажиров убегающего между составами Зенона Верхолу. Старый террорист снова перешел на нелегальное...

«ТУДА ЗАХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!»

Иванна быстро шла к Юльке. Зачем подружка звала ее срочной телеграммой?

Цимбалистая жила на квартире, или, как говорят во Львове, «на станции», у одинокой старушки пенсионерки, в прошлом учительницы польского языка, пани Уршули. Маленький домик пани Уршули, окруженный густым боярышником, находился в предместье Кульпарков, поблизости от аэродрома. Гул самолетов нисколько не мешал Юле изучать анатомию и читать учебники по судебной медицине.

Иванна была крайне удивлена, когда ей навстречу вынырнула из-за кустов высокая монахиня. Ставничая сперва не узнала их недавнюю гостью на заручинах, мать Моника, и, вздрогнув, отпрянула в темноту. Монахиня, крадучись, приблизилась к Иванне и прошептала:

— Не бойся, Иванна, то я. Туда заходить нельзя.

Когда они перешли на другую сторону улицы, Моника, показывая на домик учительницы, властно повторила:

— Туда заходить нельзя! Засада! Понимаешь — «пулапка». Меня прислала за тобой игуменья Вера. Пойдем...

— Но ведь я получила от Юльки телеграмму!

— Боже, какое глупое дивча! — пожимая высокими, острыми плечами, выпирающими из сутаны, прошипела Моника. — Телеграмму за ее подписью мог дать любой чекист. Понимаешь? А если ты зайдешь туда, — она показала на домик, — впаднешь. Пойдем скорее...

Запыхавшись, они остановились у кованной железом высокой брамы женского монастыря сестер ордена святого Василия. Моника по-хозяйски дернула за круглое тяжелое кольцо у двери, и где-то в глубине послышался звонок. Изнутри через глазок выглянула дежурная монахиня и, увидя Моника, тихонько раскрыла дверь.

— Игуменья ждет вас, мать Моника, — сказала монахиня, почтительно кланяясь и пропуская их.

Когда, поднявшись вслед за Моникой по скрипучей дубовой лестнице на второй этаж, Иванна вошла в келью игуменьи, она не поверила своим глазам. Игуменья сидела в мягком, удобном кресле, упираясь в его поручни пухлыми, дородными руками, а по комнате расхаживал Герета.

— Ромцю, вы здесь? Что это за комедия? — воскликнула Иванна.

— Я был бы очень рад, если бы все это обернулось только комедией! — торжественно и вместе с тем с наигранной грустью сказал Роман. — Дело куда серьезнее, Иванна!

— Да не томите душу! В чем дело?

— В любую минуту вас могут арестовать! — с еще большей торжественностью заявил Роман.

— Меня? — Иванна засмеялась. — Да что я такого сделала?

— Случилось то, чего мы так опасались. Ваш любезный квартирант не забыл ни скандала, который вы закатили во время обручения, ни резких слов, запальчиво выкрикнутых вами по адресу советской власти. Он на-

писал на вас донос в энкавэдэ. Делу уже дан ход. В квартире Юльки засада: вас поджидали чекисты.

— Чекисты? Но ведь это дитеняда¹. Они могли с успехом арестовать меня в Тулиголовах, а не вызывать сюда!

— В Тулиголовах ваш арест мог бы вызвать возмущение местного населения. Вас все знают, вы дочь любимого многими пастыря, а здесь, во Львове, все можно сделать шито-крыто!

— Матерь божья! — воскликнула Иванна. — Откуда же вам все это известно?

— Свет не без добрых людей. И далеко не все те, кто кричит сейчас: «Хай жить Советы!» — любят их...

— Нет... Мне трудно поверить... Ромцю, скажите, вы шутите?

— Такие шутки у них называются антисоветской агитацией, — резко, голосом скрипучим и властным, бросила игуменья. — Так, впрочем, ваш квартирант и написал в своем доносе...

— Разве я сказала что-нибудь особенное? Какая же это свобода?!

— Чего еще вы, Иванна, можете ждать от людей, потерявших веру в бога? — мягко сказал Роман. — У них нет благородства, все они черствые материалисты... А вы еще...

— Договаривайте!

— Вы сердце ему открыли и своих же людей выдали!

— Да как вы смеете! Каких это «своих»?

— Ну, хотя бы Зенона Верхолу! — Герета испытующе посмотрел в темные и глубокие глаза невесты.

— Ну, знаете! — возмутилась Иванна. — Это клевета! Мое отношение к этому пройдисвиту² вам давно известно. Удивляюсь только, как могли вы с ним дружить! Но ничего о нем я капитану не говорила. Ни одного слова! Доносчицей я никогда не была и не буду!

— Вы правду говорите, Иванна?

— Конечно, правду!

¹ Сказочка для детей.

² Авантюристу, подонку.

— И капитан ничего не расспрашивал вас о Верколе?

— Решительно ничего! — отрезала Иванна. — Да он его совершенно не знает!

— Странно... — Роман задумался. — И вы можете присягнуть, что говорите правду?

— Чистую правду! Христом-богом клянусь! — горячо сказала Иванна.

Роман укоризненно покачал головой.

— Не поминайте имя господа бога нашего всеу, кохана Иванна. Я вам поверю и так. А веря, предостерегаю: дело очень, очень плохо. И отцу Теодозию оно сулит большие неприятности. И мне. И вашей подруге Юльце...

Совсем растерявшись, Иванна доверчиво посмотрела на жениха.

— Спасибо вам, Романе... Спасибо... Как же мне теперь поступать?

Тоном приказа Герета сказал:

— Давайте условимся: для всех окружающих вы уехали в Киев. Искать правды и добиваться приема в Киевский университет. Мы немедленно распустим слух об этом. Перед отъездом вы окончательно порвали с отцом, который вас туда не пускал, как и во Львовский университет, и был против вашего отъезда. Это выгорживает отца и спасает его от возможного ареста. Понятно? А вы на ножи пошли с отцом, остро поспорили! И, уехав, никому не оставили своего адреса...

— Позвольте, — перебила его в недоумении Иванна, — я не...

Герета резко махнул рукой, прерывая невесту, и продолжал:

— В остальном положитесь на мать игуменью и сестру Монику и поблагодарите их за спасительное для вас гостеприимство...

САДАКЛИЙ ИДЕТ ПО СЛЕДУ

На следующее утро среди коленопреклоненных монашек в закрытой монастырской церкви лишь очень опытный глаз мог бы обнаружить Иванну. Длинная, до

пят, сутана и белый головной убор не узнаваемо изменили ее.

Вместе с другими монашками повторяла она слова молитвы:

— «Мы припадаем сегодня пред твоим жертвенником с любовью и послушанием, пред твоим наместником здесь, на земле, святейшим отцом Пием, папой римским, чтобы умолять тебя и доложить тебе о всех неисчислимых обидах, нанесенных твоему святому имени, о всех беспримерных богохульствах и ослепленной ненависти и твоим святым правдам...»

Иванне казалось, что и о нанесенной ей тяжелой обиде говорится в тягучей молитве, которую читали монашки во главе со стоящей впереди игуменьей Верой. Время от времени игуменья поднимала пухлую руку, как бы дирижируя.

...В то же утро капитан Садакий был вызван к начальнику управления Самсоненко. Когда он прошел в кабинет начальника сквозь тамбур из двух соединенных дверей, издали напоминающих обычный платяной шкаф, то сразу почувствовал: будет разнос!

Самсоненко нервно ходил по залитому солнцем кабинету. Не успел Садакий приблизиться, как начальник круто повернулся:

— Что же это вы, батенька, а? Размякли под львовским солнцем? Подозреваемый в шпионаже и терроре капитан Журженко, оказывается, вчера сам был у вас, а вы подписали ему пропуск и выпустили такую птицу на свободу? Как понимать такой гуманизм?

— Не всякий подозреваемый в шпионаже и терроре является шпионом и террористом, — спокойно ответил Садакий.

— То есть как это? — опешил Самсоненко. — А письмо, которое я вам передал?

— Товарищ начальник, а если завтра придет анонимное письмо, что вы родной сын австрийского императора Франца-Иосифа Габсбурга, я тоже должен верить такому письму?

Садакий мог позволить себе такую вольность, потому что уже хорошо изучил отходчивый, хотя и очень вспыльчивый временами, характер начальника управления.

Тот удивленно посмотрел на Садаклия и слегка улыбнулся.

— Короче говоря, вы берете на себя полностью всю политическую ответственность за доверие к Журженко?

Садаклий минуту помолчал и потом сказал глухо:

— Беру, товарищ старший майор!

В это время открылась дверь «шкафа» и оттуда быстро вошел с бумагой в руке дежурный по управлению.

— Сводка происшествий за ночь, товарищ начальник.

Самсоненко взял листок бумаги и стал просматривать его.

Привыкнув к перечислению грабежей и пьяных драк в этом городе, который совсем недавно стал советским, он читал торопливо. Но вдруг словно споткнулся — дважды перечел одно сообщение. Сморщив лоб, почесал затылок и уже вслух прочел:

— «Восемнадцатого июня в 22.00, после прихода пригородного поезда из Перемышля, возле кипятильника Главного вокзала найден тяжело раненный в ногу навилет из огнестрельного оружия неустановленного образца капитан военно-инженерных войск Красной Армии Иван Тихонович Журженко. Злоумышленника задержать не удалось. Раненый находится на излечении в больнице по улице Пиаров».

Самсоненко взглянул на Садаклия и сказал примирительно:

— Вот так штука! Не свалили анонимкой, так уложили пулей. Действуйте, товарищ Садаклий. Быстро!

Отправив две оперативные группы — одну в университет, другую в общежитие, где, по наведенным им уже справкам, проживал Верхола, Садаклий вызвал машину и поехал в больницу по улице Пиаров. Ему оставалось завязать пояс у халата, когда в кабинет главного врача позвонил оперативный уполномоченный, посланный в университет, и доложил, что нигде в аудиториях Верхолы нет. Через несколько минут из общежития на улице Кутузова также раздался звонок: со вчерашнего вечера студента Зенона Верхолы никто из его соседей по комнате не видел. Кровать не тронута. Все его личные вещи унесены.

ВИЛЛА «ФРАНЗУВКА»

Одна из самых живописных улиц Львова — улица Двадцать девятого листопада — соединяла центр города с предместьем Кульпарков. Некогда на этой улице жили в основном офицеры привилегированных частей польского воздушного флота. В предвоенное лето здесь находился дом, который, как было известно еще тогда, стал крупнейшим центром гитлеровского шпионажа на Западной Украине.

Прежде чем подойти к этому дому, надо было миновать немало уютных домиков и вилл, укрытых золотистыми кленами, лапчатыми каштанами и плакучими ивами. По стенам вилл тянулся кверху глянцеви́тый плющ, дикий виноград и китайские розы.

Жители улицы Двадцать девятого листопада в то лето часто видели на ее мостовой длинный черный «супер-адмирал» с фашистским флажком на радиаторе. Немецкая машина проносилась по самой благоухающей улице Львова и заезжала во двор виллы «Франзувка», стоящей в глубине большого палисадника. Над воротами у въезда в виллу висел флаг гитлеровской Германии с черной свастикой. Но самое удивительное заключалось в том, что под этим флагом медленно расхаживал постовой советский милиционер. Сейчас просто даже странно вспомнить все это, но так было в то трудное, многим непонятное, насыщенное международными противоречиями предвоенное лето. Граница наших государственных интересов с гитлеровской Германией проходила по Западному Бугу и Сану. Мы вынуждены были, чтобы оттянуть неизбежное в конце концов нападение вооруженного фашизма, вести мирные переговоры с отъявленными гитлеровцами. И вилла «Франзувка», времен но предоставленная германской комиссии по переселению немцев с Волыни и из Галиции, по договору с гитлеровским правительством стала обиталищем фашистов.

Цели работы комиссии внешне выглядели невинно. Но работники органов государственной безопасности отлично знали, что переселение немцев с советских территорий использовано фашистами как прикрытие, или, как говорят разведчики, «крыша». На самом же деле видные чиновники немецкой империи, приехавшие пересе-

лять от нас своих соплеменников, торопились развернуть в преддверии войны тайную агентурную сеть шпионажа на Западной Украине.

Хорошо знал об этом и Садаклий, которому не раз приходилось парировать попытки немецких разведчиков узнать наши военные тайны, и в частности линию военных укреплений на западной границе.

В то лето я жил через два дома от виллы «Франзувка». Всякий раз, видя машину с фашистским флажком, я испытывал чувство отвращения.

В дневнике отца Теодозия тоже упоминалось о вилле «Франзувка». Оказывается, Каблак поддерживал связи с обитателями виллы, чем откровенно хвастался в кругу пьяных собутыльников, когда во Львов ворвались немцы. . .

В памяти сразу возникло то жаркое лето, толпы людей у решетчатой ограды виллы, бумажки о розыске родственников, приколотые шипами японской акации к стволам тенистых каштанов. Комиссия переселяла за Сан не только немцев. По ее ходатайствам могли вернуться к своим семьям застигнутые войной в Западной Украине жители центральных районов Польши и даже, как это ни кажется теперь чудовищно, лица еврейской национальности. Своими собственными глазами видел я в то предвоенное лето группки евреев, с раннего утра толпящихся у ограды виллы «Франзувка», добивающихся приема в фашистской комиссии, и всякий раз мне делалось страшно, когда я наблюдал это сочетание глупости и жадности к наживе. Конечно, получая документы с фашистскими печатями на выезд, они не знали тогда, что едут на верную смерть, за колючую проволоку лодзинского гетто, в газовые камеры Освенцима и Треблинки, в крематории Дахау.

О вилле «Франзувка» рассказывал мне впоследствии и Голуб. Бригадиру Голубу по роду его работы частенько приходилось бывать на улице Двадцать девятого listopada. Как-то он задержался у дерева с объявлениями, прислушиваясь к оживленному гудению голосов, а потом тронул за локоть какого-то почтенного, благообразного мужчину в длинном пальто, напоминающего раввина или цадика из талмуд-торы.

— А тебе, пан, тоже до Гитлера захотелось? — спросил миролюбиво Голуб.

— Ну, захотелось, а что? — сказал, озираясь, старик в лапсердаке.

— Да хибя же тебе, старому, здесь, под Советами, плохо? Веру твою или нацию кто забирает?

— Пане, Советы торговать не дают, а на той стороне частная торговля, можно лавочку свою открыть.

— Лавочку? — Голуб опешил. Не сразу дошел до него страшный в своей обнаженности смысл слов ослепленного старика. — Эх ты, дурная голова! Да вас всех Гитлер там, за Саном, сперва оберет, затем обстрижет, а потом на мыло пустит. Вот тебе и весь твой гандель!¹

— Иди, пан, гуляй своей дорогой! — цыкнул на Голуба какой-то франт, в сапогах «англиках» с высокими задниками и в брюках «бричесах». — Ты здесь агитацию против Германии не разводи, а то милиционеру сдадим.

— Милиционеру? — взъярился Голуб, и рука его, тяжелая, мозолистая, крепко сжала рукоятку разводного ключа. — Это мой милиционер, понимаешь? За то, чтобы он ходил по Львову, я в тюрьмах панских гнил! А вот поглядим, как вас там гитлеровские полицаи примут... Тьфу! Вот олухи дурные! — и Голуб в сердцах плюнул.

«ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ»

Он сделал всего несколько шагов, как столкнулся со знакомым подмастерьем из слесарной мастерской треста. Маленький, замурзанный, в синей спецовке, тот бежал обедать домой, на Кульпарков, и на ходу, так, словно это была обычная новость, крикнул:

— Дядько Голуб! Чулы? Инженера нашего подстрелили!

— Постой! — Голуб придержал хлопца за рукав. — Какого инженера?

— Да Журженко! Ивана Тихоновича! Того, что в войску служил. На вокзале его раненого нашли...

Голуб побледнел, вспомнив последнюю встречу с капитаном и свой ему совет посетить серый дом на улице Дзержинского.

¹ Торговля.

Растревоженный, погруженный в свои мысли, он чуть не наступил на ногу идущему навстречу просто одетому мужчине. То был Каблак.

Каблак чувствовал, что у него земля начинает гореть под ногами. Он выглядел сегодня совсем иначе, чем в университете. Плохонький, поношенный пиджак с заплатами на локтях, сорочка-вышиванка. Сквозь клинышек расстегнутого воротника на волосатой груди поблескивал серебряный крестик. На ногах у Каблака были уже стоптанные сандалеты, клетчатые модные «пумпы», или брюки гольф, он сменил на будничные полотняные штаны. Прикидываясь добродушным, наивным растяпой, Каблак подошел к постовому милиционеру и почтительно снял кепку.

— Пανε товарищу! У меня сестра родная залышилась на той стороне. У Кросно. Мучается, бедолага, с тремя детьми. Украинка. Я бы хотел сюда ее спровадить. Кажут люди, есть тут какая-то комиссия.

— Отуточки комиссия! — показал милиционер на виллу «Франзувка».

— А те паны дозволят моей Стефце перебраться на советскую сторону?

— Кто их знает! Запытайте.

— Кого... Немцев? — притворно ужаснулся Каблак.

— Ну да. Наведут справки.

— Воны ж фашисты! Разве можно советскому человеку розмовлять с ними?

Милиционер покровительственно пояснил:

— По такому делу разрешается. Даже нужно. Чем больше мы своих людей, украинцев, перетянем оттуда, от них, на советскую сторону, тем лучше. У нас же договор с немцами. Давай, хлопче, иди! — и он открыл калитку.

Каблак осторожно, как по ковру, прошел по заросшему травой двору и поднялся в вестибюль виллы.

Дежурный фельдфебель в форме вермахта поднялся ему навстречу.

Оглянувшись, Каблак быстро сказал по-немецки;

— Я по срочному делу к господину Дитцу! Доложите!

Едва он переступил порог кабинета с большим портретом Адольфа Гитлера на стене, рассерженный до-

нельзя гитлеровец в элегантном сером костюме бросился к нему навстречу.

— Идиот! Я же раз и навсегда запретил вам появляться здесь. Только на конспиративной квартире. Понимаете?

— Господин Дитц!

— Ваше появление здесь равносильно провалу! — разгневанный Дитц посмотрел в окно на шагающего за оградой милиционера.

— Я уже почти провален, пане шеф, — сказал смиренно Каблак, — и потому прошу выдать мне пропуск на легальный выезд до Кракова... Там формируется батальон Степана Бандеры «Нахтигаль». Лучше я буду в том батальоне, чем в советской тюрьме.

— А если я не выдам пропуска?

— Воля ваша! Однако теперь, когда каждую минуту меня могут схватить, я не могу держать при себе эти ценные документы!

Каблак достал из-за пазухи перевязанный носовым платком пакет и положил его на дубовый письменный стол.

— Несколько смягчась, Дитц спросил:

— Что это?

— То, что пане шеф поручили мне добыть! — не без бахвальства сказал Каблак. — Это новые советские укрепления на участке между Сокалем и Владимиром-Волынским. — Каблак намеренно затянул паузу. — Кроки их составлены с большим риском. Вся агентура по селам на линии Западного Буга набрасывала и уточняла эти данные. Двух наших боевиков особисты на месте хлопнули.

Дитц развязал платок и не без удовольствия стал рассматривать кроки укреплений.

Потом спрятал пакет в сейф.

— Ну, хорошо, герр Каблак. Я бы, конечно, не советовал вам уезжать отсюда именно в такое ответственное время, но если вы чувствуете приближение опасности... Да, а кто же в таком случае будет освещать район Нижних Перетоков?

— У меня был гость оттуда. Лицо духовное и вне всяких подозрений. А в помощь ему я отправил Верхолу. Он тоже оттуда. Нелегал и знает, как связаться с вами.

В случае моего отъезда вы будете получать от них информацию на условленной явке.

— Хорошо! Слушайте внимательно, Каблак. Передайте краевому руководству украинских националистов в «Закерзонье»: поддерживать прямую связь с нами можно не только через меня. По Западной Украине кроме моих референтов по переселению разъезжают сейчас наши чиновники, которые руководят раскопками и отправкой в империю трупов немецких солдат и офицеров, павших в недавних боях с поляками. Сообщите, что это наши люди. Пусть тайно связываются с ними. Любая информация, переданная им, будет немедленно переслана центру.

— Понимаю, господин Дитц!

— Новые доты вооружаются?

— Большинство укреплений от Полесских лесов до Перемышля уже в основном готово к приему орудий тяжелых калибров и другого вооружения. Наша агентура из Тернопольщины сообщает, что Советы начали демонтировать старую линию укреплений за Збручем и Днестром и скоро перевезут вооружение сюда. Орудия демонтированного укрепленного района в Каменец-Подольске уже погружаются на платформы.

— Мешать! Всеми силами! Любыми способами, включая диверсии! — Дитц стукнул кулаком по дубовому столу. — Дайте такую команду агентуре. Мы заплатим.

— К сожалению, одними нашими силами...

— Какие еще вам силы нужны?

Желая доставить приятное Дитцу, Каблак по-военному щелкнул каблуками и отчеканил:

— Доблестные вооруженные силы Третьей империи, пане шеф!

— Ну, вы... Не вашего ума это дело... А куда вы подевали эту девицу, из-за которой у вас в университете, как это говорят русские, «сыр и брот зажигался»? Когда я был на именинах у доктора Панчишина, митрат Кадочный рассказал мне ваш план.

— Мы спрятали ее в надежном месте.

— С сердобольным капитаном, надеюсь, покончено?

— К сожалению... — Каблак замаялся. — Он только ранен. Верхола промахнулся...

В БОЛЬНИЦЕ

Пуля пробила кость правой ноги капитана Журженко. Кроме того, падая, он сильно ударился о медный кран кипятильника. Под глазом лиловел огромный синяк, точно у боксера после жестокой схватки на ринге. Осунувшийся, небритый — совсем иной человек — смотрел на Садаклия. На тумбочке у кровати стоял кувшин клюквенного морса, букет цветов в вазочке, лежали книги.

— То, что Каблак с Верхолой улизили, лишний раз подтверждает наши предположения. С ними вопрос ясен, — рассказывал Садаклий. — То гуси меченые. При том с большими хвостами. Такие визитные карточки побросали — ой-ой-ой! Но не хватает другого звена...

— Их сообщников?

Садаклий встал, выглянул в коридор, не подслушивает ли кто, и, вернувшись, сказал тихо:

— Иванны Ставничей.

— Так за чем дело стало? — удивился капитан. — Вызовите ее сюда или пошлите за ней машину в Тулиголовы.

— Иванна исчезла. Бесследно. Понимаете? Кто-то вызвал ее сюда ложной телеграммой, якобы подписанной Юлей Цимбалистой. Юля этой телеграммы не отправляла... А вот и она, легка на помине!

— Скандал, товарищ капитан! — воскликнула Юлька, вбегая в палату. — Еще гости пришли. Нагорит же мне за вас от главного врача!

— Послушайте, Юля, — остановил медсестру Садаклий, — вы твердо убеждены, что если бы Иванна собиралась уехать в Киев, то забежала бы к вам?

— А как же! — поправляя пояс белого халата, сказала Цимбалистая.

— В университет она не могла пойти? — спросил Журженко.

— Какой там ночью университет? — возразила Юлька. — Она приехала за несколько минут до того, как в вас стреляли!

Из-за спины Цимбалистой, делая знаки Журженко, неслышно, на цыпочках, вынырнул Голуб с букетом бе-

лых лилий и пакетом. Из него вызывающе выглядывало горлышко винной бутылки. Цимбалистая оглянулась:

— А кто вам дал право, дядьку, без спросу заходить? Я же сказала: почекайте там, в приемном покое! И как вы прошли сюда? Дверь же закрыта!

— Який там спрос? Ты меня в дверь не пустишь, так я водопроводной трубой пролезу. Я ж старая крыса из львовских каналов!

Журженко, заметив, что Садакий пристально разглядывает Голуба, сказал:

— Знакомьтесь, товарищи! Это мой сослуживец, бригадир Голуб, а это...

Как бы предупреждая пояснение капитана, Садакий поднялся и, протягивая руку Голубу, сказал с легкой добродушной усмешкой:

— Вообще-то мы виделись, но, если старых знакомых не признают, можно познакомиться и вторично.

Голуб опешил:

— Бачились? Де саме?

— Садитесь, Панас Степанович, — предложил Журженко. — А вы, Юльця, не сердитесь. Это свой человек!

— Какая же это холера бисова коцнула вас, инженер? — спросил Голуб. — Добре, ще не в голову.

— А я предупреждала капитана, — вмешалась Юлька, — с националистами связываться опасно. У них длинные руки. А он смеялся.

Переводя взгляд на Садакия, Голуб спросил:

— Где же мы с вами могли видаться, товарищ? Ума не приложу. Лицо будто бы знакомое... Вы по какой отрасли работаете?

— Да как бы вам объяснить? — Садакий незаметно подмигнул капитану. — В украинском тресте «Саночистка»! Знаете, есть такая институция?

— В «Саночистке»? — заволновался Голуб. — Так это, считай, одно хозяйство с нами! А я в Водоканалтресте, там, где и инженер до армии работал. Мы с вами, мабуть, у трести и встречались?

— Возможно, — спокойно согласился Садакий. — А еще был у нас с вами, товарищ Голуб, один общий знакомый, некий пан Заремба. Не забыли вы его?

— Какой Заремба? — насторожился Голуб. — Луцкий?

— Он самый. Тот, что любил в тюрьме на допросах заключенным в нос скипидар лить и почки отбивать.

— Ой, лышенько! — воскликнул Голуб. — Так вы ж тоже привлекались по Луцкому процессу! В 1934 году. Теперь я вас вспомнил. Только фамилию забыл.

— А фамилии у меня и не было. Я по псевдо проходил. Ворожбит мое псевдо было. Как ни выбивали из меня те каты Зарембины фамилию, так и не выбили.

Голуб вскочил.

— Ворожбит? Як же я, старый пентюх, не признал вас одразу? Правда, в луцкой тюрьме у вас еще чуприна пышная была.

— Была, да сплыла! — сказал, усмехнувшись, Садак-лий и горестно провел пальцами по выпуклой, глянцеви-той макушке. — Одно декольте осталось. . .

— Нас в одно время допрашивали, — обращаясь к Журженко и Юле, объяснил Голуб. — Палачей набежало в кабинет Зарембы, когда Ворожбита и меня мордовали! Целая стая.

— Значит, вы старые побратимы? — спросил Журженко, наблюдая за встречей двух старых подпольщи-ков.

— Еще какие! — гордо сказал Голуб. — Кто перетер-пел Луцк, тому уже никакая сатана в жизни не страшна.

— Саям алейкум! — послышался голос нового по-сетителя. В палату ворвался Зубарь.

— Еще один! Горе мени буде! — притворно ужасну-лась Юля. — А вы-то как сюда попали?

— Сторож красный семафор поднял, не пускает, хоть плачь. Ну, я выяснил обстановочку, разведал поле боя и перемахнул через забор!

ГРОМ КАРЫ БОЖЬЕЙ

Тревожный лай собаки разбудил Ставничего перед рассветом. Отодвинув засов, он вышел на крыльцо.

К нему сразу бросилась, виляя пушистым хвостом, большая черная карпатская овчарка с белой подпалиной на боку.

— Ты чего, Жук, волнуешься и спать не даешь?

Но добродушный голос священника не успокоил со-баку. Повизгивая, словно чуя недоброе, она лизала ноги

Теодозия и скулила, то и дело припадая к земле. Уже начинало светать, и на фоне бледнеющего неба хорошо выделялся силуэт деревянной церкви.

Ставничий насторожился. Он услышал резкие, гор-
танные выкрики на сопредельном берегу, среди них ясно
различимый крик «Файер!», какие-то звонки, и вдруг
лицо его озарил отсвет орудийного залпа.

— Свят, свят, свят! — прошептал священник, слыша,
как завывли снаряды, идущие над его головой. И подум-
мал: «Неужто война?»

С грозным нарастающим воем снаряды пролетали
над священником, послышался гул бомбовозов, летящих
на восток с немецкой стороны. Близко разорвался сна-
ряд. Ставничий присел, закрыл лицо руками, в ужасе
перекрестился.

В это время другой термитный снаряд врезался в ко-
локольню церкви и сразу же поджег ее.

Багровый отсвет вспыхнувшего пожара заплясал и
на стенах хатки дьячка Богдана. Там в ожидании оче-
редной встречи с Верховой заночевал Герета. Грохот
орудийной канонады разбудил его, и он, полуодетый, вы-
скочил во двор. Пушечные залпы и вспышки близких
разрывов освещали лицо Гереты. С надеждой глядел он
на запад, откуда была по советской земле немецкая ар-
тиллерия. Не скрывая радости, богослов осенял себя
крестным знаменiem.

— Началось! Слава тебе, Иисусе! С нами бог! —
шептал Герета пересохшими губами.

Горизонт над Саном, застилаемый дымом пожаров,
розовел все больше. На правой окраине Тулиголов, поч-
ти примыкающей к Нижним Перетокам, расползлось
заревое пожара, оттуда доносились тревожные звуки цер-
ковного колокола. Сообразив, что горит приходство
Ставничего, Герета натянул черную реверенду и по-
мчался к своему будущему тестю.

Как черная зловещая птица, перескакивая на бегу
канавы, стуча подошвами по настилам кладочек и мо-
стиков, приминая бурьяны, мчался Герета в Тулиголовы,
простоволосый, длинный.

Крестьяне вытаскивали из хат сонных детей, спуска-
лись в подвалы. Пробежали, сжимая винтовки и авто-
маты, полуодетые пограничники, занимая места в за-

пасных окопах и блокгаузах. Старший лейтенант Зубарь чуть не сшиб богослова.

Полуобернувшись, он крикнул бегущим за ним бойцам:

— Занимаем огневую точку у моста!

Когда Роман вбежал во двор приходства, деревянная церковь уже пылала вовсю. В стороне, держа под мышкой Библию и епархиальные книги, следил за пожаром окруженный толпой полуодетых прихожан Ставничий. Герета остановился возле старика и взял его под руку. Оглушительный треск снаряда заставил их пригнуться. Ослепительная вспышка пламени возникла там, где еще секунду назад остро вырисовывался на фоне кровавого неба угол приходства. Обрушилась крыша, и стайка перепуганных голубей вырвалась из-под падающей кровли.

Еще разрыв!

Сообразив, что гитлеровцы перенесли беглый огонь на территорию приходства, прихожане стали разбегаться. Кое-кто уносил выхваченные из пламени иконы в золоченых киотах.

Герета силой потащил священника в подвал. Из квадратного выхода крепкого подвала они увидели, как рухнул в огонь, рассыпая искры, купол церкви, как снаряды добивали дом Ставничего, — должно быть, немецкие артиллеристы предполагали, что в кирпичном доме разместились пограничная застава.

— Не надо, отец Теодозий, — пытался успокоить рыдавшего Ставничего Роман. — На пепелище сгоревшего дома не льют слез.

— Да, но с этим приходством столько связано... Боже... Боже... В этом доме родилась Иванна, тут она выросла.

— Когда горят леса — не время жалеть о розах, — глядя на запад, заметил Герета. — Не печальтесь, отец Теодозий. Такие пожары — к добру. Это гром кары божьей!

Обращая к Роману заплаканное небритое лицо, Ставничий горячо сказал:

— Как вам не стыдно, сын мой! Я пережил уже не одну войну и знаю, что она сулит народу. Это начало нового, страшного горя...

— Но эта особая война! Очистительная! — лихорадочно прошептал Роман. — Когда покарают всех отступников, на пепелищах вырастут новые храмы Христовы, лучше прежних...

Вывавшись из сарая, по освещенному пламенем двору заматались, гогоча, перепуганные, ошалелые гуси. Через каменный забор приходства перемахнуло несколько гитлеровцев.

Вот они, первые завоеватели!

На рогатых тевтонских касках у них в то первое утро войны были колосья пшеницы, пучки васильков. Отблески огня отражались на металлических поясных пряжках с надписью: «С нами бог».

ДАС ИСТ ЛЕМБЕРГ¹

Старинный Львов в пламени пожаров, в грохоте орудейной канонады совсем по-иному открылся утром 30 июня штурмбанфюреру СС Альфреду Дитцу. Дитц поднял руку, шофер затормозил мотоцикл, и колонна, во главе которой ехал штурмбанфюрер, остановилась. Дитц выскочил на удивительно ровную брусчатку Жолковского шоссе и сказал сидящему позади него в коляске мотоцикла гестаповцу Эриху Энгелю:

— Дас ист Лемберг! Хайль Гитлер!

Энгель никогда раньше не бывал во Львове. Он тоже вскочил — коляска мотоцикла сразу закачалась, — и вскинул длинную руку с бриллиантовым перстнем. С любопытством смотрел гестаповец на грядущую Расточья, по которой раскинулся древний город. Отсюда, от водораздела Европы, ручейки и реки текли в разные стороны. Одни устремлялись к Черному морю, другие, стекая к Висле, попадали в холодную Балтику.

Накануне нападения на Советский Союз Энгеля прикрепили к бывалому военному разведчику Дитцу, чтобы тот, пока не установится во Львове гражданская немецкая администрация, помог ему, Энгелю, ориентироваться в древнем славянском городе. В том, что Дитц сумеет это сделать, более молодой Энгель не сомневался. Ведь всего за несколько дней до вторжения Дитц вместе со

¹ Немецкое название Львова.

всем штатом комиссии по переселению проследовал из Львова через советскую зону Перемышля в Засанье.

Одетый теперь в мундир штурмбанфюрера СС, с двумя Железными крестами на груди и «орденом крови», полученным за сидение в тюрьме еще до прихода Гитлера к власти, Дитц размахивал стеком, показывая командиру дивизии вторжения генералу Штрейцеру прямо на местности пограничные заставы и здание комендатуры на советском берегу. Штрейцер внимательно и, несмотря на разницу в чинах, почтительно слушал Дитца. С эс-совцем, награжденным «орденом крови», приходилось считаться: по статусу этого ордена он имел доступ непосредственно к самому Гитлеру.

Теперь Дитц возвращался откровенным хозяином Львова — Лемберга.

Полюбовавшись панорамой города, Дитц снова залез в коляску мотоцикла. Она накренилась под его тучным телом. Махнув стеком на восток, штурмбанфюрер скомандовал:

— Вайтер!

Водитель дал газ, и мотоцикл, оставляя позади клубы бензинового перегара, помчался во главе колонны немецких военных разведчиков и особой карательной группы к холмам Львова...

В это время во дворе большого дома на Курковой улице, недавно оставленного советской воинской частью, переодетый в штатскую одежду Садаклий, бригадир Голуб и приданная им группа будущих партизан торопливо подтаскивали к открытому люку городской канализации оцинкованные ящики с оружейными патронами, длинные, похожие на гробы, деревянные ящики с ручными гранатами и винтовками. Руки невидимых людей осторожно принимали ценную кладь.

Садаклий охотно согласился с предложением Голуба спрятать в разветвленной городской канализации Львова «про запас» многое из того, что не могли захватить с собой уходящие на восток войска.

Под городом, закованная в бетон, протекала река Полтва. Начинаясь на окраине лесопарка Погулянка, она и донные пересекает на глубине нескольких метров

весь город и вырывается из железобетонного канала на другой стороне, в северных кварталах предместья За-марстинов. А от Полтвы во все стороны расходятся более мелкие каналы — коллекторы, по которым человек сведущий может при желании пробраться в любой район города.

Садаклий, утирая пот рукавом пиджака, с удовольствием отметил, что последний ящик с патронами исчез под землей.

— Як то кажуть: боже, поможи, а ты, небоже, не ле... — Голуб не успел закончить шутливой фразы, ворота затряслись от тяжелых и резких ударов.

Грицько Щирба, который некогда поздравлял в Тулиголовах Иванну с поступлением в университет, подбегал к Голубу:

— То уже они, дядько Панасе. Вяжить мене.

Садаклий и Голуб быстро перевязали Щирбу предназначенной для этой цели веревкой и повалили его на землю. Было заранее обусловлено: Щирба поступит на службу к немцам, чтобы, надев полицейский мундир, быть глазами и ушами партизан.

Когда крышка люка захлопнулась за последним исчезнувшим под землей подпольщиком, Грицько подполз к ней, прикрыв люк своим телом...

Отряд украинской полиции во главе с сотником Каблаком всюду штурмовал тяжелые ворота дома на Курковой. Каблак был уже в полной форме — в черном мундире, рогатой «мазепинке», напоминающей шапки, что носили украинские националисты, служившие еще в австрийской армии в первую мировую войну. Золоченый трезубец — герб националистов — виднелся на черном сукне «мазепинки». Каблака, вооруженного немецким автоматом, как и других диверсантов, немцы забросили сюда на парашютах еще до вторжения.

— Вот зараза! Не открываются! — выругался Каблак и в остервенении дал очередь по воротам из автомата.

Одна из пуль, пробив ворота, скользнула по щеке лежащего во дворе Щирбы. Белая бороздка, которую процертила в коже пуля, стала постепенно наполняться кровью.

— Пане сотнику, так мы провольним тут до страш-

ного суда! — крикнул Каблаку мордастый детина с узкими, заплывшими глазками. — Давайте я с горы забегу в двор и открою!

Действительно, обогнув двор со стороны соседнего парка, полицей проник во двор бывшей воинской части через пролом в заборе. Изнутри ему ничего не стоило отодвинуть запор. Ворвавшись во двор, Каблак заметил распростертого на крышке люка Щирбу.

— Кто тебя повязал, хлопче? — спросил он, остановившись над лежащим.

— Кто, кто! — раздраженно ответил Щирба, сию же минуту освободиться от веревок, — Будто сами не знаете кто! Большевики повязали!.. Да развяжите скорее, холера ясна, хоть кровь сотру.

Когда его развязали, он прижал платок к пораненной щеке и, тяжело дыша, посмотрел на Каблака — никто бы не мог заподозрить в этом парне сообщника тех, кто несколько минут назад скрылся под землей.

— Пойдем с нами, хлопче, раз такое дело, — мило-стиво сказал Каблак. — Ты пострадал от них и теперь будешь биться за неньку Украину, как рыцарь Перебийнос...

В это время Голуб уже действовал во дворе «Гастронома» на углу улиц Килинского и бывшей Легионов. Снаружи магазин штурмовала шумовина¹ Львова. Проникая к прилавкам через разбитые стеклянные витрины, отребье города наполняло мешки окороками, пачками крокета, банками с вареньем и палками колбасы салами.

Мародерам было невдомек, что в глубине двора, за закрытой изнутри на тяжелый висячий замок дверь, в подсобных складах хранятся еще в большем количестве такие же продукты. Но это хорошо знал открывший ломом подсобку Голуб. Подбежал к первому ящику с консервами.

— Не повезло — крабы! Уж лучше бы бычки в томате!

— Ничего, и они пригодятся. — Садакий, подхватив ящик, вспомнил мельком предвоенные рекламы: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы».

Напрягаясь под тяжестью ящика, он подумал: «Ну

¹ Накипь.

до чего же золотой старик! Разве сумел бы кто иной так быстро разобраться в этом подземном львовском лабиринте?»

— А тут прованское масло! — крикнул Садаклию Голуб. — Брать прованское масло?

— Обязательно! Все берите! Решительно все! — ответил Садаклий, опуская ящик с крабами в пасть люка. — Где мы только все это разместим?

— Не журиться, куме, — успокоил Голуб. — Старый шур каналовый Голуб знает там такие закутки, куда ни одна холера не заходила. Подсобите!

И новый ящик со шпротами опустил в подземное чрево Львова...

Спасаясь от преследования, Журженко в больничной пижаме и дошедший с боями до Львова Зубарь, вытащивший капитана из госпиталя, забежали в Кляшторную улицу. Они надеялись пробраться этой улицей к Княжьей горе, называемой иначе Высоким замком, перемахнуть через густо заросшие деревьями и кустарником взгорья, а там — предместье Знесень, дальше уже поля да перелески — на Красне, Островчик Пильный и на восток.

Таков был их план. Однако у Кляшторной, или Монастырской, улицы была особенность: на всем своем протяжении, окаймленная с обеих сторон высокими и глухими монастырскими стенами из кирпича древней кладки, она не имела ни одного входа, ни одной подворотни.

Вот этого-то и не знали ни Журженко, ни Зубарь. Они уже чувствовали себя почти в безопасности, когда внезапно на склонах Высокого замка послышался пересвист украинских полицаев. Журженко и Зубарь метнулись было обратно, к Губернаторским валам, как вдруг увидели впереди черные рогатые «мазепинки».

— Хана, Иван Тихонович, — прошептал Зубарь. И, оглянувшись, скомандовал: — А ну, за стену! Попробуйте вскочить. Я подсажу.

— А ты? — впервые переходя на «ты», шепнул Журженко.

— Отобьюсь. — Зубарь повел автоматом. — Давайте!

Из последних сил Журженко подпрыгнул на здоровой ноге, и, когда рука его ухватила за кирпичную поверхность стены, Зубарь, изловчившись, подтолкнул слабеющего капитана. Журженко перевалился через стену и грузно, плашмя упал в кусты крыжовника.

Полиции были уже совсем близко. Зубарь попробовал было отстреливаться, но Каблак навалился на старшего лейтенанта всем своим крепким телом.

— Попался, вражий сыну! — прохрипел он, впиваясь в горло Зубаря волосатыми пальцами. Другие политики скрутили его руки и связали их поясами.

Как и обычно под утро, монахини ордена василианок, и среди них Иванна, стояли коленопреклоненные на холодном полу внутренней церкви

Обрастая к святой Терезе, монахини читали молитву:

— Любвеобильная и сострадательная святая, приди на помощь нашим братьям, страждущим под гнетом долгого и жестокого противохристианского гонения...

Игуменья почти машинально, не вдумываясь в смысл произносимых слов, повторяла — в который раз — эту направленную против советского строя молитву, а мозг ее сверлила одна мысль: «Когда же? Когда?»

С улицы вбежала раскрасневшаяся сестра Моника и, припав на колени рядом с игуменьей, шепнула:

— Все! На площади наши!

Игуменья Вера встала, отряхнула подол сутаны и властно скомандовала:

— Дочери мои! Царству антихриста пришел конец. Все во двор! Встречать! Домолимся позже! Иванна, принеси из дальней сторожки в саду хлеб, соль и рушник.

Возвращаясь из сторожки по тропинке, вьющейся между кустами крыжовника, с подносом, застланным вышитым полотенцем, на котором возвышался испеченный еще накануне каравай хлеба и соль в солонке из червленого серебра, Иванна услышала стон.

Осторожно раздвинув кусты, она увидела лежащего на траве человека в полосатой пижаме. Из ноги его сочилась кровь. Лица лежащего Иванна не успела рассмотреть — раненый уткнулся в густую траву.

подавая дрожащими руками игуменье поднос с хлебом, Иванна шепнула:

— В саду раненый стонет. Может, помощь ему нужна?

— После! — бросила игуменья и, услышав гул мотоциклов, подала знак.

Взбежавшая на колокольню сестра Моника натянула веревки, и разномастные колокола и колокольчики, подчиняясь гибким веревкам, заиграли.

Под этот мелодичный перезвон первые немецкие мотоциклы въехали на монастырский двор.

Снимая на ходу замшевые перчатки, сопровождаемый младшими офицерами и Эрихом Энгелем, штурмбанфюрер СС Альфред Дитц подошел к игуменье Вере Слободяной и, отсалютовав, поцеловал ее дородную руку.

— Боже мой. . . пан советник, — умиленно протянула мать Вера. — Пане Альфред! Боже! Счастье какое! — И, подавая ему поднос с хлебом и солью, сказала кокетливо: — Бывая у вас в комиссии, я и предположить не могла, что вам так идет военная форма. . . А зачем по вашему совету мы отправили на запад треть моих монахинь?

— Чтобы обмануть большевиков, мы отправляли туда не только живых, но даже мертвых, — сказал Дитц, передавая поднос с хлебом и солью ординарцу. — Сколько лет, сколько зим — так, кажется, говорит ваша половица? Рад вас видеть в полном здравии, мать Вера.

— Вы рады? — снова умилилась игуменья. — А мы-то как рады! — В глазах ее заблестели слезы.

— Насколько мне память не изменяет, мать игуменья, правое крыло вашего монастыря пустует, — сказал Дитц, оглядываясь. — Я бы хотел разместить здесь свою зондеркоманду. В других зданиях еще можно натолкнуться на большевистские сюрпризы, а за вашей стеной мы будем чувствовать себя как в крепости. Вы не возражаете?

— Боже! Какие могут быть разговоры! Конечно, располагайтесь. Мои послушницы немедленно вымоют там полы! Пресвятая дева Мария услышала наши молитвы и свергнула сильных с престолов плечом победоносной немецкой армии!

В распахнутых воротах монастыря появились полицаи во главе с Каблаком. Увидев немцев, окруживших игуменью, Каблак было попятился, но, узнав в гитле-

ровском офицере своего недавнего шефа, отпрапоровал:

— Пане штурмбанфюрер, извините, никто из русских не выбегал из монастыря?

Дитц тоже узнал Каблака. Поморщившись, он вопросительно посмотрел на игуменью.

Мать Вера сказала вполголоса:

— Там в саду посторонний кто-то.

Иванна услышала эти слова, и ей стало страшно. Но еще больший страх испытала она, когда через несколько минут увидела, как полицаи волокут под руки раненого в полосатой пижаме. С лица его, покрытого ссадинами, сочилась кровь. Должно быть, полицаи избили его там, в саду. Девушка узнала своего недавнего квартиранта, капитана Журженко. «Что я натворила! — с ужасом подумала она. — Как жестоко отомстила человеку, который хотя и причинил мне зло, но сейчас ранен и совершенно беззащитен!»

Меж тем Каблак доложил Дитцу:

— Пане штурмбанфюрер! Поймали переодетого большевистского капитана. Дозвольте вести дальше?

Дитц кивнул.

— Иди, зараза большевистская! — Каблак, желая выслужиться перед начальством, изо всей силы ударил Журженко прикладом автомата в спину.

Тот охнул и в ожидании нового удара закрыл голову окровавленными руками.

Как бы повторяя его движение, закрыла руками глаза, полные слез, и Иванна. «Боже, боже, что я сделала! — мучилась она. — Выдала беззащитного человека, а теперь они его будут мордовать как захотят!»

— Пусть пани игуменья спит теперь спокойно, — сказал, улыбаясь, Дитц. — Мы быстро выловим всех переодетых красных. Герр Энгель поможет мне в этом! — И он похлопал по плечу своего долговязого помощника, одетого в мундир полевой тайной службы безопасности, или фельдгестапо.

ВСТРЕЧА НА ВОКЗАЛЕ

В полном отчаянии приехала Иванна на привокзальную площадь. «К отцу! Только к отцу», — решила она, вырвавшись из монастыря.

Главный вокзал Львова, пострадавший после бомбежек и уличных боев, заполняли беженцы. Детский плач, стоны раненых, перешептывание испуганных старух, первые гудки паровозов — все это смешалось в единый шум войны. Здесь были не успевшие эвакуироваться матери с детьми, семьи военнослужащих и советских работников. Многие приехали с границы.

Первые бои сожгли их жилища и выбросили с насиженных мест. Они ютились на чемоданах и узлах. Ожидая, пока кончится проверка документов и будет снято оцепление, пугливо озирались на проходящих по перрону немецких солдат и их помощников — полицаев в черных «мазепинках» с трезубцами.

Около того самого кипятильника, где недавно ранили Журженко, стоял бывший французский лейтенант, ставший музыкантом, Эмиль Леже. Его банджо, подобно карабину, болталось за спиной. Мрачный, небритый, похудевший, он что-то говорил своей жене, чешке Зоре. Наклонившись над годовалым младенцем, она хлопотала у голубой коляски.

Среди местных жителей, застигнутых войной во Львове и ждущих первых поездов в сторону запада — на Перемышль, Стрый, Станислав и Дрогобыч, откуда катились волны немецкого вторжения, оказался и почтальон из Тулиголов Хома. Он посторонился, пропуская встречную монахиню, но, признав в ней дочь отца Теодозия, пробормотал изумленно:

— Панунцьо! Цилую руци!

— Вы давно из дому, дядько Хома? — торопливо спросила Иванна.

— Да с субботы... Приехал черевики покупать, — он показал на коробку, зажатую под мышкой, — а тут — бах-бах, и бомбы посыпались.

— Что у нас дома, дядько Хома?

— До субботы было все в порядке. Правда, сперва отец Теодозий был дуже зденервованый, що вы не повертаетесь, но потом приехали богослов Роман, сказали, что с вами ничего не случилось и вы задерживаетесь во Львове. Ну, тогда отец Теодозий успокоились... Только...

— Ну что? Да говорите же, ради бога!

— Только пан отец были очень огорчены, что пану-ся ничего не сказала им, уезжая, про телеграмму.

— Про яку телеграмму?

— Ну, пришла до пануси телеграмма з университета. Я отдал ее пану Роману.

— Пану Роману? — протянула Иванна. — Ничего не знаю!

— А я тоже ничего не знаю. Только телеграфистка наша, Дзюнка, сказала мне и отцу Теодозию, что сам ректор университета до пануси депешу прислали.

Недоуменно смотрела на почтальона Иванна, но громкий топот заставил ее обернуться.

Отряд полевой жандармерии вел задержанных во время облавы на вокзале подозрительных людей. Среди них были раненые.

Угрюмо посмотрел из-под козырька тирольки на проходящих Эмиль Леже. Видимо, его мрачный взгляд, лишенный какой бы то ни было симпатии к победителям, перехватил фельдфебель с блестящей, напоминающей полумесяц металлической бляхой на груди. Он круто свернул к Леже.

— Юде? — резко бросил гитлеровец.

— Найн! — спокойно ответил Леже.

— Врешь! Юде!

— Можете думать что хотите. Я говорю вам правду! — по-немецки ответил Леже.

— Давай сюда! В шеренгу! — скомандовал фельдфебель и жестом показал на колонну задержанных.

Зора подбежала к фельдфебелю и, хватая его за руку, умоляюще сказала:

— Пане ляйтер, то мой муж. Он француз, а не еврей...

— Генуг! — Гитлеровец оттолкнул Зору прикладом автомата.

Два гитлеровца схватили Эмиля Леже и стали выламывать назад руки.

Зора, пытаясь прорвать кольцо оцепления, закричала:

— Он музыкант! Вы не имеете права! У него французский паспорт!

Охранники отогнали Зору. Рыдая, обессиленная женщина вернулась к ребенку. Иванна передала ей ручку

коляски и, подняв голову, вдруг увидела, что по ступенькам вагона подошедшего поезда медленно спускается на перрон ее отец.

— Тато! Таточку! — Иванна бросилась к Ставничему.

Она целовала отца в небритые щеки и приговаривала:

— Боже, какое счастье, что ты жив, татусю! — И, взглядевшись в его постаревшее, усталое лицо, удивленно спросила: — А почему ты без шляпы, татулю?

Ставничий скорбно посмотрел на Иванну и показал портфель, набитый епархиальными книгами:

— Здесь все, что у нас с тобой осталось, доню!..

Тем временем отряд фельджандармерии проводил мимо патруля полиции, охраняющего выход на вокзальную площадь, задержанных во время облавы.

Их внимательно разглядывал стоящий на посту вместе со своими полицейскими сотник Каблак.

Поравнялся с ним и Леже. Каблак узнал задержанного француза.

— Бонжур, месье! — пристраиваясь к колонне, деланно улыбаясь, сказал он. — Какая приятная встреча, не правда ли? Какие песенки вы споете теперь? Вы все еще «очень люблю» советские люди? •

СВЯТОЙ «ВОЕНКОМАТ»

Двор собора святого Юра был заполнен священниками. Со всех концов Львовской епархии съехались они к своему князю церкви.

На востоке можно будет поправить дела, обретая тысячи новых приходов и сотни тысяч — да куда там! — миллионы верующих. На это рассчитывали миссионеры униатской церкви.

Из палат митрополита на подворье вышел бородатый митрат Кадочный. Лицо его светилось улыбкой. Он с довольным видом разглядывал документы.

— Получили назначение, отче Орест? Куда? — спросил священник в коричневой сутане.

— Дали деканат в самом Каменец-Подольске. Недалеко, и место чудесное. Старинный, живописный город. Его эксцеленция, наш митрополит, как был, так и остае-

ся епископом Каменец-Подольским. Значит, под его высоким покровительством отныне пребывать буду...

— Повезло же вам, отче Орест, — с явной завистью сказал кто-то из священников. — Недаром вы любимец митрополита. А это у вас что? — он показал на бумагу с немецким орлом и свастикой, которую держал в руках митрат Кадочный.

— Марш-бефель! — гордо помахал немецким командировочным удостоверением Кадочный. — Разрешение на право следовать сразу же за войсками.

— Митрополит выдает и такие документы? — приближая близорукие глаза к немецкому удостоверению, удивился черный, как жук, коротконогий священник.

Кадочный объяснил:

— В покоех на левой половине — полевой штаб штурмбанфюрера СС пана Альфреда Дитца. Он курирует вопросы церкви. Штурмбанфюрер Дитц жил во Львове еще в австрийские времена, его родственники имели здесь рестораны, а он сам старый приятель украинцев и разговаривает по-нашему... А вот и отец Теодозий.

Священники, расступаясь, участливо давали Ставничему дорогу, а митрат Кадочный, подойдя к нему, тоном человека знающего тихо проговорил:

— Заходите сразу, отче Теодозий. Предупредите келейника Арсения, погорельцев и пастырей, пострадавших от большевиков, его эксцеленция принимает без всякой очереди.

Следуя совету Кадочного, Ставничий, наклонив обнаженную голову и осеняя себя крестным знамением, поднялся на второй этаж капитула. И в самом деле, несмотря на то что приемная была забита ждущими очереди священниками, келейник довольно быстро провел его в угловую комнату, обитую розовым узорчатым шелком, отчего эту святая святых митрополии называли «розовой гостиной». Часть стен ее была в книжных полках, всю комнату заливало солнце.

Митрополит сидел около золоченого камина в своем любимом кресле с высокой парчовой спинкой. Возложив мясистые, большие руки, пораженные, как и все его грузное тело, слоновой болезнью, на мягкие поручни

кресла-трона, Шептицкий внимательно выслушал рассказ стоящего перед ним навытяжку Ставничего.

Дрожащими от волнения руками Теодозий извлек из потрепанного портфеля две метрикальные епархиальные книги, тяжелую Библию в кожаном переплете и, положив все это на резной столик, сказал:

— Вот все, что осталось от моего деканата, ваше высокопреосвященство!

— Вы неправы, сын мой, — мягко поправил его Шептицкий. — Осталось все, что нетленно. С нами бог! Он остался с нами, не пораженный огнем войны, в те тяжкие минуты, когда грохотали орудия наших спасителей. Бог услышал наши молитвы и помог сильным мира сего свергнуть царство безбожия на украинской земле.

— Но моя паства, ваша эксцеленция, брошена на произвол судьбы. И служить богу теперь негде.

— Будете отправлять службу в соседней дочерней церкви святых Космы и Дамиана, а со временем на пепелище вашего деканата мы воздвигнем новый, на этот раз уже каменный храм, — утешил Ставничего митрополит. — Святой отец папа Пий Двенадцатый отпустил нашему капитулу пятнадцать миллионов немецких марок на скорейшую ликвидацию последствий тлетворного влияния большевизма. Часть этих средств мы обратим на восстановление и обновление наших храмов. . .

— Есть одно неудобство, ваша эксцеленция, — пробормотал Ставничий. — В дочерней церкви святых Космы и Дамиана после рукоположения собирався править службу божию Роман Герета. Он мой будущий зять, а получится, что я перебегаю ему дорогу. . .

Взмахом руки митрополит остановил Ставничего:

— Я отзываю Романа сюда. Могу сообщить вам достоверно, пока не для огласки: самые достойные и уважаемые представители нашего украинского общества адресовались по моему совету к фюреру великой Германии Адольфу Гитлеру с всемилостивейшей просьбой разрешить нам создать воинское соединение из украинцев, которое смогло бы бок о бок с доблестным немецким воинством идти под знаменами рейха на безбожную Москву. . . Если имперская канцелярия доведет просьбу до сведения фюрера и он разрешит нам сформировать

такое соединение, я назначу в него капелланом Романа Герету.

— Простите мою назойливость, ваша эксцеленция. А моя дочь? Они ведь обручены...

— До Москвы отсюда сейчас недалеко, отец Теодозий, — сказал, улыбнувшись, митрополит. — После взятия Москвы, когда это гнездо антихристов окажется в наших руках, Роману дадут по моему ходатайству отпуск, и он справит свадьбу с моей крестницей не в Тули-головах, а здесь, во Львове. А пока, на этот переходный период, я советую вам, отец Теодозий, оставить вашу дочь в монастыре под покровительством игуменьи Веры...

«В эти горькие минуты, — было записано в тетради отца Теодозия, — так верил митрополиту. Мог ли я предполагать, во что обернется дальше его кротость и ласка?»

НА ГОРЕ ВРОНОВСКИХ

Полицейский в черном мундире изо всех сил заколотил ломиком по стальному рельсу, подвешенному у караульного помещения — вахи — лагеря сталага 325 на горе Вроновских, близ львовского почтамта.

Назойливые и властные звуки гонга проникали в подвалы багровых кирпичных бастионов, разносились над загородками-клетушками из колючей проволоки на макушке горы, прямо под открытым небом.

Под эти звуки из подвалов и проволочных загородок стали появляться советские военнопленные. Истощенные, заросшие, подталкиваемые охраной, они шли, поддерживая раненых. Об участи, которая ждала их здесь, за колючей проволокой львовской Цитадели, красноречиво говорили надписи, сделанные белой краской огромными буквами на полукруглых стенах кирпичных бастионов:

«Запрещено есть разрезывать трупов воен, пленных и отделять таковых частей. Неповиновение — смерть!

Комендант сталага 325
Оберст Охерналь»

Дюжие полицаи подгоняли отстающих ударами палок и громкими окриками: «Шнель! Шнель!»

Опухшие от голода, оборванные люди прилагали все усилия, чтобы дотянуться до главной линии колючей проволоки, отделяющей их от лагерной линейки. Уцепиться за нее грязными пальцами, ждать. Чего? А ведь, может быть, после очередной «селекции» — отбора — их повезут отсюда на расстрел...

Или удары гонга призывают для пересчета?

А может, — это самое желанное, — их поведут на работу?

Пока они будут тащиться туда, на шоссе к Олеську, окруженные охранниками-вахманами и овчарками, чтобы отремонтировать дорогу, кто-нибудь из прохожих нет-нет да и забросит кусок хлеба или одну-две картофелины в середину колонны. Да и там, под палящим солнцем, когда они дрожащими, ослабевшими руками станут ремонтировать стратегическое шоссе, укладывая на подушку дороги тяжелые каменюки, иные смельчаки из сердобольных жителей, подползая огородами, будут подбрасывать им початки варежой кукурузы, буханки домашнего черного хлеба, а иной раз — и это будет великим счастьем — швырнут шмат ржавого, посыпанного солью запорожского сала. Голод мучил военнопленных. В Цитадели уже давно были съедены вся лебеда и крапива. Даже кора на молодых и без того чахлах липах и ясенях обгрызена начисто в рост человека. Крысы и кошки бояться забегать на гору Вроновских, чтобы не стать случайно добычей пленных. Недаром же какой-то вахман-немец, ужаснувшийся тому, что ему довелось увидеть в сталаге 325, выцарапал гвоздем у внутреннего входа в лагерь в камне стены хорошо заметную надпись готической, немецкой вязью: «Отсюда один путь — в могилу».

И повсюду проволока! Тонны проволоки сплошными рядами вдоль и поперек переплели дреколья — привезенные специально из Германии железные скрюченные палки.

Вызванные на лагерный плац военнопленные увидели сквозь переплеты колючей проволоки и через круглые шары спиралей Бруно¹, как вахманы пропустили в рас-

¹ Особый вид проволочных заграждений.

пахнутые ворота Цитадели делегацию украинского «допомогового комітета». Ее послал на помощь страждущим сам митрополит Шептицкий.

Дамы-патронессы, жены и вдовы львовских адвокатов, судебных советников, бывших послов польского сейма и еще австрийского императорского парламента чинно шагали по дороге смерти, по которой еще сегодня ночью вывозили в Лисеницкий лес на сожжение сотни трупов.

В черных платьях, отороченных кружевами, в старомодных мантильях, вытасненных из пропахших нафталином сундуков, с четками в руках и крестиками на груди, они мелкими шажками с опаской приближались к лагерному плацу.

Среди светских благотворительниц на вершину горы Вроновских поднимались и василианки — игуменья Вера, сестра Моника, Иванна Ставничая и другие монахини. Они несли связки молитвенников, шкатулки с крестиками и нагрудными иконками.

Игуменья Вера, взобравшись на услужливо подставленный ей полицаем деревянный ящик из-под гранат, скорбным голосом обратилась к пленным:

— Дорогие сыночки! Братья Христовы! Не по своей воле многие из вас сражались под знаменами антихриста в безбожной Красной Армии, а сейчас попали в большую беду. По милостивому соизволению немецких властей мы пришли к вам на помощь. Подпишите декларацию о своем полном разрыве с большевизмом, попросите помилования у фюрера великой Германии Адольфа Гитлера! И мы похлопочем о вашем скорейшем освобождении и окажем силами нашего благотворительного комитета посильную помощь каждому декларанту независимо от его прошлого. Пусть же учение смиренного господина нашего Иисуса Христа возвратит вас на путь покорности и благоразумия...

— Вопросик, мамаша! — крикнул из-за проволоки заросший военнопленный с зелеными петлицами пограничника.

— Прошу, сын мой! — сказала игуменья, оживившись.

— А вы знаете, как нас кормят? А знает ли ваш Иисус Христос, сколько людей здесь ежедневно умирает

от голода? Чи очи ему позастило? — перешел он на украинский язык.

Игуменья смешалась. Никак не ждала она столь резкого и прямого вопроса от истощенного, едва стоящего на ногах человека. Как украинец, пограничник имел возможность при желании выйти отсюда первым, но столько ненависти было во взгляде его запавших глаз, что игуменье сделалось страшно.

Иванна, заметив окровавленный бинт под разорванной рубашкой на груди военнопленного, отвела глаза. Тут же ее взгляд наткнулся на полное зловещего смысла распоряжение полковника Охерналя на стене бастиона.

— Я поэтому и говорю, сыночки, — подавляя растерянность, продолжала игуменья, — что знаю, как вам сейчас тяжело. Но в ваших собственных руках возможность избавиться от вынужденного плена. А чтобы вам легче было очистить от скверны ваши думы, мы раздадим вам нательные крестики и молитвенники... Хочу снова напомнить вам — до меня это говорило вам начальство, — что украинцам будет оказано преимущество при освобождении. Они смогут сразу поступить на вспомогательную службу к победителям либо вернуться к семьям, домой.

— Мамаша, риденька, — не унимался пограничник, подмигнув стоящему рядом с ним пленному. — Выходит, что у вашего Христа две правды и два милосердия — одно для украинцев, другое для остальных людей?

Мордатый вахман замахнулся палкой и закричал:

— А ну, ты, гнида большевистская, закрой пасть!

Пограничник отшатнулся от проволоки, едва не упав. Показал на вахмана рукой:

— Ото бачите, хлопци, милосердие боже!

Старший лейтенант Зубарь тем временем шепотом передал по рядам:

— Держись, братва, не продаваться за чечевичную похлебку!

Раскрывая на ходу портфель, набитый декларациями, Иванна приблизилась к проволоке. Она остановилась перед пленным, который показался ей посмирнее, и спросила робко:

— Вы подпишете?

- Я присягу не нарушу, — отрезал пленный.
- Вам дать? — спросила она соседа.
- Сматывайся!
- А вы?
- Предателем не был!

Растерянная Иванна все же шла вдоль проволоки и вдруг увидела Зубаря. Узнав его, отшатнулась. До чего же изменился этот бравый командир, еще недавно такой веселый и разбитной! Голова его была замотана грязным бинтом, щеки запали, скулы поросли жесткой щетиной.

- Признали, невеста? — криво усмехнулся Зубарь.
- Возьмете декларацию?
- Быстро же вы перекантовались, пани Иванна, — сказал Зубарь, — из студентки советского университета да в гитлеровские подлипалы.
- Вы ошибаетесь, — тихо ответила Иванна, — студенткой советского университета я никогда не была. Меня туда не приняли.
- Врете! Были! Человек из-за вас кровь пролил, а вы... Эх!

К Иванне подошла одна из дам-патронесс.

— Давайте помогу. Я еще в первую мировую войну около Ярослава уговаривала пленных русских солдатиков. У меня опыт. Дайте мне портфель. — И, приняв от Ставничей портфель, сказала властно Зубарю: — Берите декларацию, пока не поздно. А то будет плохо!

— Танцуй отсюда к чертовой матери... Кикимора! — бросил Зубарь и повернулся к даме спиной, покрытой лохмотьями гимнастерки.

Посрамленная дама-патронесса нервно отдала Иванне портфель, вернулась к игуменье и стала ей что-то зло доказывать.

А Иванна вглядывалась в лица военнопленных. Ей показалось, что светловолосый красноармеец с выпирающими под обрывками гимнастерки ребрами как-то странно, незаметно от товарищей, подмигнул ей. Ставничая радостно подвинулась к проволоке и молча протянула светловолосому декларацию.

- А какой аванс мне будет, пани монашка?
- За что аванс? — с недоумением спросила Иванна.

— За измену. Больше, чем Иуда за Христа получил, али меньше?

Иванна отпрянула. Ветер вырвал из ее рук листок декларации и закружил над железной паутиной проволоки. Подавленная, она сделала шаг в сторону, и тут взгляд ее столкнулся с грустными глазами капитана Журженко.

Он стоял, прильнув к проволоке и опираясь на кусок обломанной доски, в той же самой, теперь уже грязной и изорванной полосатой больничной пижаме, в какой его поймали в монастырском саду.

— Так что же нового принес вам ветер с запада, пани Иванна? — спросил Журженко. — Эту сутану и потерянную молодость?

Иванна молча мяла в руках декларацию. Она не могла поднять глаз; подумать только — по ее вине капитан здесь.

— Хотя вы причинили мне много горя, капитан, — словно оправдываясь, сказала очень тихо она, — но я не сержусь на вас. Все произошло случайно. Поверьте! Христос учил нас прощать обиды даже врагам и грешникам...

— О каком горе вы говорите? — прервал ее Журженко.

— Не будем вспоминать об этом, — волнуясь, ответила Иванна. — Подпишите лучше — мы облегчим вашу участь.

— Вы ошибаетесь, Иванна. Я никогда не предавал то, во что верил и верю.

Иванна торопливо протянула декларацию стоявшему рядом с Журженко французу. Это был Эмиль Леже. Иванне показалось, что она уже где-то видела этого человека в тирошке.

Леже молча отрицательно покачал головой и отошел от проволоки.

ОБМАН РАСКРЫТ

«Благотворительницы» спускались по мощенной круглыми булыжниками улице из Цитадели.

Возле ворот, пропуская делегацию, Каблак в новом мундире поручика полиции подошел к Иванне.

— День добрый, панунцьо! — сказал он, козыряя. — Як ся маете?¹

Еще на монастырском подворье, когда увидела Каблака в каком-то доморощенном мундирчике со знаками различия, пришитыми наспех, Иванна была поражена тем, как быстро сменил свою шкуру этот «перевертень». Сейчас же, взглянув на его наглое лицо и нарядную, хорошо пригнанную форму, Иванна сказала, не стесняясь:

— Матерь божья! Как же это вы так быстро сумели... перекантоваться?

— Пани Иванна плохо знает меня, — нисколько не смутился Каблак. — И в университете я мысленно был в этом мундире — как человек-невидимка. И вся история с отказом в поступлении в университет — буйда, цирк! Женних пани и мой побратим Ромцю попросил меня разыграть ту комедию. И очень хорошо, что вам тогда отказали. Посудите сами: университету пшик, а у вас хлопот меньше.

— Все это подстроил Ромця? Боже! — ужаснулась Иванна. Лишь сейчас дошел до нее смысл циничного откровенного признания Каблака.

— А вы не огорчайтесь, пани Иванна, — усмехаясь, утешил ее Каблак, — никто не будет больше засорять вам мозги всякими марксизмами. За работу в нашем подполье митрополит даст Роману хороший приход или устроит его при себе в капитуле. Будете жить припеваючи. А бывшие студентки только позавидуют вам.

Иванна долго не могла опомниться от того, что узнала от Каблака. Как нагло и подло ее обманули! Как может существовать такая низость среди людей, проповедующих слово-божье? Придя в келью, Иванна хотела было помолиться, даже стала на колени перед иконой пресвятой богородицы, но молитвы не получалось, скорбный лик девы Марии расплывался, словно в тумане, казался ханжеским, как лица дам-патронесс, а за ним вырисовывалась паутина колючей проволоки и вереница истощенных лиц, Зубарь, пограничники, Журженко. Но

¹ Как поживаете?

как понимать то, что сказал ей Зубарь: «студентка советского университета»? Разве была она когда-нибудь ею? А надпись на стене бастиона? Или полный укоризны взгляд Журженко, которого она, по существу, выдала? Как все это отвратительно и подло! Кругом чужие, даже Роман, тот, кому должна была доверить она душу свою, и тот предал ее! Скорее повидать татуса! Рассказать все ему.

Попросив у игуменьи разрешения отлучиться из монастыря, Иванна не шла, а бежала на окраину города. У священника церкви святой Пятницы Ивана Туркевича обыкновенно останавливался по приезде во Львов отец Теодозий. Однако старенький священник сказал ей, что Ставничий побывал у него, но собирался остановиться у пастыря церкви Петра и Павла, Евгена Дудкевича, в его доме на Лычаковской улице.

Иванна вышла на улицу и, дойдя до остановки, вскочила в трамвай. Первый вагон был полупустой, сбоку было написано: «Нур фюр дойче унд фербиндете» — «Для немцев и союзников». Зато второй, предназначенный оккупантами для местных жителей, был набит до отказа. Иванна кое-как протиснулась с подножки в вагон.

ТРАМВАЙ ОСТАНОВИЛСЯ

Не доезжая метров трехсот до моста, повисшего над Замарстиновской, трамвай резко затормозил. В открытые окна вагона потянуло гарью.

Кондуктор в синей конфедератке еще довоенного образца, окантованной малиновым шнуром, выглянул в дверь и, присвистнув, спокойно уселся подремать на сиденье.

Пассажиры увидели языки огня за высоким деревянным забором. Один за другим они стали выскакивать на мостовую. Вышла, подбирая полы сутаны, и Ставничая.

Посреди улицы, держа автоматы наперевес, преграждая путь трамваю, стояли гестаповцы. В маленькой улочке, что вела к соседней, Жолковской, тоже виднелись фуражки гестаповцев с изображением черепов и перекрещенных костей на околышах. Путь к центру был отрезан.

— Гетто жгут! — тихо сказал какой-то старичок.

— О, тогда это надолго! — деловито бросила толстуха, похожая на торговку с Краковского рынка. Лоснившееся лицо и узкие глазки не выражали ничего, кроме тупости и чревоугодия. — Много времени понадобится, пока всех пархатых уничтожат!

— Побойсь бога, пани, — сказал старик. — Ведь это живые люди!

Иванна подошла к старику:

— А мне так нужно на Лычаковскую! Как туда добраться?

— В самом деле так быстро нужно, пани Иванна? — услышала она за спиной знакомый голос.

Сзади стоял тот самый Грицько Щирба, приятель Цимбалистой, студент Львовского политехникума, который в Тулиголовах так сердечно поздравлял ее с принятием в университет.

Не было на нем ни тогдашней кокетливой шляпы с фазаньим перышком, ни кимовского значка на вышитой сорочке. На широко развернутых плечах Щирбы Иванна увидела черный мундир украинского полица и ставшую ей уже ненавистной «мазепинку» с гербом националистов — трезубцем. Один глаз у полица был прикрыт черной перевязью. Должно быть, его недавно ранили.

— И вы тоже... Так быстро? — сумела только сказать Иванна.

Полицай поманил ее в сторону. Когда они подошли вплотную к забору, за которым полыхало пламя, он сказал тихо и доверительно:

— Наступит время, когда вы меня поймете и оправдаете. А разве ваша сутана — это то, о чем вы мечтали? Скажите лучше, вам действительно нужно быстро туда? — и он кивнул в сторону центра.

Было в голосе Щирбы что-то особое, душевное, отнюдь не похожее на тот бахвалисто-покровительственный тон, каким разговаривал с нею Каблак. И, может быть, поэтому Ставничая доверчиво сказала:

— К отцу спешу!

— Ну, в таком случае я попробую использовать свое служебное положение! Давайте за мной!

Они подошли к проходной будке, через которую можно было проникнуть в северные кварталы города. Пять полицаев с автоматами наперевес стерегли вход.

— Со мной! — резко бросил Щирба, показывая на Иванну.

Когда один из полицаев распахивал ворота, из проходной будки высунулся какой-то пьяный ротенфюрер СС, должно быть начальник «вахы», и, безбожно путая польские слова, зашел:

Ком, паненка, шляфен,
Морген сахарин.
Вшистско едно — война,
Фарен нах Берлин...

Иванна покраснела и ускорила шаг.

Они с Щирбой вошли в первый же квартал гетто и увидели, как несколько эсэсовцев подкатили к стене дома бочку с горючим. Отбежав в сторону, вахманы дали по бочке очередь из автоматов. Зажигательные пули сделали свое дело. Сперва из бочки вырвалось несколько фонтанчиков огня, потом она с грохотом разорвалась, выплескивая пылающие потоки на стену дома. Все выше и выше поползло пламя, проникая в окна. Из дома слышались крики заживо горевших людей. И вдруг, казалось бы, в сплошной стене лестничной клетки распахнулись потайные двери секретного убежища — бункера. Оттуда вырвалась простоволосая женщина с грудным ребенком на руках. Она заметалась, пытаясь прорваться сквозь огненное кольцо на улицу. Гестаповец вскинул автомат — женщина с ребенком упала в огонь...

Горели дома. Проваливались крыши. Рушились стены, обнажая жалкое убожество квартир, где еще так недавно ютились по несколько семей.

Крик, плач, стоны узников львовского гетто доносились до убегавшей Иванны.

Она бежала из этого ада ошеломленная, плачущая. За ней, едва поспевая, шагал полицейский Щирба.

Внезапно Иванна задержала шаг. На крышу горевшего шестиэтажного дома выскочил мальчик лет десяти. Огонь лизал кровельное железо. Босой паренек перескакивал с ноги на ногу на раскаленной крыше. Голосом, полным безумия, закричал:

— Боже, спаси меня, боже!

— Никакой боже теперь ему уже не поможет! — бросил Щирба.

Закрыв руками мокрое от слез лицо, вырвалась Иванна из пылающего гетто и, зацепившись за камень, упала. Щирба осторожно поднял ее. По насыпи прогрехотал товарный поезд. Окошечки его были взяты в решетки, а на вагонах виднелись таблички с надписями:

«Мы едем на работу в свободную Германию».

За решетками были видны угрюмые лица молодых людей, угоняемых насильно в рейх.

— Запомните это навсегда, пани Иванна! — грустно и многозначительно сказал Щирба, протягивая ей на прощание руку. — Запомните и поймите!..

Сославшись на то, что она крестница митрополита, потрясенная Иванна прорвалась к Шептицкому. Келейник Арсений провел ее к князю церкви. Поцеловав перстень со святыми мощами на руке митрополита, Иванна, захлебываясь от рыданий, взмолилась:

— Я столько увидела за сегодняшний день, что не могла не потревожить вашу эксцеленцию! Извините. Но ведь вы сами разрешили приходить к вам, когда мне будет тяжело, не правда ли?

Рассказывая о виденном, она повторяла:

— Там творится неслыханное, ваша эксцеленция! Никогда еще такого не было на земле. Это хуже татарского нашествия. Тысячами погибают военнопленные от голода в Цитадели. Детей сжигают в огне. Как скотину, увозят украинскую молодежь в Германию. Почему вы не протестуете! Ведь ваше слово так много значит! Почему не сообщите об этом немедленно святейшему папе? Ведь Гитлер может его послушать!

Шептицкий долго и внимательно смотрел на Иванну умными, пытливыми синими глазами и, когда она, тяжело вздохнув, замолчала, сказал ласково:

— Я глубоко тебе сочувствую и понимаю волнение твое, дитя...

— Пожалейте их, ваша эксцеленция! Одно ваше слово! Что бы вы ни сказали им — вас не тронут.

— Одного моего слова мало, — уже строже сказал митрополит. — Церковь Христова бессильна что-либо предпринять в таких случаях. Это делает светская власть, с которой мы решительно ничем не связаны, и она нико-

гда нас не послушается. Нам же остается только молитва, обращенная к господу богу нашему. Сам спаситель всегда в минуты трудные примером и словом и большим терпением обращал свою паству к молитве. Пусть же будет и дальше с нами милость божия — это самое бесценное сокровище в брэнной жизни нашей, где все тленно и преходяще...

— Но ведь у них на поясах написано: «Готт мит унс!» — «С нами бог!» — воскликнула Иванна. — Значит, бог с ними?

— Ты еще очень молода, Иванна, чтобы понять происходящее в этом грешном мире, — сурово ответил Шептицкий.

Иванна пыталась вникнуть в смысл слов митрополита. Внезапно распахнулись двери, и в палату быстрым шагом вошел Дитц.

Он снял фуражку с изображением черепа и перекрещенных костей — такую же, как на гестаповцах в пылающем гетто. Вежливо поклонившись владыке, Дитц сказал:

— Вот и снова я у вас, ваша эксцеленция! Прямо из Киева. Но дни, которые я провел под этим гостеприимным кровом, никогда не изгладятся в моей памяти. Потому-то я решил навестить вас по одному щекотливому делу...

Дитц перевел взгляд на Иванну. И митрополит посмотрел на нее косо, давая понять, что аудиенция кончена.

Иванна неловко юднлась, поправляя сутану, поклонилась, а митрополит, осеняя ее крестным знамением, сказал так же ласково:

— Иди с миром, дочь моя! И молись господу богу нашему.

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Это был самый решительный, поворотный день в жизни Иванны, день, наполнивший ее душу невыносимым страданием. Только страдание — и не свое, а людское — побудило ее побеспокоить митрополита. Сейчас она поняла, насколько бессмысленной была ее затея.

Веселую, жизнерадостную девушку тяготило пребывание в монастыре василианок с той самой минуты, когда

она впервые опустилась на колени на холодные камни монастырской церкви. Ее не увлекали ни торжественность богослужений, ни расположение к ней игуменья, ни дружелюбие сестры Моники. Теперь она твердо решила уйти из монастыря. С кем ей поговорить?

Игуменья помрачнела, когда Иванна вторично в течение этого дня попросила разрешение отлучиться. Однако, узнав, что ее принимал сам митрополит, игуменья перекрестила Иванну:

— Иди, дочь моя, но не опаздывай. Возвращайся до полицейского часа.

Иванна заспешила, но теперь она шла не к отцу, а к Цимбалистой. И как это она не подумала о подруге раньше?

Они встретились в маленькой комнатке в предместье Кульпарков, куда не смогла пойти Иванна, когда ее обманным образом завлекли в монастырь.

Ставничая сняла белый головной убор и стала снова похожа на ту прежнюю Иванну, с которой дружила Юлька в Тулиголовах. Густые черные волосы волной упали ей на плечи.

Долго подруги открывали друг другу души.

Возбужденная всем тем, что услышала от Юльки, Иванна сказала:

— Теперь понятно, почему Зубарь крикнул мне: «Человек кровь за вас пролил!»

— А ты думала?

— Но почему ты не могла мне рассказать обо всем этом еще тогда?

— Рассказать? — воскликнула Юлька. — Я бы сказала. А где тебя найдешь?

— И то правда, — согласилась Иванна. — Но как все это подло! Боже, боже! Так обманывать меня, свою невесту! В глаза говорить одно, а делать совсем другое. Если бы ты видела, какие добрые, искренние глаза были у Романа, когда он пугал меня арестом. А все было притворством... Выходит, не будь войны...

— Ты была бы сегодня студенткой университета. А теперь таскай эту хламиду! — зло сказала Юля.

— Я ее сброшу. Сейчас же. Где мое платье?

— Какое платье?

— Ну, помнишь, то, в горошек, что я оставила у тебя,

когда «Украденное счастье» смотрели? Я уехала домой в шелковом, а то...

— Где-то здесь, — Юлька кивнула на шкаф. — Но погоди. — Она задумалась. — Сбросить всегда успеешь. — И спросила: — Скажи, там очень страшно?

— Ты даже себе не представляешь! Побделили эту гору на проволоочные клетки...

— Эту гору? Разве одну эту гору? — горько усмехнулась Юля. — Всю Украину поделили, разорвали на клочки. Нас сейчас присоединили до Генеральной губернии, Одессу отдали румынским боярам, в Ровно проехать без пропуска нельзя, бо там сидит «король Украины» гауляйтер Эрих Кох. Вот тебе и «самостийна»!

— Они отняли у нас будущее, Юлька, это самое главное. — В глазах Иванны блеснули слезы. — И если они так сейчас ведут себя, то что же будет дальше, когда Москву возьмут? Что тогда от Украины останется?

— А, видишь! Еще пела, захлебывалась: «Боже единый, боже великий, нам Украину храни!» — запальчиво сказала Цимбалистая. — Сохранили, как же... Каблаку за то, что Украиной торговал, мундир полицейского офицера пожаловали, а твоему Роману...

Иванна прервала подругу с возмущением:

— Он не мой! Ты же знаешь, с каким сердцем я шла на помолвку!

— А что я тебе говорила? Не иди за этого катобаса. Фальшивая душа у него, хотя он и сладенький такой с виду. «Целую руки! Целую руки!» А у самого сердце гадюки с двойным дном. То не твой отец.

— Мой тато никогда не вел двойной игры, не был карьеровичем и меня всегда учил говорить одну правду. Оттого и держала его консистория на задворках, в Тулиголовах.

— Интересно, сам Шептицкий знал обо всем этом? Ну, всю эту историю с отказом в приеме? Как ты думаешь?

— Думаю, знал. Если не он сам, то его каноники. Не мог Герета решиться на такое без позволения капитула. А со мной эксцеленция говорил так, будто впервые слышит об отказе, о том, что меня не приняли из-за отца — священника.

— Нечему удивляться, — сказала Цимбалистая, уте-

шая подругу. — Недаром пословица говорит: «У владыки два языка...»

— Сколько подлости вокруг! — с горечью воскликнула Иванна. — Гадости и крови. У меня ум за разум заходит. И стыдно очень...

— Даже в крошечной тьме можно отыскать просвет, — твердо сказала Юлька и испытующе посмотрела на подругу.

— Что ты хочешь этим сказать? — Иванна с надеждой взглянула на Юльку.

— Есть у меня одна думка, Иванна, — промолвила медленно Цимбалистая. — Я понимаю, как тебе тяжело оттого, что ты ненароком выдала немцам капитана...

— Еще бы! Я ведь не знала, что это Журженко, думала, в саду просто раненый человек, и верила, что мы окажем ему помощь.

Юля подошла вплотную к Иванне, положила ей на плечи худенькие руки, долго смотрела в глаза, а потом спросила:

— Слушай, Иванна... А если бы представилась возможность помочь им?.. Ты бы помогла? Ведь ты ход туда имеешь!

Иванна выдержала острый и прямой взгляд подруги и, тряхнув длинными, густыми волосами, сказала:

— Так! Что надо сделать?

— Я посоветуюсь с нашими.

— Кто это — наши?

— Хорошие люди!

НОЖНИЦЫ

Выплескиваясь на соседние улицы, бушевал непомерно разросшийся за годы оккупации Краковский базар.

Чего здесь только не было! Какие песенки можно было услышать!

Курносый замурзанный молодой львовский босяк — батяра, озираясь, нет ли вблизи полицаев, пропел на ходу:

Пане Гітлер, дайте мила,
Бо вже воші мають крила...

Голосистые торговки-спиртоносы, бродя меж лотков с горячей, распаренной колбасой в кастрюлях, с фляжка-

ми под фартуками, таинственно, вполголоса, предлагали спиртные напитки оккупационных лет:

— Чмага! Чмага! Чмага!

— Бонгу! Бонгу! Бонгу!

— Айконьяк! Айконьяк!

А чего только не покупали и чем не торговали в те времена на Краковском рынке — от португальских сардинок, мыла из человеческого жира, пшениных лепешек, французских духов и коньяков до боевых пистолетов и даже автоматов! Оружие охотно сбывали из-под полы сомнительные союзники гитлеровцев — итальянские солдаты и даже офицеры из расположенного во Львове итальянского гарнизона «Ретрови итальяно». Что им было до того, что оружие попадало к участникам подполья! Итальянцам надоела война, в которую втянул их страну Муссолини.

Иванна в черной сутане бродила по узеньким проходкам.

Вот она наклонилась, поторговалась, протянула хозяину развала деньги и забрала у него большие ножницы для резки кровельного железа. Поспешно спрятала покупку в тот самый портфель, в котором некогда хранились декларации, и попросила дать ей еще одни ножницы.

Потом подошла к другому торговцу. Тоже взяла ножницы. У третьего — еще одни.

Из соседнего ряда заметил Иванну совершающий обход с патрулем полиции Каблак. «Наверное, игуменья послала ее купить ножницы для монастырского сада!» — подумал он, не сводя глаз с монахини, которая давно уже ему приглянулась. Не будь на пути его старого дружка Гереты, он бы и сам приволокнулся за дочерью Ставничего.

Иванна остановилась около пожилой торговки. Совершенно новые, еще в масляной смазке, завернутые в пергамент, лежали на фанере трое ножниц. С пружинами, крепкие. Надежные!

— Почему пани продает ножницы?

— По пендзесент пьенць¹ злотых! — Торговка зевнула.

¹ Пятьдесят пять (польск.).

— А разом все? — Иванна вопросительно посмотрела в мутные глаза торговки.

— Пусть будет за сто пятьдесят!

Ставничая порылась в широких карманах сутаны, достала оккупационные золотые, пересчитала их и растерянно оглянулась, не замечая внимательно следящего за ней Каблака. Взгляд ее снова задержался на руке с деньгами. Не хватало!

Внезапно Иванну осенило. Она сняла с пальца сверкнувшее на солнце обручальное кольцо и протянула его торговке.

— Я забираю все ножницы, а пани оставляю в залог кольцо. Пусть пани будет так добра принести завтра кольцо на базар — я обменяю его на деньги.

Опасаясь подвоха, торговка осторожно взяла кольцо, недоверчиво повертела его в руках и спросила:

— А то настоящее золото?

— Посмотрите пробу!

Торговка попробовала кольцо на зуб.

— Если бы пани не была монашкой...

Не дослушав, Иванна быстро положила ножницы в портфель и, сказав: «Я буду здесь завтра», исчезла в сутолоке базара.

Торговка хитровато подмигнула соседу, как бы говоря: «Черта с два я приду завтра на базар! Ищи ветра в поле», — и еще раз, как очень вкусную конфету, попробовала кольцо на зуб. Нежданно-негаданно перед нею вырос Каблак в сопровождении двух полицейских.

— Пани может подавиться! — сказал он, улыбаясь, и жестом потребовал, чтобы торговка отдала ему кольцо.

— Проше пана, проше пана, — засуетилась та. — То мое личное обручальное кольцо. Як бога кохам!

— Давай, пани, и не рыпайся, а то пойдешь со мной в криминальную полицию. Не знаешь разве, что все золото надо отдавать для победы империи?

Торговка неохотно протянула Каблаку золотое кольцо, проклиная в душе незнакомую монахиню, которая всучила ей эту быстро уплывшую из рук драгоценность.

Каблак, внимательно разглядывая кольцо, захохотал:

— Ого! Значит, пани — крестница самого митрополита? Сколько же лет было пани, когда ее крестили? И как

это его эксцеленция не надорвался, опуская такую крошку в святую купель?

Испуганно, ничего не понимая, смотрела на Каблака дородная торговка, а потом сама стала подхихикивать, радуясь, что он не потащит ее в комиссариат криминальной полиции. А два полица, тоже лъстиво посмеиваясь, с завистью наблюдали, как поручик опустил золотое кольцо с дарственной надписью в карман черного мундира.

НОЧНОЙ КОНЦЕРТ

Иванна Ставничая подошла с группой дам-патронесс к решетчатым воротам, ведущим в сталаг Цитадели. Над воротами распростер черные крылья орел, сжимающий в когтистых лапах круг со свастикой.

Как и в прошлый раз, дамы несли пачки молитвенников, портфели с декларациями.

Часовой преградил путь.

Иванна — игуменья поручила заменить ее в этот день — смело приблизилась к часовому:

— Мы из допомогового комитета. Вот пропуск от Охерналя!

— А здесь что? — часовой ткнул пальцем в большой пакет, что держала монахиня под мышкой.

— Молитвенники! — твердо ответила Иванна.

Полицай прочел пропуск и бросил:

— Не задерживайтесь долго, как в прошлый раз. По-быстрому давайте!

— Пусть дадут сигнал сбора! — попросила Иванна.

Пропустив делегатов за ворота, полицай заколотил в стальной рельс. И, как прежде, на звуки гонга стали выходить и выползать отовсюду — из всех укрытий Цитадели и из проволочных загоронок — военнопленные.

Оторвавшись от дам-патронесс, Иванна пошла вдоль ограды, стараясь найти Журженко и Зубаря. Наконец она заметила старшего лейтенанта, который, едва передвигая ноги, приближался к проволоке.

— Я принесла вам декларацию. Подписывайте! — повелительно сказала Иванна.

— Когда рак свистнет! — отозвался Зубарь и тут услышал шепот Иванны:

— Так надо. Берите. Привет от Юльки. Понимаете? Ну...

Зубарь лениво взял декларацию.

— Следите, где я оставляю пакет, — шепнула Иванна.

Заслоняя собою пакет с «молитвенниками», она опустила его по сутане на землю и потом протолкнула за проволоку. Как футбольный мяч, коротким пасом Зубарь перегнал пакет за спину. Как будто ничего не произошло, он стоял, навалившись на проволоку, разглядывая текст декларации.

Иванна двинулась дальше. Увидела Журженко, шепнула:

— Подойдите к Зубарю. Ему нужно помочь. Слышите?

Было в ее голосе что-то такое, что заставило Журженко подчиниться, и он поплелся вдоль ограды...

Когда совсем стемнело, во дворе Цитадели, разделенном на проволочные клетки, послышалась мелодия песенки о Марселе. Сидя под стеной бастиона, ее брэнчал на банджо Эмиль Леже.

Неоднократно лагерное начальство пыталось отнять у Леже любимый инструмент, но он яростно отстаивал его, зная, что французы, англичане, американцы, канадцы и австралийцы, попадающие в гитлеровский плен, все же имели некоторые поблажки. В отличие от советских военнопленных, предоставленных самим себе, о них заботился Международный Красный Крест. Изредка он направлял пленным продовольственные посылки и одежду.

Леже часто играл на банджо, скрашивая этим хоть немного муки плена.

Сегодня его голос звучал громче, струны звенели сильнее. Синий луч прожектора скользнул, рассекая темноту, и уткнулся в грудь Леже.

Вахман, стоящий на сторожевой вышке, управляя прожектором, крикнул:

— Эй, Франция! До холеры ясной — чего раскричался? Думаешь, оставили тебе тую мандолину, так можешь и по ночам спевать?

— Пусть играет! Не чипай его, будь человеком, — отозвался на этот крик Зубарь. — Хлеба не даете, так

хоть песни послушаем. Все равно не спим — кишки марш играют. Жаль тебе, что ли?

Вахман на минуту пересек лучом прожектора лицо Зубаря и снова направил синее пятно света на француза, освещая его, как на подмостках театра. Видно, и вахману было скучно, и он стал гладить лучом прожектора бородастое лицо Леже, а тот, закрыв глаза, не обращая внимания на забаву вахмана, продолжал играть.

Как только темнота поглотила Зубаря, он повалился на бок и под аккомпанемент банджо стал резать ножницами проволоку внешнего обвода.

Спокойно брэнчал на банджо Леже. Волнуясь, резал проволоку Зубарь. Напрягаясь и морщась от боли, перекусывал ножницами проволоку капитан Журженко. Весть, полученная с воли, что их ждут там, за Цитаделью, придавала каждому силы.

Острые ножницы действовали безотказно, разгрызая колючую проволоку. Звуки банджо заглушали шелканье ножниц, звон падающей на сухую землю проволоки. Был перерезан последний ряд, открывая по глинистым склонам дорогу вниз, на волю. Один за другим поползли военнопленные через лаз. Прижимаясь к земле, сливаясь с нею в своей грязной одежде, они старались не попадать под ленивые лучи прожекторов.

— Эмиль, кончай концерт! — тихо позвал француза Зубарь.

Перебросив за плечи банджо, Леже припал к земле.

Военнопленные собирались в овраге, под склонами Цитадели.

— Куда теперь? — шепнул один из пленных.

— Капитан знает! — ответил другой.

— За мной! Только тихо! — скомандовал Журженко.

Капитан Журженко завел всех в полуразрушенное здание на улице Богуславского и показал Зубарю на круглую крышку канализационного люка в подвале:

— Здесь!

Зубарь отвалил крышку, и навстречу ему сверкнул огонек электрического фонарика.

— Иван Тихонович? — раздался снизу знакомый голос Голуба.

— То я, Голуб! — радостно отозвался Журженко. —

Спускаться по очереди! — подал он команду. — Там свои...

— Только швыдче, хлопцы, я посвечу! — поторопил Голуб.

По ржавым и скользким ступеням один за другим военнопленные спустились в канализацию Львова. Здоровые помогали раненым. Их осторожно принимали внизу Садаклий, Голуб и Грицько Щирба в мундире украинского полиция. Посвечивая фонариками, они показывали, куда ставить ноги, чтобы не оступиться в черную воду на дне канала.

Беглецы, попав из отвесного канала в горизонтальный, более просторный, постепенно обвыкались в темноте.

В сырых бетонных сводах канала из его ответвлений струйками стекала вода.

— Все спустились? — спросил Журженко.

При свете бегающих лучей фонариков Зубарь пересчитал всех, узнавая знакомые лица:

— Один, два, три, четыре... двадцать два... Двадцать два, товарищ капитан! — доложил он. — Наша группа вся здесь, ну, а остальные, кто полз за нами, разбежались кто куда...

Капитан с облегчением вздохнул. Он пожал руки Садаклию и Голубу.

— Спасибо, друзья!

— Нема за що, — сказал Голуб. — Вы, Иван Тихонович, принимайте всех пока под свою опеку, а мы с товарищем Садаклием поглядим, какая погода наверху. Ждите нас здесь...

Вдвоем с Садаклием они полезли вверх по отвесному колодцу и, добравшись до подвала полуразрушенного дома, прислушались.

— Пока не заметили, — шепнул Голуб Садаклию. — Остальные хлопцы уж, наверное, за Стрыйским парком, Нехай подфартит им! А теперь давайте гостинцы...

Они быстро окружили люк кольцом противотанковых мин и засыпали эти «гостинцы» соломой.

ПОГОНЯ

Тревожно завывала сирена. Голуб, задержавшись, увидел, как прожекторы быстрыми лучами рассекали вершину горы Вроновских.

Догнав Садаклия уже внизу, он радостно сообщил: — Пробочка — будь здоров! — И, обращаясь к военнопленным, что выстроились, как на проверке, на узенькой панели под сводами канала, добавил: — Зараз, хлопцы, придется помокнуть, но зато проберемся туда, где нас никакой сатана не достанет.

Измученным пленникам Цитадели пришлось преодолеть водопады, бьющие из поперечных коллекторов, пролезать под каскадами грязной воды и нечистот по ржавым железным лестницам вверх и вниз, лежа протискиваться вслед за Голубом по ослизлым трубам к более широким подземным тоннелям, где шумели, закипая грязной пеной, многочисленные потоки, устремляющиеся к единому руслу подземной Полтвы.

Погружаясь до пояса в зловонную и густую грязь, беглецы из последних сил преодолевали препятствия. Остатки промокнувшей до нитки одежды прилипали к их худым, истощенным телам, но каждый, стиснув зубы, терпел.

Сделав круг над головой фонариком, Голуб подбодрил беглецов:

— Уже близко. Скоро будем под собором святого Юра.

Когда на горе Вроновских завывли сирены, Каблак и произведенный в сотники его «кумпан» Зенон Верхола коротали ночь дежурства в команде украинской полиции на Паркштрассе за игрой в реми-бридж. Услышав сигнал тревоги, они вместе с полицейским нарядом бросились в Цитадель. С горы Вроновских через прорыв в заграждении полиция устремились вслед за Каблаком на Пелчинскую. Одна из овчарок, которую держал на поводке Верхола, взяв след, потянула направо.

— Она что-то чует, Дмитро! — крикнул Верхола. — Пусть все бегут до Стрыйского парка, а мы давай с хлопцами сюда! — и он махнул рукой в сторону улицы Богуславского.

Грохоча сапогами по скользким от ночной росы камням тротуара, полиция рванулись туда. Но Каблак задержался. Лучик его фонарика уткнулся в лежащие на тротуаре раскрытые ножницы. Каблак нагнулся, поднял их, соединил лезвия и вдруг вспомнил: Краковский базар,

Иванна в монашеском одеянии опускает в портфель тяжелые ножницы. Золотое кольцо все еще лежало в боковом кармане мундира Каблака. Какой же он все-таки дурень: решив потихоньку присвоить золотое кольцо, не дал сразу ход делу со странными покупками, которые сделала невеста Гереты!

Остромордая поджарая овчарка все сильнее тянула Верхолу к полуразрушенному дому. Держа в одной руке ножницы, а в другой вороненый «вальтер», Каблак едва поспевал за сотником.

— Хлопцы! Сюда! — радостно закричал Верхола, придерживая собаку и ногой раскрывая двери подвала.

Один за другим разгоряченные полицаи, пригибая головы в черных «мазепинках», ввалились по выщербленным каменным ступенькам в подвал вслед за Верхойлой. Внезапно два страшных взрыва потрясли темные своды.

Отсвет минных взрывов заставил отпрянуть чуть запоздавшего Каблака. Он заслонил лицо тяжелыми блестящими ножницами.

Прогремель еще взрыв. По-видимому, какой-то ошалевший полицейский, метнувшись в сторону, наступил еще на один «гостинец» Голуба.

Совершенно не понимая, что же происходит внизу, испуганный Каблак не глядя выпустил туда всю обойму из «вальтера». Потом, видимо что-то сообразив, завопил:

— Там засада, хлопцы! Назад!

Разрывом мины Зенон Верхола был убит наповал. Два полицаи и овчарка тяжело ранены. Одного полицаи контузило. Пока вызывали по телефону из команды гарнизона армейских саперов, никто больше не решался спуститься в подвал. Полицаи только оцепили полуразрушенный дом, держась от него на почтительном отдалении.

ПРОЩАЙ, МОНАСТЫРЫ!

Каблак с тремя уцелевшими полицаями сразу помчался темными улицами Львова к монастырю сестер-василианок. Вынув из пистолета магазин с патронами, он изо всех сил заколотил прикладом «вальтера» по старинной дубовой двери монастыря.

Этот стук и визгливый, захлебывающийся лай собак

разбудили даже тех монахинь, которые спали крепко и не слышали сирен, воющих на горе Вроновских.

За решеткой одного из окон, порой освещаемого щупальцами голубых прожекторов, притаилась, напряженно вслушиваясь, Иванна.

Привратница разбудила игуменью. Пока та одевалась, Ставничая открыла окно своей кельи на втором этаже.

Сбежав вниз, игуменья осторожно прикинула к медному глазку — юдашу, силясь увидеть, что происходит на улице.

— Кто там? — спросила она испуганно.

— Мать игуменья, то я, Каблак, поручик полиции! — И в подтверждение своих слов осветил свое потное лицо лучом фонарика. — А то мои люди.

— Каблак не Каблак — не пушу! В такую пору — и в женский монастырь? Вы что, показились?

— Нам только одна особа у вас нужна. Всего одна. Мы обыска робить не будем, — умолял Каблак.

— Кто вам нужен? — резко спросила игуменья.

Каблак оглянулся на кусты боярышника и, прислонив губы к открытому глазку, прошептал:

— Ставничая!

Шепот долетел из ночной тишины до Иванны, прильнувшей к окну. Она сразу же метнулась в глубь кельи, схватила маленький чемоданчик и по винтовой железной лестнице тихо спустилась в трапезную. Ее обдало запахами горелого подсолнечного масла и кислого хлебного кваса. Через кухню, черным ходом, она проникла в сад и, прошелестев кустами, подбежала к монастырской стене. Несколько раз подпрыгивала она, пытаясь схватиться за черепичный гребень стены, но безуспешно. Рядом росла кривая груша. Иванна влезла на нее и с ветки забралась на стену. Швырнув на улицу чемоданчик, подобрав сутану, она прыгнула вниз.

Подбежав к домику, где жила Цимбалистая, Иванна дробно застучала в окно. Окно открылось, и заспанная Юлька тихо окликнула:

— Кто то?

— Юльцю! То я, — оглядываясь, шепнула Иванна.

Цимбалистая раздвинула вазоны с фикусами и, протянув подруге руку, втащила ее в комнату. Запинаясь, Иванна рассказала обо всем.

Поспешно, все еще дрожа от пережитого, сбросила сутану и надела платье, хранившееся у Юльки.

— В монастырь возврата нет! — сказала Иванна, приводя в порядок волнистые, густые волосы. — Кончится полицейский час, ты проводишь меня на вокзал и купишь билет. Поеду до татуса.

— Варьятка!¹ Ничего более умного не придумала? Я тебе куплю билет, а тебя с этим самым билетом зацепают в вагоне еще до того, как поезд до Грудека Ягеллонского дойдет.

— Что же мне делать? — растерянно спросила Иванна.

— Придумаем, — сказала загадочно Юля. — Свет не без добрых людей...

ПОДЗЕМЕЛЬЕ ПОД СОБОРОМ

Панас Голуб знал, что под собором святого Юра находятся глубокие средневековые подвалы. Они были замурованы, но Голубу и его рабочим были известны многие лазы туда. Ведь именно в этих подвалах в двадцатые годы проходила подпольная конференция Коммунистической партии Западной Украины. Здесь и решили укрыть от гестапо беглецов из Цитадели. Не станут же гестаповцы тревожить покой седовласого митрополита!

В большом, просторном подземелье под собором святого Юра снова сталолюдно. Яркие карбидные лампы давали вполне достаточно света. Ящики с оружием и продуктами были расставлены вдоль стен. Чтобы сократить длинный, кружной путь по грязным коллекторам и каналам, Голуб и его друзья с помощью садовника митрополита пробили дополнительный выход из подземелья в глухой, заросший колючим одичавшим крыжовником, запущенный конец монастырского сада. Вряд ли можно было подумать, что под кучей поломанных тачек и носилок находится хорошо замаскированный вход в подземелье. Вот этим-то ходом на следующий же вечер после побега военнопленных Цимбалистая и Голуб привели под собор святого Юра Иванну.

¹ Сумасшедшая.

Вместе с Юлькой Иванна перевязывала раненых свежими бинтами, отдирая грязные лохмотья и швыряя их в канализацию, где эти обрывки окровавленной материи забирала быстрая вода.

— Попить, сестрица, — попросил истощенный донельзя раненый.

— Потерпите малость! — сказала Юля, прислушиваясь к визгу ручного сверла в соседнем отсеке.

Она прошла туда и увидела, как пограничник Банелин, держа над головой в вытянутых руках ручную дрель, сверлит проходящую в каменной кладке чугунную трубу.

— Скоро, товарищи? — спросила Юля. — Большим необходима вода: все, что принесли в флягах, — выпито.

— Давай-ка я посверлю, — сказал друг Банелина Бойко, приподнимаясь на цыпочки. В его руках сверло завертелось быстрее.

Обращаясь к Юльке, Банелин спросил:

— Подружка-то небось перепугалась вчера, когда арестовывать ее пришли?

— Вчера перепугалась, а сегодня отошла, — сказала Юлька.

— Вода! — закричал Бойко. — Вода!

Он выхватил из трубы сверло, и оттуда, искрясь в свете карбидной лампы, вырвалась тонкая, но сильная струя свежей и чистой воды.

Все, кто в состоянии был передвигаться, схватили пустые котелки, консервные банки, бутылки и стали подставлять их под струю.

Спустя несколько часов в подземелье шумно гудели примусы. На них подогревалась в ведрах и банках вода для раненых.

Когда Голуб вернулся с воли, Бойко торжественно протянул ему, как бесценный дар, консервную банку, полную воды. Голуб, утомленный блужданиями по городу, жадно пил. Капли воды стекали на его волосатую седую грудь, на брезентовые шаровары.

— Знатная вода! Уф! — похвалил Голуб. — Молодцы хлопцы, что добыли. Теперь мы заживем. Харчей в достатке, огонь есть, вода тоже — чего еще человеку надо?

— А товарища Садаклия все нет и нет! — с тревогой сказал Банелин. — Не страшно ли с ним чего?.. Хотя постоит, кто-то, кажется, пришел!

Он встал и пошел к выходу. Через минуту вернулся вместе с Садаклием, одетым в штатский костюм. Серая фетровая шляпа сильно изменила его.

— На похоронах задержался, — сказал Садаклий. — Пришлось поплакать немного!

— Кого хоронили? — спросил Журженко.

— Полицаев, что подорвались на подарках Панаса Степановича в подвале на улице Богуславского.

— Правда, Тимофей Романович? — обрадовался Голуб.

— Один на месте угас сразу — сотник полиции Зенон Верхола. Старый немецкий агент. А двое в больнице богу душу отдали. Катабасов, катабасов пришло отпевать их на Лычаковское кладбище — туча! Как воронье слетелись. На одного убитого по четыре попа, не меньше. Сам архиепископ речь говорил.

— Архиепископ? — удивился Банелин.

Голуб посмотрел на него умными, с хитринкой глазами:

— Ты, наверное, Банелин, на своем веку там, в Сибири, еще ни одного живого архиепископа не видел. А я-то их здесь насмотрелся. — Он показал пальцем в потолок подземелья. — Там вместе с архиепископом Иосифом Слипым митрополиту помогают управлять полами епископы Иван Бучко, Никита Будка, Николай Чарнецкий, в Перемышле — Иосафат Коцыловский и Григорий Лакота, в Станиславе — Григорий Хомышин и Иван Лятишевский...

— Ого, сколько их! — протянул Банелин.

— Сила. Черная, страшная сила, — заметил Садаклий. — Так сказать, начсостав, команды митрополита. Для них убитые полицаи — большая потеря.

— Недаром наша пословица говорит: «Полиций стреляет, а бог пули носит», — сказал Голуб.

— Как же они толкуют эту потерю? — спросил Журженко.

— Как толкуют? — повторил Садаклий. — Плакались всё: погибли самые лучшие, самые отважные сыны национализма от рук жидов и коммунистов. Так, впрочем, было написано на венке митрополита. Повсюду по городу объявления расклеены — гончие листы: кто укажет, где беглецы скрываются, сразу на руки получает пять литров

водки, продукты разные и двадцать тысяч марок наличными.

— Дорого нас оценили! — засмеялся Банелин.

«РОТА ПРИСЯГИ»

Митрополит Шептицкий, принимавший в розовых покоех, залитых солнечным светом, штурмбанфюрера Дитца, и не подозревал, что в это же самое время внизу его гостеприимством пользуются совсем другие «гости».

Хозяин и Дитц расположились у инкрустированного столика, на котором высилась оплетенная соломкой бутылка французского коньяка «Мартель», а в маленьких чашечках дымился черный густой кофе.

— Последние события меня очень огорчили, господин Дитц, — играя коньячной рюмкой, говорил Шептицкий. — Наши цели едины — вы это прекрасно знаете. Стоило ли ночным вторжением полиции в женский монастырь вызывать в народе волнение? Не проще ли было прежде всего сообщить об этом мне?

— Действия поручика Каблака не были предварительно согласованы со мной, — сухо заметил Дитц.

— Вот видите! — оживился митрополит. — А девушка испугалась и убежала. Кому охота попадать в руки полиции? Я убежден, что она ни в чем не виновата. Она моя крестница...

— Мне горько разочаровывать вашу эксцеленцию, — учтиво сказал Дитц, — но в общих интересах вынужден это сделать. — Он раскрыл бумажник и протянул митрополиту обручальное кольцо. — Скажите, вам знакомо это кольцо?

Шептицкий повертел кольцо в руках, прочел знакомую надпись на его внутренней стороне и сказал с удивлением:

— Знакомо, конечно, знакомо. Но каким образом оно попало к вам?...

«Вот здесь-то и наступил самый решительный момент в моей жизни, — писал в своей тетради Ставничий. — Мне приказано было явиться в капитул немедленно. Я никак не мог связать вызов в консисторию с судьбой дочери. Мне даже казалось вначале, что митрополит на-

столько благосклонен к моей особе и несчастьем, которое постигло мою церковь в первый час войны, что захотел перевести меня из Тулиголов во Львов и сделать членом капитула».

Наивным, очень доверчивым был отец Теодозий! Мог ли он знать, что вызов его в консисторию — этот штаб греко-католической церкви Западной Украины — был прямым следствием беседы Дитца с Шептицким?

Прямо с вокзала он спокойно направился в палаты митрополита. Однако на этот раз ему пришлось долго ждать.

Наконец распахнулась дверь, и келейник Андрей сказал:

— Отец Теодозий! Председатель консистории и генеральные vikарии просят вас пожаловать на заседание!

«На заседание? — с тревогой подумал Ставничий, поднимаясь и одергивая сутану. — С какой это стати на заседание?» Он ожидал, что с ним побеседует митрополит или кто-нибудь из доверенных советников консистории. А дело, видимо, было гораздо серьезнее.

Ставничий окончательно убедился в этом, войдя в зал. Консистория заседала в полном сборе. Правда, на председательском месте сидел не митрополит, а замещающий его генеральный vikарий — румяный, круглолицый епископ Иван Бучко.

Отец Теодозий увидел даже главного схоластика капитула отца Алексия Пясецкого, который некогда был домашним прелатом самого папы римского Бенедикта XV. Из-за преклонных лет он вызывался на заседания консистории только в самых важных, исключительных случаях.

Ставничий остановился неподалеку от аналоя перед раскрытым Евангелием, взгляды всех сидящих сосредоточились на нем. Невысокий, щупленький старичок, нервно мнувший в руках соломенную панаму, был очень жалок перед лицом этой элиты священнослужителей митрополии. Он все еще не догадывался, для чего его вызвали.

Епископ Иван Бучко поднялся со своего места и, поправив бриллиантовую панагию, висющую на груди, откашлялся.

— Отец Теодозий, — сказал он торжественно, — перед началом судебного разбирательства извольте произнести «роту присяги».

— Судебного? — изумился священник. — Меня собираются судить? За что?

— Все будет зависеть от вашей искренности, — отрезал Бучко. — Выполняйте установленный обряд!

Взглянув на каменные лица участников религиозного трибунала, отец Теодозий подошел к аналою, на котором возлежало старое Евангелие в кожаном тисненном переплете. Сотворив крестное знамение, глухим, дрожащим голосом он пробормотал:

— Я, иерей Теодозий Ставничий, присягаю господу всемогущему, в троице святой единому, что в разбираемом деле буду говорить чистую правду, ничего к ней не прибавляя и ничего не отнимая. Так помоги мне, боже и это святое Евангелие...

Он наклонился, поцеловал Евангелие, и его седые волосы упали на тисненый золоченый переплет.

— Хорошо, отец Теодозий, — сказал Бучко. — Итак, слова «роты присяги», которые мы слышали сейчас, обязывают вас говорить только правду... Как вы думаете, отец Теодозий, обязательны ли еще для вас напутствия святейшего отца нашего папы римского Пия Двенадцатого о задачах католического действия?

— Конечно, обязательны, — ничего еще не понимая, запинаясь, ответил Ставничий.

— А что говорил нам всем святейший отец о раздвоении совести? — ласково и вместе с тем не без ехидства спросил Бучко.

— Святейший отец предостерегал нас... против таких явлений, когда бывают люди с одной совестью для личной жизни... и с другой совестью в публичных выступлениях...

— Возможны ли подобные явления в нашей пастырской среде? — перебил священника Бучко.

Теряясь в догадках, все еще не понимая, к чему ведет вопрос, Ставничий сказал неуверенно:

— Возможны, но нежелательны...

— Не могли бы вы привести примеры подобных нежелательных явлений из жизни собственного деканата?

— Простите, я не понимаю!

— Где ваша дочь, отец Теодозий? — Иван Бучко повысил голос.

— По совету его эксцелленции я оставил...

— Его эксцелленция здесь ни при чем! — выкрикнул Бучко. — И вы его сюда не приплетайте. Отвечайте прямо: где ваша дочь?

— Она пребывала в монастыре игуменьи Веры, но после той ночи, как за ней по недоразумению пришли полицаи, испугавшись, бежала.

— Почему же она бежала? Очевидно, чувствовала какую-то вину перед немецкими властями, не так ли?

— Этого я не знаю, — Ставничий развел руками. — Но думаю, что все это чистейшее недоразумение.

— Вы думаете одно, а факты говорят другое! — сказал Бучко. — Ваша дочь, дочь священника, пастыря Христова, связалась с безбожниками, которые в свое время жестоко преследовали нашу церковь. И не только связалась, но и деянием своим помогла этим антихристам уйти из-под стражи. Вот что сделала ваша дочь, отец Теодозий! — И епископ обвел всех членов консистории гневным взглядом.

— Я понятия не имею об этом, — проронил Ставничий.

— Где сейчас Иванна? — спросил Кадочный.

— Она... Я не знаю точно... Я получил от нее письмо... — пробормотал Ставничий.

— Что она пишет? Говорите правду! — визгливо выкрикнул Бучко и потер оплывший глаз.

— Она пишет... Несколько загадочно... Что находится у хороших людей... Она пишет, что, поскольку ей угрожает полиция, лучше ей на время пребывать в неизвестности. Просит не беспокоиться о ее судьбе...

— Ясно всем? — торжествующе сказал Бучко. — Эти «хорошие люди» превращали храмы божии в колхозные конюшни, бражничали в них, как в последней трактирии, поминая имя господи бога нашего всуе, пороча его где только можно, а отец Теодозий послал теперь чадо свое к этим безбожникам на воспитание!

— Ваше преосвященство... Объясните, ради бога! — взмолился Ставничий.

— Вы должны нам объяснить... Вы... Понимаете? — закричал Бучко. — Как это могло случиться, что един-

ственная дочь пастыря божьего, призванного воспитывать прихожан, и прежде всего молодежь, в христианском смирении, попала к нечестивцам, хулящим бога и святую церковь? Мы вправе только за одно это лишить вас сана... Идите!

СОВЕТ МИТРОПОЛИТА

Когда растерянный, запуганный криком епископа и тягостной, удручающей обстановкой церковного судилища отец Теодозий вышел в приемную, к нему приблизился келейник Арсений и с показным сочувствием тихо сказал:

— Его эксцеленция митрополит Андрей хотел бы вас видеть сейчас...

После визгливого крика епископа Бучко мягкий голос митрополита показался Ставничему особенно ласковым, задушевным.

— Отец Теодозий, — говорил митрополит, — принимая деканат в Тулиголовах, вы дали мне лично обещание в послушании и верности и высказали безусловную готовность сообщать все сведения о ереси, которая заползет в души прихожан. Вы это помните?

— Помню, ваша эксцеленция! — Ставничий опустил голову.

— Почему же о ереси, что свила себе гнездо в вашей собственной семье, я узнаю окольными путями, от людей светских, друзей нашей церкви? Почему вы, старый солдат армии Христовой, почти мой ровесник, не пришли ко мне своевременно, не покались? Разве я не смог бы разрешить ваши колебания? Разве я когда-нибудь плохо к вам относился? Были у вас основания чуждаться моего совета?

— Господи! — горячо откликнулся Ставничий.

— Вы понимаете, какую тень бросает вся эта печальная история на вас, на меня, крестного отца вашей дочери, на всю нашу греко-католическую церковь?

— Но ведь я узнал о том, что Иванны убежала из монастыря, когда все это уже свершилось, ваша эксцеленция!

— Хорошо, но почему же она пренебрегла отцовским

домом? Может, вы были в сговоре с ней? — и митрополит пытливо взглянул на священника.

— Что вы, ваша эксцеленция!

— Дело сейчас не столько в ее побеге, сколько в том, где она находится. И вы, ее отец, обязаны — Христом-богом заклинаю вас! — обязаны найти дочь, пока не поздно. Это позор! Вы понимаете — позор! Дочь такого уважаемого священника, моя крестница... О боже! Роману Герете я уже послал вызов с фронта...

— Спасибо, ваша эксцеленция!

— Вы благодарите меня, говорите «спасибо»! А знаете ли вы, что любой другой иерарх на моем месте немедленно бы лишил вас сана?

— Конечно... Ваша доброта...

Митрополит прервал Ставничего:

— А если так, то я вас прошу — разыщите дочь и вызовите ее к себе. Чтобы это было удобнее вам сделать, я поселю вас в монастыре отцов студитов в Кривчицах.

— С ней ничего дурного не станется, ваша эксцеленция?

— Именно от этого дурного я и хочу предостеречь ее, пока не поздно!.

— Как же мне поступать дальше? Где я ее найду? Я совершенно теряюсь, ваша эксцеленция!

— Давайте подумаем вместе! — промолвил Шептицкий, постукивая толстым пальцем по инкрустированной поверхности резного столика. — Бог да поможет нам!

ПОД ЗЕМЛЕЙ СВЕТЛЕЕ

Имя бога поминалось в этот вечер и в подземелье. Журженко, поправив перевязку, которую сделала ему Иванна, проникновенно сказал:

— Спасибо, Иванна. Добрая душа у вас.

— Обычная христианская душа, — Иванна тряхнула волосами.

— Неужели без этого прилагательного человек не может быть попросту добр и, не оглядываясь на бога, помогать попавшему в беду?

— Я давно хотела спросить вас, Иван Тихонович, отчего вы не любите нашего бога?

— Хотите начистоту? — Журженко приподнялся на локте. — «Не любите» — не то слово!

— Ну за что же?

— Я отрицаю вашего бога вообще, Иванна, потому что он учит людей безвольно покоряться злу. И не только Христос, а любой бог, всякий кумир, подобно удаву, замораживает волю человека, заставляет его цепенеть... Вы сами вчера слышали рассказ Садаклия. Что происходит сейчас там, наверху, где господствует ваш добрый, всевидящий, призванный облегчать людские страдания бог? Десяток полицаев подводит к открытым могилам тысячи людей. Людей, верующих в бога и надеющихся на его добрую волю! Их заставляют раздеться и лечь ничком на теплые еще тела застреленных перед ними. И они ложатся. Без ропота. Без сопротивления.

— На пряжечках поясных-то у эсэсовцев написано: «Готт мит унс!» — откликнулся Зубарь. — «С нами бог!» Вот и разберитесь теперь, кому этот бог служит — простым смертным или фюреру Гитлеру и его банде!

— И десяток полицаев расстреливает этих несчастных сверху, в упор, пулями в затылок, — продолжал Журженко. — Почему же они, обреченные, не сопротивляются? Да потому, что до последнего мгновения они уповают на бога! А бог учит: всякая власть от него, и ей надо слепо повиноваться. Разве могли бы гитлеровцы безнаказанно уничтожить миллионы людей, если бы люди верили не в бога, а прежде всего в свои собственные силы, в свою гордость человеческую? Никогда! Бог подвел их к могиле вялыми, напуганными, уже безразличными ко всему. Скажите, неужели вам не понятно, кто воспитал в людях эту тупую покорность? Религия! Давний и верный слуга всех угнетателей!

В подземелье вбежала заплаканная Юлька Цимбалистая.

— Боже, боже, что там творится! В городе акция. В центре все улицы перекрыты. У кого аусвайс не в порядке, тех сразу грузят на трамвайные платформы — и за Лычаков, в песчаные овраги, на смерть. А потом сжигают... У вас, под землей, света куда больше, чем наверху.

— Успокойся, Юля, — сказал, подходя к Цимбалистой, Зубарь. — Отольются волку овечьи слезы. Все при-

помним, решительно все! Верхола нашел свою могилу, найдут собачью смерть и другие гитлерчуки!

Юлька разглядела в полумраке Эмиля Леже.

— Едва добралась к вам, на улице Калечу, Эмиль. Держите письмо от жены! — Она порылась в корзинке и достала оттуда письмо и небольшой пакет. — Тут чистое белье. Ваша жена сперва разрыдалась, а потом выпытывать стала: «Где мой Эмиль? Где?» — «В лесу, говорю, скрывается». — «Я поеду к нему туда!» — «Нельзя, — говорю. — То далеко, к тому же у вас ребенок. На кого вы его оставите?» Едва уговорила ее не делать глупостей и отпустить меня одну, чтобы «хвост» не потянуть за собой.

— Мерси, мадемуазель Жюли. Гран мерси! — сказал Леже и, принимая пакет и письмо, поцеловал руку Цимбалистой, вызвав явное недовольство Зубаря.

— И для тебя письмо есть, — кивая в сторону Ивановны, сообщила Юля. — Татусь твой был у меня. Все допытывался, где ты. А я ему: «Знать ничего не знаю! Решительно ничего не знаю! Как заточили вы ее в тот монастырь, больше, говорю, Иванну не видела». Тогда отец Теодозий написал тебе письмо. «Пусть, — сказал он, — лежит, на тот случай, если Иванна объявится и зайдет». — «Пусть лежит», — согласилась я.

— Татусь сейчас в городе? — спросила Иванна.

— И долго еще будет в городе. Он приехал лечить глаза, поселился у монахов-студитов в Кривчицах. Митрополит денег ему дал на лечение... Держи письмо.

Иванна разорвала конверт и поднесла листочек к свету карбидной лампы.

Прочитав письмо, растерянно оглянулась. Журженко встретился с ней взглядом:

— Что-нибудь неприятное?

— Бедный татусь! — Иванна заплакала.

— Ему что-нибудь угрожает? — еще настойчивее спросил Журженко.

— Да вот послушайте, — сказала Иванна, утирая слезы, — что он пишет: «Письмо твое получил. Но где ты, я не знаю, ума не приложу, что думать. Очень тоскую по тебе и хочу действительно верить, что ты у хороших людей. Возможно, через несколько дней я лягу на операцию. Будут снимать катаракту с левого глаза... Как бы

мне хотелось перед этим повидать тебя, прижать к сердцу твою родную головку. Ты ведь одна-единственная осталась теперь в моей жизни в это суетное время. Я живу в пятой келье монастыря студитов в Кривчицах. Там совершенно безопасно, если ты захочешь увидеть меня без посторонних глаз. Быть может, «хорошие люди» поймут, что значит отцовское чувство, и не помешают тебе увидеть меня перед операцией. Приходи, моя доченька. В любое время дня и ночи приходи. Жду. Твой татусь».

Письмо было подсказано отцу Теодозию Шептицким. Ни о какой операции, конечно, и речи быть не могло. Старое бельмо на левом глазу ничего общего с катарактой не имело.

При общем молчании обитателей подземелья Иванна сложила письмо и вопросительно посмотрела на капитана.

— Темное дело! — сказал, качая головой, Зубарь. — А что, если это полицейская ловушка?

— Полицейская?! — воскликнула Иванна, вспыхивая. — Вы не знаете моего отца. Он никогда бы не пошел на такую подлость!

— Жаль, нет Садаклия, — заметил Зубарь. — Он бы разобрался.

— Отец Теодозий очень плохо выглядит, — тихо сказала Юлия. — Он плакал...

— Я пойду к нему! — решила Иванна.

— Погодите, Иванна, вернется из Ровно Садаклий, тогда посоветуемся, — сказал Журженко.

— Ничего мне не сделается! — успокоила его Иванна. — Я в центре города показываться не буду. Доберусь туда околицами.

— Нельзя! — настаивал Журженко.

— Почему это нельзя? Я добровольно пришла к вам, добровольно могу и уйти!

— А я не разрешаю вам! — Журженко встал, опираясь на палку.

— Не разрешаете? — возмутилась Иванна. — Тогда... — И, схватив платок, она бросилась к выходу.

Прихрамывая, Журженко побежал за ней.

— Иванна! — крикнул он. — Иванна! Банелин, не выпускай!

Крик его прокатился далеким эхом.

— Ну, чего вы хотите? — донесся из темноты голос Ставничей.

Посвечивая фонариком, Журженко подошел к Иванне. Он осветил на минуту ее решительное лицо и, взяв девушку за руку, сказал:

— Не надо! Не делайте глупостей!

— Я знаю, вы мне не доверяете. Вы боитесь, что я приведу сюда немцев.

— Любовь и недоверие не могут уживаться рядом.

— Любовь. Что вы сказали? — смутилась Иванна.

— Не ходите... Иванна, родная, — тихо сказал Журженко.

ЗАСАДА

Всю ночь Иванна не могла уснуть. Все ее мысли были с отцом. На рассвете, воспользовавшись тем, что Банелин, сидящий у замаскированного входа, задремал, она неслышно вынырнула в монастырский сад. Ей удалось, избегая встречи с патрулями, добраться до селения Пасеки.

Кривчицы с церквушкой на околице были уже совсем близко — оставалось только пересечь шоссе. Но это было опасно. За дрожжевым заводом, по другую сторону шоссе, находились известные многим Пески — глубокие песчаные овраги, где гитлеровцы убивали людей и сжигали трупы своих жертв. Вскоре после того, как фашисты заняли город, они подвели к Пескам трамвайную линию и по ней преимущественно ночью на открытых платформах — лёрах — привозили тела убитых во львовском гетто и Яновском лагере смерти или тех, кого намечено было уничтожить на месте, в оврагах.

Район Песков тщательно охранялся несколькими поясами оцепления, и потому, обогнув дрожжевой завод значительно восточнее, Иванна прошмыгнула через шоссе почти у спуска в Винники и стала карабкаться по склонам, поросшим буковым лесом, на Чертовскую скалу.

Наверху Иванна с наслаждением легла в мягкую траву. На трамвае она могла попасть к монастырю студитов за каких-нибудь полчаса, теперь же ей пришлось сделать крюк в добрых пятнадцать километров.

Освещенная утренним солнцем деревянная часовенка церкви и каменное здание монастыря хорошо просматривались отсюда. Полежав немного, Иванна двинулась туда. Вниз сбегать было куда легче, и вскоре она очутилась на поле с копнами сжатой пшеницы.

Пересекая мелколесье и глинистые овраги, она добралась полями до деревянной церквушки, окруженной частоколом и кленами. Миновала ворота, ведущие на погост, и, предвкушая встречу с отцом, быстрее пошла проселочной дорогой, ведущей на монастырское подворье. Внезапно из-за поворота навстречу ей, загораживая путь, выскочил Каблак. Его «мазепинка» была надвинута на лоб.

— Приятная встреча, пани Иванна!

«Засада», — поняла девушка. Она метнулась было назад, но тут как из-под земли выскочили два полицейя и крепко схватили ее за руки.

— Спокойненько, пани Иванна, — улыбнулся Каблак. — Спокойненько!

— Тато, тато! — закричала в отчаянии Иванна.

На ее крик открылось окно в монастырской келье, и она увидела своего отца. Прикрывая ладонью глаза от косых лучей солнца, отец Теодозий силился разглядеть, что происходит во дворе. Каблак приказал полицейям:

— Давайте ее до самоходу. Быстро, ну!

Через несколько минут связанная Иванна лежала на полу дребезжащего грузовика «зауэр», а сидящий поодаль в кузове на сосновой скамейке Каблак приговаривал:

— И отца звать не надо было! Все равно он ничем бы пани не помог, только разволновался бы. А у него больное сердце. Жалеть папу надо...

Иванну привезли в следственную тюрьму на улице Лонцкого. Мало кто выходил отсюда живым.

Большинство узников, попадавших на «Лонцкого», исчезали бесследно. Изредка фамилии наиболее видных антифашистов после их расстрела печатались на красных объявлениях, подписанных начальником полиции и СД провинции Галиции бригаденфюрером СС Фрицем Катцманом либо его предшественником — Димом.

На первый допрос Иванны Альфред Дитц пригласил Романа Герету. Штурмбанфюрер, попыхивая сигарой, удобно развалился в мягком кресле за письменным столом следственной комнаты — динстцимера. Читая протоколы предыдущих допросов, он делал вид, что его несколько не интересует беседа молодых людей.

У дверей комнаты стояли два эсэсовца с автоматами.

— ...Образумьтесь, Иванна, — тихо говорил бледный Герета, — если вы расскажете всю правду, господин Дитц сможет выхлопотать вам помилование. Ведь у вас еще вся жизнь впереди!

Хорошо пригнанная к сухощавой фигуре Гереты форма военного капеллана эсэсовской дивизии была весьма к лицу молодому богослову. Устало положив на колени закованные руки, Иванна молчала. Слова Романа проносились мимо ее сознания. Она тупо смотрела на носки сапог низенького эсэсовца и мысленно собирала остатки воли для того, чтобы не сказать ничего.

— ...Я люблю вас, Иванна, говорю это совершенно искренне, и потому...

— Искренне? Это вы говорите об искренности! — вдруг прорвало Иванну, и, подняв на Герету гневные, наполненные слезами темные глаза, она не сказала, а почти выкрикнула: — Думаете, я не знаю, кто подговорил Каблака отказать мне в приеме в университет? Кто украл адресованную мне телеграмму? Кто обманным образом завлек меня в монастырь? Разве так поступают честные, искренние люди?

— Да, я сделал это, — признался Герета. — Но для вашего же благополучия. Невесте будущего священнослужителя не пристало учиться в советском университете!

— А где он, ваш университет? — воскликнула Иванна и кивнула на Дитца. — Вот эти, с запада, его вам открыли?

— Подумайте, где вы находитесь, Иванна!

— Подумайте, подумайте, — не скрывая презрения и ненависти, сказала Иванна. — Какой же вы лицемер! И вор! Да, вор! Вы счастье мое украли... Мечту мою украли... Вы и вам подобные. Как Иуда, предали меня...

— Именем бога заклинаю вас, образумьтесь!

— Какого бога? — окончательно взорвалась Иванна. — Который привел на Украину таких вот палачей? Что вы машете мне? Да они сами не скрывают этого. Гляньте, — закованными руками Иванна показала на фуражку Дитца с высокой тульей, что лежала на несгораемом шкафу. На околыше фуражки виднелось серебряное изображение черепа и перекрещенных костей. — Вот что они несут людям. Смерть! А я люблю жизнь и никогда не предаю тех, кто за жизнь борется. . .

Дитц, утратив показную выдержку, вскочил и ударил кулаком по столу:

— Хватит с меня большевистских митингов! Этот диалог прекрасно показал ваше лицо, Ставничая. Все ясно. Последний раз спрашиваю: где скрываются пленные, которым вы помогли бежать?

— Сознайтесь, Иванна. . . Умоляю, — прошептал Герета.

— Молчите хоть вы. . . святоюрская крыса! — с нескрываемым презрением бросила в лицо жениху Иванна. . . Это были последние слова, которые услышали от Ставничей гестаповцы.

Допросы и пытки не могли сломить воли девушки. Она не произнесла ни одного слова. Кроме стонов, которые изредка вырывались у нее, израненной, обожженной светом сильных электрических ламп, направляемых в ее лицо во время многочасовых ночных допросов, чины тайной полиции не слышали ничего.

— Фанатичка! Форменная фанатичка! — докладывал Питеру Краузу штурмбанфюрер Дитц.

Однажды ее втолкнули в черную закрытую машину. Завывая полицейской сиреной, на бешеной скорости эта машина подкатила к зданию бывшего университета имени Ивана Франко.

Все те же аллегорические изображения Вислы, Днестра и Галиции венчали портал здания университета, но не было уже подле него смеющейся молодежи, не выходили из подъезда солидные профессора с портфелями. Лишь два эсэсовца застыли с автоматами на груди у входа. Ветер лениво развеивал над ними огромный флаг со свастикой. По бокам университета были выстроены немецкими инженерами две круглые бетонные башенки

с бойницами для пулеметов. А на фронтоне портала, там, где некогда алела вывеска университета, появилась большая черная таблица с надписью, сделанной готической вязью:

«Зондгерихт дистрикт Галициен»

Когда полицейская машина остановилась перед этим зданием, где размещался теперь Особый суд провинции Галиции, из грузовика выскочили трое гестаповцев и вместе с другими заключенными выволокли из кузова простоволосую Иванну. Всё в ссадинах, обожженное и потрескавшееся, лицо ее носило следы пыток, а расшитая крестиком гуцульская блузка в бурых пятнах крови была изодрана.

Иванна шла, откинув голову, неся перед собой руки, скованные кандалами, и закусив спекшиеся губы. Последними усилиями воли она старалась не выдать глубокой душевной муки.

Так шагала Иванна среди других непокоренных, подталкиваемая охранниками, по такой знакомой ей университетской лестнице, по которой некогда бежала навстречу своему украденному счастью.

Спустя два дня измученный безуспешными поисками дочери Теодозий Ставничий, узнав о том, что на Горе казни были на рассвете повешены какие-то партизаны, пришел к подножию другой лестницы.

Тяжело дыша, он медленно поднимался на гору. Он все еще верил в чудо, в то, что рано или поздно вернется к нему родная Иванна.

На вершине стояло шесть черных виселиц. Четыре эсэсовца с автоматами, широко раздвинув ноги в начищенных до блеска сапогах, стерегли повешенных людей — в устрашение живым.

На левой, крайней виселице была прибита фанера с надписью на трех языках:

«Эти лица выступали против Германской империи, участвовали в запрещенных организациях и казнены по моему приказу.

Бригаденфюрер СС и генерал-майор полиции Катцман».

Потихоньку расталкивая зевак, Ставничий приближался по лестнице к виселицам.

Он увидел перед собой поблескивающие сапоги первого охранника, потом пряжку тугого пояса. На пряжке полукругом шла надпись: «Готт мит унс».

На последней, верхней ступеньке Ставничий задержался, чтобы перевести дыхание, поднял голову, и все поплыло, закружилось перед ним.

Он увидел на виселице свою дочь. Из рта у нее высывался белый кляп. Позже отец Теодозий узнал, что это был гипс. Так во Львове гестаповцы заливали быстро стынувшим гипсом рты своим жертвам, чтобы добиться от них безусловного молчания во время казни.

— Иванна! — сдавленным голосом крикнул старик и бросился к виселице.

— Цурюк. — Охранник ударом автомата сбил его с ног.

Ставничий упал на колени, и надпись «Готт мит унс» снова мелькнула перед ним на хорошо начищенной бляхе пояса.

— ...Ну, а если бы она послушалась уговоров своего жениха и создалась? Вы бы отпустили ее на волю? — спросил я Питера Крауза во время его допроса в Замарстиновской тюрьме осенью 1944 года.

— Возможно, да, — подумав, ответил Крауз. — Нам не хотелось портить отношений с униатской церковью, которая все эти годы нам очень помогала. Кроме того, человек со сломленной волей подобен пластилину. Из него уже можно лепить все, что угодно. Именно из таких людей мы вербовали нашу агентуру. Ставничая с ее внешностью могла бы принести большую пользу рейху.

— А ее жених Герета был вашим агентом?

— Яволь! — охотно подтвердил Крауз. — Его передала мне на связь военная разведка — абвер — в сентябре 1941 года, когда во Львове установилась гражданская администрация. А до этого, еще с польских времен, и он, и Каблак, и Верхола обслуживали ведомство адмирала Канариса.

Вскоре после того, как мне удалось разыскать во Львове Эмиля Леже и других французов, сидевших вме-

сте с ним в немецких лагерях, я нашел и человека, который стал невольным свидетелем казни Иванны. Им оказался бывший сторож пивного завода, расположенного под Горой казни, Михаил Антонович Заговура. Он чистосердечно признался мне, что во время своего ночного дежурства вынес с завода и спрятал в гроте, выстроенном уже давно на склонах горы, дюжину бутылок выдержанного львовского пива, которое шло в продажу только для немцев в магазины «нур фюр дойче».

Заговура сменился на рассвете и пошел к заветному гроту, где, присыпанные прошлогодними листьями, лежали бутылки. Только он вошел в грот, как внизу загудели гестаповские машины и эсэсовцы мигом окружили гору.

Иванна шла первой в цепочке осужденных. Заговура хорошо видел ее из грота. Руки ее уже были раскованы. Когда ей велели стать на табуретку, она резким движением руки — высокий эсэсовец еще не успел набросить ей на шею петлю — сорвала с шеи нательный крест и отшвырнула его далеко в траву. Это было последнее, что сделала Ставничая в своей короткой жизни.

ВАЖНЫЙ ГОСТЬ

В тот день, когда отец Теодозий нашел на Горе казни мертвую дочь, Шептицкий принимал у себя в палатах важного гостя, прибывшего к нему из Берлина.

На этот раз им был сам шеф немецкой военной разведки адмирал Вильгельм Канарис. Он внимательно слушал митрополита, изредка потирая холеную, гладко выбритую смуглую щеку.

Шептицкий был явно рассержен.

— Я согласился помогать господину Дитцу и его коллегам, ибо руководствовался нашими общими целями — борьбой с коммунизмом. Вам известно, господин адмирал, что в 1936 году, когда движение Народного фронта грозило охватить многие страны, я выступил одним из первых. Мою «Осторогу против коммунизма» читали с амвонов во всех церквях Галичины. Душой и сердцем я поддерживал национал-социализм. Когда ваши войска пришли сюда, я вправе был рассчитывать на взаимное доверие и сотрудничество. Почему же господ

Дитц, Энгель и другие их коллеги из гестапо не захотели внять моим советам? Разве нельзя было увезти эту строптивую девчонку куда-либо подальше, скажем — в Ровно или Киев, чтобы не бросать тень на меня, на церковь? Зачем надо было казнить ее публично здесь же, во Львове? Это глупо, поймите, в высшей степени глупо! Надо работать тоньше, не будоража народ!

— Да, в наше время надо работать очень тонко, согласен с вами, ваша эксцеленция, — постукивая смуглыми пальцами по спинке дивана, согласился Канарис.

Как бы ободренный его словами, Шептицкий, показывая на потолок, сказал:

— На своем чердаке я укрываю именитых, достойных евреев города — сына главного львовского раввина Езекеиля Левина и раввина Давида Кагане. Да, да! Прячу с полным сознанием ответственности за свое деяние и прошу немецкие власти не мешать мне поступать так, как я считаю нужным. Учтите — при малейшем изменении политической ситуации они охотно подтвердят, что я, митрополит Андрей, был добр и к инаковерцам. Они расскажут тысячам, как мои каноники поили и кормили их в тот момент, когда вы, немцы, уничтожали сотни тысяч евреев. Все это еще больше укрепит авторитет церкви, веру в ее справедливость и благородство в глазах населения и мировой общественности. Вот почему не следовало и с дочерью священника Ивановой Ставничей действовать так топорно, по-фельдфебельски...

— Подобные вопросы входят в компетенцию рейхсфюрера СС Гиммлера, — процедил сквозь зубы Канарис. — И все карательные меры также. Я же посетил вашу эксцеленцию, чтобы установить общие контакты по другим вопросам.

Канарис встал. Расхаживая по розовой гостиной, он заговорил не сразу.

— Я буду с вами откровенен, как со своим человеком и с коллегой. Вы были уланским офицером австро-венгерской армии и поймете меня. Я даже знаю по старым досье вашу кличку в разведке — Драгун. Последнее время на территории, занятой немецкими войсками, участились случаи заброски советских разведывательных диверсионных отрядов. Как правило, это небольшие групп-

ки людей, хорошо вооруженных, знающих немецкий и польский языки, снабженных рациями. Москва их сбрасывает с самолетов в район Карпат и Прикарпатья. Отсюда эти отряды пробираются в Польшу, Чехословакию, Венгрию и через Силезию достигают даже границ нашей империи. Нам становится все труднее вылавливать этих агентов Москвы, тем более что среди них есть западные украинцы, отступившие некогда на восток с частями Красной Армии...

— При чем же здесь церковь и я? — перебил Канариса Шептицкий.

— Церковь, которую вы возглавляете, может быть очень полезна, — резко ответил Канарис. — Кто сейчас самая главная фигура на селе? Священник! Кто более всего осведомлен о том, что делается у него в приходе? Священник! Итак: целая армия верных вам священников по вашему слову будет мобилизована на борьбу с коммунистическими агентами. Мне надо, чтобы слуги Христовы своевременно сообщали о всех новых подозрительных людях, которые появляются в их приходе. И ничего больше! Вам понятна моя мысль?

— Но кто поручится, что скрытые действия служителей церкви не станут известны прихожанам? — спросил Шептицкий.

— Я специально проинструктировал свой офицерский состав, чтобы связь с вашими священниками была незримой для постороннего глаза. Больше того — я прикажу, чтобы мои офицеры, прибывающие в села, не размещались в приходствах, а останавливались только в крестьянских избах. Это вас устроит?

— Вполне, — ответил Шептицкий. — Скажу вам откровенно: уверовав в молниеносный исход войны с большевиками, в надежде, что Москва падет быстро, мы сделали немало неосторожных заявлений в верности Германии и фюреру. Сейчас мы горько в этом раскаиваемся...

— Понимаю вашу эксцеленцию! Чем дальше внешне церковь будет от политики, тем больше она сможет помогать этой политике тайно... Итак, вы обещаете содействовать нам?

— Попробую, — уклончиво сказал Шептицкий. — Все, что будет в моих силах...

В то время как митрополит принимал адмирала Канариса, в соборе святого Юра шла торжественная служба. Вдруг, расталкивая молящихся, перед капитулом появился Ставничий. Ветер развевал его седые волосы и полы расстегнутого пыльника. Прихожане с удивлением разглядывали полубезумного старика.

Навстречу Ставничему по лестнице быстро спустился митрат Кадочный.

— Почему вы не были на торжественном молебствии, отец Теодозий? Мы молились сообща, все пастыри и верующие, о даровании победы над врагами, а вы...

— Где митрополит? — закричал Ставничий.

— У его эксцелленции какой-то важный, очень почетный гость... Видите? — и Кадочный показал на прижавшийся к стене капитула длинный синий лимузин «хорх» с нацистским флажком на блестящем радиаторе. Шофер, прислонясь к машине, с любопытством поглядывал на богомольцев, заполнивших подворье.

Морщины напряженного раздумья пробежали по лбу Ставничего. Он оттолкнул Кадочного, взбежал выше и, опираясь ладонями о каменные перила балюстрады, путаясь, крикнул:

— Люди!!! Слушайте меня... Я тоже учил вас заповеди «Не убий!». Я учил вас смирению и добру. А они, мои иерархи, отняли у меня единственную дочь и выдали ее убийцам. Они подло предали ее... Единственную дочь... Вы слышите, как пахнет горелым? Это сжигают за Лычаковым ваших близких... Их тоже убили те, кто пришел к нам с надписями на поясах: «Готт мит унс!» Люди!

— Боже... Да он сошел с ума! — в ужасе воскликнул Кадочный, закрывая лицо руками. Но тотчас же оглянулся и, увидев подбегающего дьякона, скомандовал: — Звоняря туда! — и показал в сторону колокольни. — Глушить безумца!

— Вам говорят в проповедях о крови Христа, — продолжал отец Теодозий, — а тот, кто пролил кровь ваших братьев и сестер, пирует сейчас с митрополитом. Вон его машина... Смотрите...

Взгляды многих богомольцев обратились к лимузину, и испуганный шофер на всякий случай заскочил в кабину и расстегнул кобурю пистолета.

Быстро, кошкой, взбежал по крученой лестнице на колокольню молодой звонарь. Схватил веревку, идущую к языку древнего колокола «Дмитра». Гулкий, надтреснутый звон заглушил крик Теодозия.

Оттаскивая Ставничего от балюстрады, Кадочный иступленно закричал:

— Не слушайте его!.. Братья во Христе! Разум его помутился!

— Уйди! — Ставничий с ненавистью оттолкнул митрата. — Такой же, как и все, иезуит... Подлые святоюрские крысы...

На подмогу древнему колоколу пришел своим звоном колокол поменьше. Из-за их быстрого перезвона уже нельзя было услышать ни одного слова Ставничего.

Два крепких, румяных дьякона вместе с митратом Кадочным схватили отца Теодозия под руки. Он отбивался изо всех сил. Они оторвали его от каменных перил и поволокли в глубь собора, подальше от взглядов верующих.

Весть о гибели Иванны обитателям подземелья принес садовник Вислоухий.

— Нельзя, ни в коем случае нельзя было оставлять ее без присмотра ни на минуту! — сказал вернувшийся из Ровенских лесов Садаклий. — Такая потеря!

— Эх, Банелин! — упрекал Голуб. — Такая дивчина из-за тебя погибла!

— Да я что? — чуть не плача, оправдывался Банелин. — Кто бы мог подумать? Капитан уговорил ее не ходить к отцу, она утихомирилась. Если бы кто шел снаружи, сигнализация бы сработала, и я бы проснулся. Чуток только задремал, а она, как ящерица, прошмыгнула...

Новости, которые привез из Ровно Садаклий, были утешительными. Ему удалось связаться с партизанским отрядом особого назначения, которым командовал полковник Дмитрий Медведев, и с действующим на Воляни партизанским соединением «дяди Пети» — полковника Антона Бринского. Оба командира охотно согласились принять к себе беглецов из львовской Цитадели, среди них было немало обстрелянных парней, бывших пограничников.

Было решено: раненых оставить в подземелье до полного выздоровления под опекой Юли Цимбалистой и садовника Вислоухого, а остальным готовиться к перебазированию в Цуманские леса и на Волынь.

Садаклий направил убитого горем Журженко на разведку в город, чтобы хоть немного развеять его отчаяние, поручив Щирбе прикрывать его.

СЮРПРИЗ ЭМИЛЯ ЛЕЖЕ

Первое головокружение от обилия свежего воздуха прошло, и Журженко с каждой минутой чувствовал себя все лучше и увереннее. Опираясь на палку, опустив пониже на лоб велюровую шляпу, которую притащил ему вместе с костюмом Голуб, он прошел по аллеям Иезуитского сада до круглой ротонды.

— Пан капитан, если не ошибаюсь? — вдруг услышал Журженко.

У ротонды, приподняв черный котелок-мелоник, стоял невысокий пожилой человек в пенсне, с остроконечной бородкой.

Журженко не узнал этого человека и, уклоняясь от встречи с ним, сказал:

— Простите, вы ошиблись! — и шагнул дальше.

Но человек в котелке заступил ему дорогу и сказал укоризненно:

— Ай-яй-яй! Как можно не узнавать старых знакомых, товарищ капитан Журженко? Неужели вы не помните, как мы с вами пировали на заручинах в доме Ставничих? Вы еще произнесли такую яркую речь о ветре, ворвавшемся к нам с востока. Как же сейчас обстоит дело с этим «ветром», пане капитане?

Журженко уже узнал адвоката Гудим-Левковича. Ускоряя шаг, он бросил:

— Слушайте, я вас вижу впервые!

Гудим-Левкович резким движением вырвал у него палку и, отшвырнув ее далеко в кусты, сказал с ненавистью:

— О нет, пане капитане! Так быстро мы не расстанемся! — Адвокат с радостью заметил подходящего к ним полицая. — Пане полицай! Пане полицай! — засуетился он, подзывая Щирбу. — На минуточку!

Щирба быстро подошел к Гудим-Левковичу, и тот с облегчением показал на Журженко:

— Задержите его! Это переодетый большевистский командир, к тому же, наверное, еврей! Берите его! Берите! А те пять литров водки вместе с мармеладом, которые полагаются по приказу бригаденфюрера СС за выдачу еврею каждому украинскому патриоту, я презентую вам. Возьмите себе на здоровье!

Щирба вытащил из кобуры вороненый «вальтер» и, направив его в спину капитана, сказал адвокату:

— Благодарю вас, пане меценасе! Пойдемте вместе. Надо будет записать ваши показания...

Когда они втроем дошли до каменной ограды монастырского сада и Щирба, вынув ключ, воткнул его в скважину узкой двери, Гудим-Левкович обеспокоился:

— Позвольте, это же сад митрополита, а не комиссариат полиции! Куда вы меня ведете?

— Веду куда надо, — спокойно ответил Щирба, открывая калитку и пропуская в нее первым Журженку с поднятыми руками. — У нас здесь особый пост полиции. Мы охраняем покои его эксцелленции и вылавливаем среди прихожан подозрительных, вроде этого типа.

Гудим-Левкович перешагнул порог калитки и, подождав, пока Щирба закрыл ее, просеменил за капитаном.

Как только Щирба откинул первую тачку, обнажая потаенную дверцу, ведущую в подземелье, Гудим-Левкович запричитал:

— Послушайте, я не пойду туда! Не пойду!

— Я вам уже объяснил: у нас здесь свой тайный пост. Для таких доверенных конфиденентов, как вы, пане адвокате!

— Откуда вы знаете, что я адвокат? — не на шутку встревожился Гудим-Левкович, глядя на Щирбу узенькими глазами.

— Ну кто же из местных, от Турки до Сокаля, не знает пана адвоката Гудим-Левковича? — сказал, улыбаясь, полицей и дал знак Журженко, чтобы тот опустил руки. — Ваши блестящие речи в защиту украинских националистов глубоко и надолго запали в души молодежи.

— Куда вы меня ведете? Я буду кричать! — голос адвоката сорвался.

— Только пикни — сразу дырку сделаю! — прошептал Щирба, подталкивая адвоката стволом «вальтера».

Шум карбидных ламп и примусов, темные силуэты раненых, лежащих под стенами на соломе, мрачные своды подземелья — все это окончательно парализовало волю Гудим-Левковича. На прямой вопрос Садаклия: «Какова ваша кличка в гестапо?» — адвокат покорно ответил:

— Щель.

Ни Садаклий, ни Журженко не рассчитывали на столь быстрое признание.

— Понятно. Значит, вы играли роль той самой щели, сквозь которую немцы пытались шпионить за настоящими патриотами? — уточнил Садаклий, выкладывая содержимое бумажника адвоката.

— Так точно!

— У кого вы на связи? — спросил Садаклий, быстро пробегая глазами какое-то письмо на немецком языке.

— У гауптштурмфюрера Энгеля.

— Где с ним встречаетесь? Адрес конспиративной квартиры?

— По средам в пять вечера. На Фюртенштрассе, 85, в квартире лейтенанта украинской полиции Фидиппа Вавринюка. Он мне сдал ее до осени. Потом там поселился наш агент Ивасюта.

— Телефон там есть? — спросил Садаклий.

— Так точно! 2-17-54.

— Одно место встречи?

— Нет, почему же, — поправил адвокат. — Иногда я прихожу на Майенштрассе, десять.

— На квартиру к гауптштурмфюреру Кнорру? — Садаклий пристально посмотрел в глаза Гудим-Левковичу. Тот съежился под этим взглядом.

— Да... Откуда вы знаете?

— Кнорр курирует теперь вопросы церкви, не так ли?

— Да, он хорошо ориентируется в церковных делах, — согласился Гудим-Левкович.

— И вхож к митрополиту?

— Да.

— Кнорр присутствует на ваших встречах с Ангелем на Майенштрассе, десять?

— Как правило — всегда.

— Он давал вам задания освещать церковные дела?
— Непосредственно от Кнорра я получил два задания, — сознался Гудим-Левкович.

— Какие именно?

— Он просил меня составить список священников-москвофилов, тех, кто относится с симпатией к Советской России.

— А второе задание?

— Я получил вчера. Гауптштурмфюрер распорядился собрать информацию об отношении униатского духовенства Львова к казни Иванны Ставничей.

— Так... так... — постукивая пальцами по деревянному ящику с наклейками, задумчиво протянул Садаклий. Он аккуратно сложил письмо, положил его обратно в конверт с золотым тиснением и спросил: — Значит, вам хорошо знакома жизнь капитула, раз Кнорр давал вам подобные поручения?

— Видите ли, я пять лет был юрисконсультom митрополита, — разъяснил Гудим-Левкович. — Я вел спорные дела, по его имени, в Прилбичах, судился с лесопромышленниками в Карпатах. Там ведь большие лесные угодья Шептицкого. Митрополит меня хорошо знает. И священников у меня знакомых очень много.

— Где сейчас находится священник Ставничий? — резко спросил Садаклий.

— Его эксцеленция поступил с ним очень милостиво. Вместо того чтобы направить отца Теодозия за его кощунственные выкрики по адресу немецких властей в тюрьму, митрополит объявил его умалишенным. Отца Теодозия отвезли в психиатрическую лечебницу на Кульпарков.

— А что значит это приглашение? — взмахнув письмом, спросил Садаклий. — Откуда вы знаете штурмбанфюрера Дитца?

— О, я его знаю еще по австро-венгерской армии! — охотно признался Гудим-Левкович. — Он ведь из-под Львова. Мы вместе с ним служили в «Украинской Галицкой Армии», вместе Киев ходили брать в девятнадцатом.

— Куда же и по какому поводу приглашает вас штурмбанфюрер Дитц?

— Сегодня вечером в ресторане «Пекелко» он празднует день своего рождения. Мы старые комбатанты...

— Но ведь ресторан «Пекелко» только для немцев — «нур фюр дойче»? — усмехнулся Журженко.

— Пан Дитц — человек без предрассудков. Долгие годы он прожил с нами и понимает, что без дружбы с галичанами ему придется плохо, — сказал Гудим-Левкович.

— Кто там будет еще, кроме именинника? — Садаклий опять посмотрел на конверт.

— Коллеги. Друзья...

— Какие коллеги?

— Ну, из гестапо. Из СД. Из криминальполиции...

Был пасмурный, душный вечер. К ресторану «Пекелко» одна за другой подъезжали машины. Расфранченные гости, выходя из машин, поглядывали на заволоченное черными тучами, мрачное небо, озаряемое за аэродромом Скнилов быстрыми зарницами — предвестниками близкой грозы.

Неоновый бес с вилами у входа синей стеклянной рукой приглашал гостей в «преисподнюю». Гости проходили, подавая приглашения швейцару в золоченой ливрее.

Тот внимательно вчитывался в них и распахивал решетчатые двери. Лестница круто спускалась вниз. По бокам ее, на стенах, были намалеваны пьяные грешники в аду.

Из длинного черного лимузина «майбах» вышел виновник торжества Альфред Дитц, ведя под руку свою любовницу, светловолосую Лили фон Эбенгард. Спустя некоторое время к подъезду ресторана подкатил фаэтон на дутых резиновых шинах. С его подножки соскочил человек, похожий на Гудим-Левковича, одетый в его несколько старомодный костюм и котелок-мелоник.

Оглянувшись и дав вознице знак, чтобы тот задержался, новый гость подошел к швейцару и показал конверт с приглашением.

— Я секретарь адвоката Гудим-Левковича. Мой шеф — давний друг господина штурмбанфюрера Дитца, к сожалению, внезапно уехал к больной жене в Перемышль и не может присутствовать на сегодняшнем тор-

жестве. Он написал письмо с поздравлениями и извинениями господину Дитцу и передает ему маленький подарок ко дню рождения. Отнесите, будьте добры, этот пакет господину Дитцу! А это вам за услуги! — посетитель протянул швейцару сто — не оккупационных, нет, настоящих имперских марок, имеющих хождение по всей Германии, и тяжелую коробку довоенного еще шоколада фабрики «Бранка», перевязанную атласной лентой.

Дитц был сладкоежкой, и такой подарок, по всей вероятности, должен был доставить ему большое удовольствие.

Швейцар, скользнув взглядом по денежной купюре, небрежно опустил ее в боковой карман ливреи и, оглянувшись, поманил к себе солдата, стоящего за дверью. Это был шофер Дитца.

«Секретарь» адвоката, убедившись, что коробка с письмом передана по назначению, вежливо приподнял мелоник и, усевшись на пахнущее кожей мягкое сиденье фаэтона, тронул палочкой спину возницы.

Это были Садаклий и Эмиль Леже.

...Под низкими сводами зала ресторана «Пекелко» в костюмах чертей, затянутые в тугие черные трико, фординсерки¹ танцевали под звуки джаз-оркестра. Шофер Дитца, приблизившись к столу шефа, щелкнув каблучками, вручил ему подарок от «адвоката» и письмо.

— Что это такое, Альфред? — ревниво спросила Лили.

— Подарок от старого комбатанта, — пробормотал Дитц, читая письмо, написанное рукой Гудим-Левковича. — Обаятельный человек, анекдотчик и оказывает нам неоценимые услуги. Ну, скажи на милость, кто бы мог достать во Львове такой шоколад? А он достал! «Бранка» — ты понимаешь, что это значит? Отличный шоколад! Предвоенный!

— Дай-ка попробую, — попросила Лили Эбенгард.

— Возьми, пожалуйста, — Дитц, пододвинув ей сюрпризную коробку, стал разливать по рюмкам желтый айрконьяк.

Лили развязала атласную ленту и только стала приподнимать крышку коробки, как сильный взрыв наполнил дымом и огнем ресторан «Пекелко». Штурмбанфю-

¹ Девушки для танцев.

рер рухнул окровавленным лицом на скатерть, засыпанную осколками стекла и сразу почерневшую от взрывчатки, а его светловолосая подруга медленно сползла под стол.

«Сюрпризная коробка», изготовленная в партизанском подполье, сработала безотказно.

Да, Эмиль Леже не зря хвастал познаниями в саперном деле: он изучил его еще в иностранном легионе в Северной Африке.

...Первые тяжелые капли дождя упали на мелоник Садаклия, когда он вместе с Леже уже был в монастырском саду. Синяя молния, ударившая где-то рядом, вслед за раскатом грома, осветила подходы к потайному лазу в подземелье. Едва Садаклий и Леже проникли туда, как густые косые потоки дождя, смешанного с градом, обрушились на кроны буков и ясеней, заливая все вокруг.

Давно уже не помнили старожилы Львова подобной грозы. Не только бетонный канал, в котором протекало главное русло Полтвы, но даже все коллекторы в нагорной части города сразу наполнились глинистой, шумной грозовой водой. Смешанная с нечистотами, разливающаяся озерами возле решеток канализации, вода быстро потащила вниз, к Замарстинову, сброшенный в люк под собором святого Юра труп расстрелянного по приговору подземного партизанского трибунала предателя и агента гестапо адвоката Гудим-Левковича.

ПЫЛАЮТ ВСЮДУ СВЕЧИ

В конце июля 1944 года львовяне встречали первые советские танки.

Когда засыпанные цветами тяжелые тридцатьчетверки, гулко грохоча над каналами Львова, пронеслись через предместье к Стрыйскому шоссе, Садаклий и Журженко — оба в военной форме — ехали на запыленном «газике» по улице Двадцать девятого листопада.

Под колесами «газика» похрустывало битое оконное стекло, засыпавшее улицу. Машина проскочила мимо полуобгоревшей виллы «Франзувка», где некогда орудовал под видом советника по делам переселения немецкий разведчик Альфред Дитц, и, скрипнув тормозами, остановилась у Кульпарковской психиатрической лечебницы.

Садаклий и Журженко выпрыгнули из машины и застучали в железные ворота лечебницы. На стук из дежурки выбежали рослые санитары в белом.

— Священник есть у вас? .. Ставничий? — задыхаясь, спросил Садаклий.

— Есть, пане товарищу, — сторожко озираясь, прошептал один из санитаров.

— Давайте его сюда! Быстро! — приказал Садаклий.

— Да побойтесь бога, товарищ. Он же психический... Сам митрополит опекает его! — пробормотал санитар.

Садаклий выразительно похлопал по кобуре пистолета.

— Я знаю, какой он психический. Быстрее, ну!

Угроза подействовала. Через несколько минут санитары вывели на улицу худого, заросшего, седого Ставничего в длинной коломянковой рубашке. В руках у него был маленький сверток.

Журженко шагнул навстречу Ставничему и, набросив на его острые плечи свою шинель, сказал:

— Здравствуйте, батюшка!

Ставничий, ошеломленный, испуганный, смотрел на советских офицеров в не виданных им еще погонах, но, узнав своего бывшего квартиранта, воскликнул:

— Боже... Иван Тихонович!

Офицеры осторожно подсадили закутанного в шинель старика на переднее сиденье и повезли его в больницу на улицу Пиаров, где некогда лежал раненый Журженко...

Прошло три месяца... В тот день, когда окруженный придворными врачами митрополит и граф Андрей Шептицкий умирал в своей спальне, по всему Львову запылали свечи. Но не в память и не во здравие владыки.

И поныне в западных областях Украины, в Польше и Чехословакии родные и близкие торжественно отмечают день поминовения мертвых — первого ноября. В этот день кладбища переполнены народом, и только на могилах безвестных, одиноких людей не пылают свечи, не белеют положенные заботливыми руками близких последние осенние цветы — хризантемы и астры.

День поминовения мертвых — задушки — во Львове

в последнюю военную осень был особым и на всю жизнь запомнился мне.

Колеблемые ветром огоньки свечей можно было видеть вечером не только на кладбищах, но и по всему городу в тех местах, где гитлеровцы пролили человеческую кровь.

Эти желтоватые огоньки заставляли сжиматься сердце от боли и гнева к фашизму. Огни свечей как бы очерчивали багровым пунктиром в сознании населения весь тот ужас, что довелось ему пережить в годы немецкого владычества. Ведь больше полумиллиона мирных, неповинных жителей одного только Львова было уничтожено за тридцать семь месяцев немецкой оккупации палачами, у которых на поясных пряжках красовалась надпись: «С нами бог!»

В тот вечер уже выписанный из больницы и немного окрепший Ставничий пришел на Гору казни вместе с демобилизованным и возвратившимся на мирную работу в Водоканалтрест Журженко.

Виселицы уже давно были спилены на дрова жителями соседних улиц, и только черные пеньки обозначали места, где они некогда стояли.

— Вот здесь она погибла! — Ставничий дрожащей рукой прикрепил к одному из пеньков зажженную свечку. — Дорогой ценой заплатил я за то, что долгие годы верил в бога и обманывал этой верой других людей, — глухо признался он, глядя на стоящего рядом в молчании, с непокрытой головой Журженко.

— Обо всем этом и надо рассказать людям, Теодозий Андреевич, — сказал бывший капитан. — Кончайте поскорее свой дневник. Все, что вы знаете, расскажите в нем откровенно. Ничего не утаивая. Во имя памяти дорогой Иванны, которую мы так любили...

«Где похоронена Иванна Ставничая?» — спросит меня читатель. Не знаю! Может, серебристый пепел ее, перемешанный с пеплом других убитых и сожженных узников фашизма, развеян по склонам песчаных оврагов за Лычаковом, может, ее сожгли в Долине смерти за Яновским лагерем, в котором мы той осенью обнаружили специаль-

ную машину, переоборудованную немецкими инженерами из обычной дорожной камнедробилки в костедробилку. А возможно, останки Иванны захоронены на отлогих склонах горушки за дрожжевым заводом, поодаль от шоссе, бегущего на Киев? Скрывая следы своих преступлений, гитлеровцы засадили эти склоны молодым лесом.

...Мне осталось дописать несколько последних страниц этой повести, когда в дверь моего номера львовской гостиницы «Интурист», ранее называемой «Жоржем», постучались.

В номер быстро вошли отец Касьян и встревоженный Ставниций.

— Здравствуйте, Владимир Павлович, — задыхаясь, сказал Ставниций. — Моя тетрадь цела у вас?

Я открыл ящик письменного стола и достал объемистую тетрадь в коленкоровом переплете.

— Вот она! Возвратить?

— Да нет, возвращать пока не надо, — смущенно ответил Ставниций. — Тут странная история произошла вчера. Пусть лучше отец Касьян поведает вам о ней...

Из рассказа отца Касьяна выяснилось следующее. Отслужив вечерню в Онуфриевской церкви, он возвратился к себе в келью. Вдруг распахнулась дверь, и на пороге возник широкоплечий пожилой человек. Направляя в отца Касьяна пистолет, вошедший сказал:

— Тише! Не кричать! Где Ставниций?

— Уехал в Тулиголовы, к знакомым, — бледнея, ответил священник.

— Где он прячет свой дневник?

— Не знаю, — обманул пришельца Касьян, хотя прекрасно знал, что до того, как передать дневник мне, Ставниций прятал его в ящичке под койкой, прибитом к стене.

Тогда незнакомец велел отцу Касьяну лечь на пол и стал обыскивать келью. Он отбросил матрацы на койках, перебрал все журналы и книги на стеллаже, долго рылся в чемоданчике Ставнического и вещах отца Касьяна. Обыск не привел ни к чему.

Озлобленный, уходя, он сказал:

— Никому ни слова об этом! Понятно? Заявите — пеняйте на себя...

— Скажите, отец Теодозий, — спросил я Ставничего, — вы кому-нибудь говорили о том, что пишете дневник, кроме отца Касьяна, Журженко и меня? Я имею в виду прежде всего священнослужителей.

— Знал об этом, — напрягая память, промолвил Ставничий, — священник каплицы Кульпарковской лечебницы, отец Николай Ярославич. Его дочь — певица джаза Варса, Рената, сейчас в Англии. Он получал от нее письма через Швейцарию. Он и принес мне в палату-одиночку эту тетрадку. Возможно, он сообщил об этом капитулу. Ведь ему было поручено присматривать за мной.

— А как выглядел человек с пистолетом? Во что он был одет?

— Он был в форме советского железнодорожника, — ответил Касьян. — Это меня и удивило больше всего!

Мне сразу вспомнились похороны митрополита Шептицкого и странный человек в форме железнодорожника, который сперва преследовал отца Теодозия, а потом пытался отвести его домой.

«Хорошо, что Садаклий опять работает на прежнем месте, в управлении государственной безопасности. Он относится к разряду тех людей, которые никогда ничего не забывают», — подумал я.

Стараясь не волновать отца Теодозия, я сказал:

— Дневник ваш я пока задержу у себя. Так будет надежнее. Церковь всегда боялась тайн, которые могут повредить ее престижу. Но я убежден в том, что никакие угрозы и визиты разных «железнодорожников» на сей раз не смогут помешать нам рассказать всему народу, кто на самом деле предал вашу дочь...



ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПАМФЛЕТ

В шестнадцать часов 8 октября 1949 года на людной Академической аллее Львова, вблизи кинотеатра «Щорс», состоялась встреча двух молодых людей, до этого не видевших и не знавших друг друга. Их фамилии, место жительства, профессии были тщательно законспирированы.

Худощавый брюнет с волнистыми волосами и сжатыми узкими губами, первым явившийся в условленное место, носил кличку «Славко». Из карманчика его серого пиджака торчал сухой желтый цветок. Это был опознавательный знак. У подошедшего к нему блондина по кличке «Ромко» в руках был свежий номер журнала «Новое время».

Не отрывая глаз от цветка и помахивая журналом, Ромко осторожно спросил:

— Который час?

— Без пятнадцати четыре, — ответил Славко.

— Пойдем в кино?

— Нет денег! — отрезал брюнет и, согласно инструкции своих руководителей — «провидныхков», предложил Ромко следовать за ним.

Вскоре они оказались в Стрыйском парке, одном из лучших в Европе. В этот предвечерний час здесь гуляли матери с детьми, старые и молодые львовяне. Они прохаживались по аллеям, подолгу стояли у озера, по которому, изогнув шеи, плавали лебеди. Тихо и очень мирно было в парке в этот день золотой львовской осени. И никто из посетителей не мог предположить, что именно сейчас на одной из укромных аллей начинает осуществляться план задуманного значительно раньше убийства человека, который стремился делать людям только добро, выводил их к свету, который очень любил жизнь.

Когда в первый послевоенный год какие-то хулиганы срубили два дерева в Стрыйском парке, человек, которого замыслили сейчас убить, поднял на ноги горсовет, всю общественность Львова, писал об этих двух деревьях в газету, писал так, будто речь шла о жизни людей, а не буков и кленов: он всегда заглядывал в будущее и хотел сделать жизнь своих современников, переживших тяжелейшую из войн, радостной и прекрасной...

— Провидных велел убивать тебе, — оглянувшись по сторонам, зашептал Славко, — а я буду заговаривать зубы...

— Знаю, — глухо подтвердил Ромко, — Буй Тур то же самое сказал... Вот этим, чтоб шуму не было. — И, расстегнув пиджак, показал засунутый за пояс гуцульский топорик с блестящим лезвием. — А эти штуки возьми. На всякий случай!

Он передал своему чернявому напарнику пистолет, или, как его называли в этих краях, «сплюв», и темную гранату-лимонку. Другой пистолет и еще одну гранату Ромко, как велели ему главари, оставил у себя.

Затем они поднялись по крутой тропинке из парка на взгорье, пересекли линию детской железной дороги и, свернув на Стрыйское шоссе, стали спускаться по Гвардейской.

По тому, как уверенно вел сообщника Славко, нетрудно было догадаться, что ему хорошо знаком марш-

рут. Но Ромко ни о чем не спрашивал: конспирация исключала любопытство. Войдя во двор высокого каменного дома, Славко, не глядя на номера квартир, стал быстро подниматься по лестнице, так что его спутник с топориком за поясом едва поспевал за ним.

На четвертом этаже у квартиры номер десять Славко задержался и прислушался. Чуть слышно прозвенел за дверью телефонный звонок. Славко прижался ухом к двери. Послышался женский голос.

— Его еще нема, — шепнул Славко, — давай погуляем!

Бродили они добрых полчаса, прошли по улице Боя-Желенского к бывшей Бурсе Абрагамовичей, откуда гитлеровцы по составленным заранее украинскими националистами «черным спискам» выводили на расстрел в ночь с 3-го на 4 июля 1941 года большую группу львовской интеллигенции, и затем вернулись на Гвардейскую.

Славко решительно позвонил. Дверь открыла низенькая, полнолицая домашняя работница.

— Писатель дома?

— Еще немає, но скоро будет. Заходите!..

Оба вошли в прихожую и присели на стулья. Вскоре раздался звонок, и в квартире появилась русоволосая женщина — жена писателя Мария Александровна.

— А, это вы! — сказала она, обращаясь к молодому человеку по кличке Славко, как к знакомому. — Чего же вы тут сидите? — И, гостеприимно открыв дверь, пригласила их в столовую.

Ромко зашел вторым и, заглянув в соседний кабинет, вздрогнул от неожиданности: перед натянутым, испещренным красками холстом сидел, углубившись в свою работу, какой-то человек. Довольно быстро сообразив, что это художник и пишет он портрет хозяина квартиры, Ромко несколько успокоился, но, как выяснилось значительно позднее, подумал: «Значит, убивать будем большого человека, раз портреты его рисуют...»

В это время без звонка раскрылась наружная дверь и в комнату вошел сам хозяин — невысокий, но крепко сложенный, с копной густых, льняного цвета волос на крупной, красиво посаженной голове. На поводке он вел черно-белую, добродушную на вид карпатскую овчарку.

— Добрый вечер! — поздоровался он со Славко. — Что-нибудь снова случилось?

— Так, це я, — поспешно ответил Славко. — А это мой коллега, тоже студент. Придирается, пане письменник, ко мне директор института Третьяков за то, что я тогда пожаловался вам на него...

— Как так придирается?

— Ну подкопы ведет всякие... Боюсь, как бы он не отчислил меня вовсе. Нельзя ли на него управу найти?

— Что же я сделаю? — сказал писатель. — Я вступился однажды за вас, а выяснилось, что вы все очень преувеличили... Я посоветовал бы вам обратиться прямо в облисполком, к его председателю Стефануку...

Он отстегнул поводок овчарки.

Собака, разъезжаясь на лапах по скользкому, хорошо натертому паркету, подбежала к сидевшему в кресле Ромко и принялась обнюхивать его карман, в котором лежал пистолет.

Ромко отшатнулся к спинке кресла.

— Это добрый пес, — улыбнулась Мария Александровна. — Он только не любит тех, у кого оружие.

— Прошу, пани, уведите собаку!

Пока хозяйка уводила овчарку на кухню, Славко попросил:

— А вы, пане письменник, напишите про нашего директора в журнал «Перець». Он тогда не будет накладывать на нас взыскания.

— Не буду я писать в «Перець». Слишком мелкое это дело для журнала...

— Но если вы напишете в «Перець», он будет лучше относиться к нам, студентам, — продолжал канючить Славко и подмигнул напарнику. Но тот отрицательно покачал головой.

— Извините, хлопцы, в «Перець» я все-таки писать не буду. Меня ждет художник. Мария, напои хлопцев чаем, а я пойду...

Мария Александровна принесла чай и печенье, присела к столу, принялась гостеприимно угощать молодых людей. Еще недавно она сама была студенткой одного из художественных институтов Москвы и понимала, что значит жить на стипендию. Если бы только она знала, кого угощает!

Перед тем как попрощаться, Ромко зашел в кабинет писателя, остановился за спиной художника и, наблюдая за тем, как тот работает кистью, поглядывая на выразительное, умное и слегка грустное, может быть, от какого-то неясного предчувствия, лицо хозяина квартиры, воскликнул с деланным удивлением:

— Дывься, як малює! Я еще никола не бачив...

А на улице, когда они шли вниз по Гвардейской к трамвайному парку, настороженно посматривая на серое здание управления Министерства государственной безопасности, Славко зло процедил сквозь зубы:

— Что, сдрейфил?

— Видишь, людей сколько? Другим разом...

Так в тот день избежал уготованной ему смерти выдающийся украинский писатель-коммунист, испытанный борец за народное дело Ярослав Александрович Галан.

Он родился в 1902 году в маленьком местечке Дынов, над Саном, близ древнего Перемышля, города-крепости, вошедшего в историю первой мировой войны.

Как только вспыхнула война, австрийская контрразведка наставила вдоль дорог Галиции тысячи виселиц. Нагайки гонимых и австрийских жандармов рассекали сорочки на спинах украинских крестьян и ремесленников, заподозренных в симпатиях к России, к русскому народу.

За русофилизм был брошен в концентрационный лагерь Талергоф и отец Ярослава Галана — мелкий служащий из Перемышля. Опасаясь дальнейших преследований, семья Галана с помощью русской военной администрации эвакуируется в 1915 году в Россию, в Ростов-на-Дону. Это первое дальнее путешествие Ярослава сыграло огромную роль в его жизни, как бы заложило фундамент его мировосприятия. Живя в Ростове-на-Дону до 1918 года, юный гимназист видит рождение советской власти, наблюдает размах революционных событий. Он дружит с русскими, армянскими, еврейскими ребятами и уже в юности душой постигает великое благородство интернациональной дружбы.

Но вскоре семье Галана пришлось вернуться в Галицию, захваченную правительством буржуазной Польши после распада Австро-Венгерской империи. Здесь вплоть

до осени 1939 года, когда Красная Армия перешла Збруч, бушевал разнузданный национализм, всячески разжигавшийся и властями панской Польши и зарубежной буржуазией, крайне заинтересованной в том, чтобы не допустить создания единого фронта трудящихся разных национальностей в районах, пограничных с Советским Союзом.

Этому разъединению трудящихся из всех сил способствовали не только такие профашистские организации, как ОУН — «Организация украинских националистов», но прежде всего греко-католическая, или, как ее было принято называть, униатская церковь. У нее-то, у этой церкви, реформированной иезуитами в конце прошлого века, учились вожаки ОУН изощренному двурушничеству, тщательной конспирации, неуголимой ненависти ко всему прогрессивному. История убийства Ярослава Галана, многие подробности которой стало возможным опубликовать только в последнее время, раскрывает кулисы того подлого мира, в единоборство с которым смело вступил писатель.

Кличка «Славко» была присвоена националистическим подпольем сыну униатского священника, бывшему воспитаннику Львовской духовной семинарии Илларию Лукашевичу. Еще в 1944 году Илларий, которому тогда было всего пятнадцать лет, повстречал ярого националиста Ивана Гринчишина. Тот стал снабжать Илларию «подходящей» литературой, настраивать его против советской власти. Гринчишин был уверен, что молодой попович его не выдаст, он знал Лукашевича-старшего — «пан отца» Дениса, который ненавидел всех, кто боролся с униатским мракобесием, стремившимся оторвать Украину от союза с Россией. И вот в семнадцать лет Илларий, на вид такой кроткий, смиренный, что, как говорят в народе, хоть к ранам прикладывай, вступает в «Организацию украинских националистов». Гринчишин организует ему встречу с «провидным» ОУН, тоже сыном греко-католического священника, Романом Щепанским, по кличке «Буй Тур».

По заданию националистического подполья Илларий распространяет антисоветские листовки, призывающие население сорвать выборы в Верховный Совет СССР. Осенью 1947 года он поступает во Львовский сельскохо-

зяйственный институт и получает от Щепанского задание: собрать нужные сведения о профессорско-преподавательском составе и студентах. Делается это, конечно, неспроста и отнюдь не по наитию террориста Щепанского.

Захватив у гитлеровского абвера — немецкой военной разведки — и у гестапо списки секретных агентов из «Организации украинских националистов», Центральное разведывательное управление США и британская Интеллиженс сервис без особого труда перевербовывают этих «гитлерчуков», как окрестили их прогрессивные украинцы Канады, и заставляют работать в свою пользу. В Мюнхене и Зальцбурге, в Париже и Вене создаются существующие и поныне украинские националистические центры. Часть бывших коллаборационистов, называвших себя «скитальцами» и «перемещенными лицами», при поддержке американцев и англичан стала во главе так называемых лагерей для «перемещенных лиц». Один из советских офицеров, работавших по репатриации советских граждан, А. Брюханов, в своей книге «Вот как это было» свидетельствует:

«Комендант украинского лагеря «Табор Лысенко» Горан в период оккупации фашистами Харькова занимал пост бургомистра. Руки этого мерзавца обагрены кровью советских граждан, замученных фашистами при его непосредственном содействии.

Комендант лагеря «Везерфлюг» в городе Дельменхорс Степан Биляк — в прошлом гестаповец и бургомистр одного из районов города Львова (и, кстати сказать, в период фашистской оккупации — личный друг и соратник Романа Щепанского. — В. Б.).

Комендант украинского лагеря «Биллифельд» Василук — предатель и палач советского народа с многолетним стажем. В 1919 году он бежал с Украины и с тех пор — в услужении у врагов советской власти. До того, как проданся Интеллиженс сервис, служил в гестапо.

В лагере «Мюнстер» комендантом был некто Бреневский, а начальником полиции — Мотрич. Кто же эти люди, облеченные доверием английских властей? Бреневский служил в дивизии СС пропагандистом, а Мотрич при фашистах занимал должность начальника полиции в Тернополе. Нужно ли удивляться, что в лагере «Мюнстер» избивали и убивали «перемещенных», имевших неосто-

рожность объявить о своем намерении вернуться в отчие края?!»

Когда редакция газеты «Радянська Україна» командировала Ярослава Галана специальным корреспондентом на Нюрнбергский процесс, он все дни, свободные от судебных заседаний, проводил в разъездах, изучая места сосредоточения украинской националистической эмиграции, в том числе и лагеря для «перемещенных лиц». Буквально рискуя жизнью, он пробивался в волчьи логова матерых националистов, вел с ними беседы, запоминал их имена, чтобы потом разоблачить в своих памфлетах, в пьесе «Под золотым орлом», отлично показавшей борьбу за души «перемещенных лиц» в послевоенной Европе.

Эта деятельность Галана не прошла незамеченной националистическими центрами, особенно мюнхенским центром так называемых «закордонных частей ОУН», связанных с бандитским подпольем, оставленным в Западной Украине. Некоторые из разоблаченных Галаном украинских националистов вынуждены были бежать за океан — в Канаду и в Соединенные Штаты Америки, — где их поджидали единомышленники, те самые, что уже с конца двадцатых годов финансировали действующего в Европе «вождя ОУН» полковника Евгена Коновальца. И уже тогда, в первые послевоенные годы, в кабаках Мюнхена созревает преступный замысел: Ярослав Галан во что бы то ни стало должен быть уничтожен!

Итак, Славко — Иллари́й Лукашевич — ведет глубокую политическую разведку в своем институте. Он собирает сведения о национальном составе, партийности преподавателей и студентов, изучает, где они бывают в свободное время, чем интересуются, каким слабостям подвержены. Собранные данные он передает лично Роману Щепанскому, с которым встречается в доме национастки Спивак в селе Сороки Львовские, где приход греко-католической церкви возглавлял «пан отец» Денис Лукашевич.

— В общей сложности, — как признался впоследствии убийца, — мною были переданы в бандитское подполье сведения на пятьдесят — шестьдесят профессоров, преподавателей и студентов института. Я собирал эти сведения

путем личных наблюдений, разговоров со студентами, чтения газет, в том числе и стенных, различных объявлений.

Щепанский и другие вожаки антисоветского подполья, что укрываются в лесных бункерах, хвалят молодого поповича. Сведения, добытые им, уйдут по конспиративной линии связи вверх, доберутся до Мюнхена, а там Степан Бандера, Лев Ребет, Ярослав Стецько-Карбович и другие руководители ОУН получают за них доллары от своих работодателей из Центрального разведывательного управления США и западногерманской шпионской службы генерала Гелена. ИллариЙ Лукашевич получает новое задание.

Глубокой ночью, когда пустеют улицы старинного Львова, он, крадучись, чтобы не заметил дворник, выходит из своей квартиры на Ризьбярской, держа за пазухой бумажный сверток. Только в январе—феврале 1948 года он разбросал двадцать листовок на улицах Львова, площади святого Юра, около Стрыйского парка. Листовки должны были создать видимость, что в городе существует большая, хорошо законспирированная подпольная организация. На деле же вся эта грязная стряпня сочинялась и печаталась далеко-далеко за городской чертой, в глубоких, затерянных в лесах, вонючих тайных «схронах».

Разбросанные листовки не производят впечатления. Люди подбирают их по утрам, идя на работу, и либо сдают в милицию, в органы государственной безопасности, либо просто бросают в мусорные ящики.

Тогда, по совету Щепанского ИллариЙ выписывает домашние адреса наиболее активных студентов, преподавателей, партийных работников института и рассылает им в закрытых конвертах подметные письма, полные угроз. В них подполье требует, чтобы адресаты прекратили общественную работу, не вступали в комсомол, не поддерживали начинаний партии и органов советской власти по превращению Львова в крупный индустриальный и культурный центр Украины. В противном случае — смерть!

Такие письма систематически получал парторг Сельскохозяйственного института Пугачев, студенты Калитовский и Беглай.

У Иллария было два брата — Александр, студент Медицинского института, и Мирон, исключенный за неуспеваемость из Сельскохозяйственного института. Они тоже были связаны с бандитским подпольем. Еще в феврале 1949 года Иван Гринчишин и некий «Довбуш» дают задание Мирону вызвать из Львова Илларию. Тот приезжает. В присутствии Мирона оба бандитских вожака поручают Илларию собрать подробные сведения о Ярославе Галане.

Для начала Иллариий обращается к давней приятельнице их семьи, литератору Ольге Дучиминской, спрашивает ее, как живет Галан, каковы его привычки, получает номер телефона писателя. Именно от Дучиминской он узнает, что Ярослав Галан по натуре человек добрый, отзывчивый, любит помогать людям, что к нему, как депутату городского Совета, обращаются многие. И тогда в голове обученного иезуитами поповича постепенно созревает план.

В первой половине августа 1949 года Иллариий посещает квартиру Ярослава Галана, но хозяина не застаёт: Галан уехал в Закарпатье. Побеседовав с женой писателя и домашней работницей Евстафией Довгун, Лукашевич ушел.

В конце августа, смиренный, предельно вежливый, с опечаленным лицом, Иллариий снова появляется в квартире дома на Гвардейской. Ярослав Галан уже вернулся из своей поездки. Иллариий знакомится с ним и говорит:

— Я слышал, вы добрый, пане письменник, помогаете всем, кто попал в беду. Наш лесохозяйственный факультет, где я учусь, закрывают, а на его базе собираются создать лесомелиоративный факультет. Мы, студенты, очень огорчены. Мы никогда не собирались стать мелиораторами. Все наши хлопцы рвутся перейти в Лесотехнический институт, тот, что на Пушкинской, но директор наш, Третьяков, никого отпускать не хочет. Уперся — и все. Помогите нам, товарищ письменник, вы ведь знаете, что такое призвание! Третьяков вас послушает...

Ни сам Галан, ни его близкие не подозревали, конечно, что просьба эта придумана в бандитском подполье как предлог проникнуть в дом писателя.

Илларию приглашают к столу, поят кофе. Галан обещает студенту сделать для него все, что возможно.

Назавтра они встречаются у здания Львовского областного комитета партии на Советской улице. Чтобы не тратить времени на получение пропуска для Лукашевича, Галан просит студента подождать, а сам заходит в здание обкома. Пока он там разговаривает, Лукашевич терпеливо сидит на скамеечке под еще зелеными каштанами.

Вскоре появляется Галан. Улыбаясь, идет он на встречу поднявшемуся студенту и еще на ходу объявляет:

— Все в порядке, друже! Вас кто-то понапрасну напугал. Будете и дальше учиться. Был, правда, такой план реорганизации, но с ним не согласились.

— Боже, як я вам вдячний! — едва не плача от радости, говорит студент, пожимая крепкую руку Галана. Кажется, еще секунда — и он поцелует ее, как совсем недавно было принято в этих краях. — Не знаю, как мне отблагодарить вас! В следующий раз я вам сотового меду принесу. В нашем селе, в Сороках Львовских, у одного знакомого своя пасека и прекрасный липовый мед...

— Никакого меда мне не надо! — обрывает Илларию писатель. — Принесете меду — я вас и на порог не пушу. Это моя обязанность помогать вам, неужели вы не понимаете?

— Прошу прощения, — извиняется Илларий. — Вы такой хороший человек!.. Правду мне люди говорили... Побегу теперь до своих хлопцев, порадую их.

Вскоре после того в жизни Галана произошел случай, обстоятельства которого не выяснены до сих пор.

Однажды под вечер Галан вышел погулять со своей собакой на взгорье Стрыйского парка. Это взгорье, спускающееся к улице Дзержинского тогда уже было отведено под будущий парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого. Кое-где в местах, свободных от деревьев, шли земляные работы. Когда Галан приблизился к одной из траншей, оттуда послышались выстрелы и несколько пуль просвистело над его головой. Пес заскулил, прижался к земле и сильным рывком потянул Галана в сторону.

Уже когда совсем стемнело, Ярослав Александрович позвонил мне и рассказал о случившемся.

— Надо немедленно заявить! — сказал я.

Помолчав немного, Галан ответил:

— Только прошу вас, не говорите об этом Марийке!

Ей и так не по себе от всяких телефонных звонков с угрозами от неизвестных лиц. Я сам разберусь... А может, это стреляли из Цитадели? Там ведь есть тир. Быть может, кто-нибудь пустил пули «за молоком»?...

Стреляли, конечно, не из Цитадели: просто Ярослав Александрович старался не говорить об опасности. Она постоянно подстерегала его с тех пор, как писатель вернулся летом 1944 года на родную землю, на которой еще были свежи следы фашистского сапога и сразу включился в идейную борьбу против скрытых врагов советского строя. Он стал мишенью для вражеских пуль, адресатом анонимных писем, объектом провокаций. Человек гордый, мужественный и в то же время застенчивый, легко ранимый, он боялся не столько врагов, сколько мелких завистников, подлых, бесталанных людишек, которые могли бы эти сведения об опасности, грозившей Галану, обратить против него, распустив слухи, что он занимается саморекламой.

Галан был подлинным пролетарским интернационалистом. Вскоре после войны я был у него на Гвардейской. Во время нашего разговора Галан снял с книжной полки номер уже забытого теперь журнала «Украинская жизнь» за октябрь 1912 года и прочел вслух:

— «Единство только тогда является принципом красоты и высокой организации, когда оно охватывает своими гибкими рамками возможно более богатое многообразие. Многообразие национальное есть, думается, великое наследие человеческого, которое, надо надеяться, сохранится и даст еще недоступные нам наслаждения подъема жизни.

Но и социалисты, стоящие на такой или приблизительно такой точке зрения, отнюдь не могут мириться со всяким национализмом. Уж нечего и говорить о национализме насильническом, вгоняющем личность палкой в «народность». Однако и национализм угнетенных народов часто имеет весьма неприятный привкус исключительности и презрительной враждебности ко всему окружающему. Если мы вдумаемся в причины столь мощно разворачивающегося повсюду на наших глазах национализма угнетенных народов, мы легко усмотрим, что движение это чревато опасностями».

Галан обернулся ко мне:

— Не правда ли, как верно все это сказано, будто о нынешних днях? Какая широта мышления! Этого никогда не понять нашим галицийским задрипанным кандидатам в местечковые наполеоны. Именно из-за ограниченности мышления украинский национализм не дал ни одной примечательной личности, не создал ничего конструктивного, а «Организация украинских националистов» превратилась в оставленное нам гитлеровцами в наследство бандитское подполье.

— Кто это написал? — спросил я, кивнув на журнал.

— А вот догадаться, — хитро поглядел на меня Галан. — Анатолий Васильевич Луначарский! Не считите меня нескромным, но я готов подписаться под каждым его словом. И, разделяя эти его мысли, считаю своим долгом до последнего дыхания воевать с нашими заско-рузлыми в своем убогом мышлении националистами, разоблачать их где только можно. Ведь я знаю их как облупленных!..

Шестнадцатого октября 1949 года Роман Щепанский, разгневанный тем, что Ромко струсил и не выполнил задания, вызывает Илларию на встречу и знакомит со щуплым на вид «Стефко».

— Это надежный хлопец, не то что слюнтяй Ромко.

Многие правила конспирации — встречи по паролям, опознавательные знаки — отбрасываются, остаются только клички соединяемых Щепанским будущих террористов. Надо торопиться! Близится десятая годовщина воссоединения Западной Украины со всей советской украинской землей, и подполье по заданию Мюнхена и Ватикана должно к этой дате заявить о себе убийством какого-нибудь крупного общественного деятеля, известного своей преданностью советской власти. Щепанский говорит прямо:

— Медлить больше нельзя! Двадцать четвертого октября и ни днем позже писатель Галан должен быть убит.

...В роковое для него утро Ярослав Александрович позавтракал вместе с женой, а после ее ухода в филиал Музея имени В. И. Ленина, где Мария Александровна работала художницей, зашел в комнату рядом с кабинетом. В кабинете стоял просторный письменный стол с те-

лефоном, но Галан любил работать именно в этой комнате за небольшим столиком, сидя спиной к двери в прихожую и видя перед собой широкое окно.

Под рукой у него была пишущая машинка в футляре, но Галан не раскрыл ее. Он хотел сперва пером набросать статью, заказанную ему газетой «Известия» к десятилетию восстановления советской власти в Западной Украине.

Вместе с бумагами на столе лежала книжечка Галана «Фронт в эфире», изданная в 1943 году на украинском языке в Москве. Ярослав Галан был комментатором радиостанции имени Тараса Шевченко, вещавшей на оккупированную гитлеровцами Украину. В этой книжке были собраны его боевые памфлеты военных лет, среди них образцы блестящей партийной пропаганды — памфлеты-импровизации, с которыми он выступал перед микрофоном, разоблачая ложь Геббельса и его подпевал.

Свою статью Ярослав Галан озаглавил «Величие освобожденного человека». Писал он ее по-русски. Вспоминая соратников и борцов за освобождение Западной Украины, называл имена Ивана Франко и безработного поляка Владислава Козака, убитого панской полицией.

«По-новому определились человеческие судьбы, — торопясь, записывал он волновавшие его мысли. — В 1930 году в луцкой тюремной больнице лежал человек, дни которого, казалось, были сочтены. Ему пришлось пережить все ужасы полицейских пыток, самых изощренных, самых омерзительных... Палачей же отнюдь не смущало то обстоятельство, что жертвой их издевательств был известный львовский литератор и публицист Кузьма Пелехатый. Избиваемый принадлежал к народу, объявленному вне закона, а популярность этого человека и мужество его только усиливали бешенство мучителей. Арестованный не поддавался угрозам, пытки не сломили его воли, поэтому арестованный должен был умереть.

Но могучая натура победила, Кузьма Пелехатый остался в живых. Страдания только закалили его, и он ни на один день не переставал быть собой: честным, отважным борцом за освобождение своего народа...»

То, что написал Ярослав Галан о своем друге, депутате Верховного Совета СССР Кузьме Николаевиче Пелехатом, удивительно совпадало с тем, что можно было

бы сказать и о самом Галане. И не знал Ярослав Александрович в тот последний день своей жизни, что фамилия Пелехатого значилась в тех же самых «черных списках» людей, подлежащих уничтожению, в которые был занесен и он, Галан, и которые хранил в своем затхлом бункере Роман Щепанский. Уже был подобран террорист и для уничтожения Пелехатого, тоже сын униатского попа Богдан Ощипко, и только случайность спасла Кузьму Николаевича от бандитской пули.

В своей статье Галан назвал и других борцов за свободу Западной Украины — доблестную львовскую комсомолку, радистку партизанского отряда Медведева Марию Ких, колхозницу села Скоморохи Ульяну Баштык, спасшую в годы оккупации вдову и детей погибшего начальника 13-й пограничной заставы Алексея Лопатина.

Работалось хорошо. Ярослав Галан быстро набрасывал заключительные строки:

«...Исход битвы в западноукраинских областях решен, но битва продолжается. На этот раз — битва за урожай, за досрочное выполнение производственных планов, за дальнейший подъем культуры и науки. Трудности есть, иногда большие: много всякой швали путается еще под ногами. Однако жизнь, чудесная советская жизнь победоносно шагает вперед и рождает новые песни, новые легенды, в которых и львы, и боевая слава будут символизировать отныне только одно: величие освобожденного человека».

Оставалось заложить в машинку бумагу и перепечатать.

В прихожей раздался звонок.

Из кухни к двери подошла Евстафия Довгун, спросила:

— Кто там?

— Мы до писателя! Он дома?

Услышав знакомый голос Иллария, женщина открыла.

— Дома, дома, — и пропустила Лукашевича и Стефко (он же Стахур) в прихожую.

На пороге комнаты, в которой он работал, появился Галан в пижаме и в комнатных туфлях. Радостный оттого, что статья закончена, сказал приветливо:

— А, это вы, хлопцы? Заходите...

Посетители вошли. ИллариЙ сел на предложенный ему стул справа от писателя, а Стахур задержался сзади.

— Снова неприятности у нас в институте, — поспешно заговорил ИллариЙ.

— Какие именно? — спросил Галан и задумался.

Лукашевич подмигнул Стахуру. Мгновенно тот выхватил из-за пояса топор и стал наносить им удары по голове писателя. Сразу же потеряв сознание, Галан повалился на пол. Услышав стук в соседней комнате — это Довгун начала уборку кабинета, — ИллариЙ бросился туда.

Вот что показала впоследствии на суде Евстафия Довгун:

— Ко мне с пистолетом в руках подбежал Лукашевич и, приказав молчать, отвел меня от окна к дивану, стоявшему возле печки. Вслед за Лукашевичем в кабинет вбежал Стахур. Он оторвал от телефонного аппарата шнур, которым бандиты вдвоем связали мне ноги и руки. Лукашевич увидел на диване носок жены Галана, заткнул мне этим носком рот. Затем открыл ящик письменного стола, на котором стоял телефонный аппарат, порывлся в ящике и что-то оттуда взял.

Когда мне завязывали рот, у двери кто-то позвонил. Лукашевич и Стахур насторожились, начали торопиться. Когда они уже собрались, Лукашевич строго меня предупредил, чтобы я не кричала, и в течение часа из квартиры не выходила, и никому о них не говорила, иначе буду убита. Как только они ушли, я начала ворочаться, двигать ногами. Мне удалось освободить от шнура ноги и вынуть изо рта носок. Выбежав в переднюю, через открытую дверь, ведущую в рабочий кабинет писателя, я увидела там на полу окровавленного Галана. После этого я выбегаю в коридор и, спускаясь по лестнице, начинаю кричать...

Уже совсем стемнело, когда оба бандита вышли на условленное заранее место встречи со Щепанским. То была западная окраина леса, близ села Жидятичи, Брюховицкого района, со стороны Киевского шоссе. Около железнодорожного моста они притаились в кустах. Немного погодя из-под моста появилась фигура, едва различимая в темноте. Щепанский дважды прокричал ворон, и только после этого все трое сошлись.

Роман Щепанский спросил:

— Ну как?

— Все в порядке! Вот это забрали в столе, — Иллари́й протянул Щепанскому завернутые в платок предметы.

— Що це таке?

— Медали. Партизанские... И ордена.

— Ну, добре, хлопцы! — пожимая руки убийцам, сказал Щепанский. — Доложу о вас наверх. Слава о вас до закордону дойдет. До Мюнхена и до самой Америки. Тебя, Стефко, я беру в свою «боевку». То было твое последнее испытание. Сидайте, хлопцы, поговорим, что делать дальше...

Такова лишь часть подробностей страшного злодеяния, вскрытых во время следствия и суда.

Но прежде чем выяснились все эти подробности, прежде чем были изловлены главные виновники убийства и их пособники, понадобились годы напряженной, сложной работы чекистов, размотавших запутанный клубок. И тогда перед всеми присутствовавшими на суде предстал облик того изуверского мира, в единоборство с которым смело вступил Ярослав Галан еще в конце двадцатых годов, когда он жил в буржуазном польском государстве.

Первой, кто сообщил тетке Иллария Марии Лукашевич об убийстве Галана, была уже упоминавшаяся ранее Ольга Дучиминская. Дальняя родственница Лукашевичей, эта вежливая пожилая дама после освобождения Львова Советской Армией регулярно посещала писательские собрания, сетовала, как ей трудно жилось при гитлеровцах, рассказывала, какие зверства чинили они и их пособники — бандеровцы. Многие из нас, кто общался с Дучиминской на этих собраниях, знали, что в прошлом она печаталась в разных националистических изданиях, а также оставила след своего сотрудничества с украинскими националистами во время немецкой оккупации, опубликовав в продажной, издававшейся на немецкие марки газетке «Львівські вісті» два-три слезливых рассказика. Один из них — «Рождественская сказка» — Дучиминская читала даже вслух всему семейству Лукашевичей, приехав к ним в гости в село Сороки Львовские.

Зная о националистическом прошлом Ольги Дучиминской, и Ярослав Галан, и его друг Петро Козланюк, и другие видные писатели, жившие и работавшие во Львове, все же склонны были простить литератору ее старые грехи. Думалось, что террор фашистской оккупации открыл и ей глаза на то, к чему привело галицийских интеллигентов ее толка многолетнее равнение на капиталистический Запад.

Однако Дучиминская оказалась человеком с двойным дном, как и ее воспитанники — братья Лукашевичи. По их просьбе она доставала нужную литературу для националистического подполья, и, когда вожаки подполья пожелали встретиться с ней, она охотно согласилась.

В августе 1949 года Иллариий Лукашевич привез Дучиминскую на подводе в дом своего отца в селе Сороки Львовские, где ее уже ожидали двое — Иван Гринчишин, завербовавший Илларию в ОУН, еще когда тот учился в семинарии, и «Евген», начальник Романа Щепанского. Его Гринчишин именовал очень почтительно: «друзе провидных».

Встреча длилась более восьми часов. Как это подтвердила Дучиминская на суде, главари подполья упрекали ее в том, что «она и ряд других писателей, выступавших ранее в печати с произведениями националистического характера, в настоящее время отошли от этого и, работая в советских учреждениях, оказывают помощь советской власти». Затем Евген приказал Илларию, чтобы он и его брат Александр передавали ему лично все, что будет писать для подпольных изданий Ольга Дучиминская.

Вот почему так заволновалась она, узнав еще днем 24 октября, что случилось с Галаном, возвращаясь с работы, из этнографического музея, и не пошла домой, а засеменила нервными шажками по Ризьбярской улице к тетке Лукашевичей.

— Беда, Марийко, — сказала она, заходя в квартиру. — Забили Галана! Надо, чтобы наши хлопцы были очень осторожны...

И Мария Лукашевич тотчас едет в Сороки Львовские и предупреждает «пан отца» Дениса Лукашевича, чтобы он был начеку.

Предательская роль Дучиминской, соучастницы в подготовке убийства Галана, лишний раз показала, до чего

в моральном падении может докатиться литератор, став на путь двурушничества, всячески пользуясь благами, которые давала советская власть, но меньше всего думая о том, чтобы принести пользу советской власти.

Дучиминская стала представительницей той группы литераторов, служивших врагам Украины и в том числе Гитлеру, которых Галан заклеил кличкой «мамелюки».

«Настало время, и кончилась «пригодонька щаслыва», — писал он после освобождения Львова, — вот уже проходит год, как мамелюки потянулись в хвосте разбитой гитлеровской армии. Это уже не эмиграция. Кто же в освобожденной Европе даст приют этим верным денщикам немецкого разбойника! Нет, это значительно хуже: непрерывные скитания из угла в угол, из-под одной хаты к другой, и так — до кончины под чьим-то порогом. Морально они уже давно умерли. Еще год назад мамелюки сновали по Львову, сюсюкали, болтали, похихикивали, декламировали и писали — писали без конца и меры, а сегодня никто доподлинно не вспомнит о них теплым словом. Забыли их, забыли их писанину. Из бандеровского живодера не сделать героя, из «тризуба» лиры не сделаешь...»

Дело Иллари́я Лукашевича и его сообщников слушал военный трибунал Прикарпатского военного округа. На суде был зачитан страшный документ — акт судебно-медицинской экспертизы.

«Смерть Ярослава Галана наступила от одиннадцати рубленых ран головы, сопровождающихся нарушением целостности костей черепа и повреждением правого большого полушария мозга и мозжечка... Десять из указанных ран, каждая в отдельности, являлись смертельными, и лишь одна рана в области левого теменного бугра захватывала только мягкие ткани... Удары убийцей были нанесены Галану сзади...»

Да, они так его ненавидели, что продолжали убивать его уже мертвого.

Денис Лукашевич признался на суде:

— Будучи сам, как священник греко-католической церкви, реакционно-националистически настроен, я в таком же духе воспитывал и своих сыновей... Их националистические убеждения и враждебное отношение к совет-

ской власти в известной степени являются результатом моего влияния.

С раннего детства три брата Лукашевич слышат в семейном кругу рассказы о мнимых подвигах их дальнего родственника, который сперва убил по заданию ОУН комиссара польской полиции а затем участвовал в нападении на почту в местечке Городок, на пути из Львова в Перемышль. Двенадцать украинских националистов, обученные, вооруженные и сагитированные тогдашним соратником Степана Бандеры Мыколой Лебидем, по кличке «Марко Проклятый», среди бела дня ворвались в здание почты и открыли огонь по почтовым служащим и посетителям.

Было ранено восемь человек, один из которых на следующий день скончался. Два националиста, в том числе и дальний родственник Лукашевичей, погибли от случайных пуль своих же боевиков, которые стреляли наобум, не целясь. Итог этого бессмысленного террористического акта был мизерный — 3200 злотых, захваченных в кассе. Но, несмотря ни на что, вся эта история была окружена в семье Лукашевичей ореолом романтики.

— Да, я был доволен, когда летом 1941 года немцы оккупировали Западную Украину, я встречал их с цветами, — говорил на суде Денис Лукашевич. — Начиная с 1945 года и до самого ареста я вместе с церковным старостой передавал для нужд подполья ОУН деньги из церковной кассы. Я дал указание старосте приходить только часть средств, поступающих в кассу.

Денис Лукашевич сообщил еще одну существенную деталь, дорисовывающую облик украинского национализма:

— Прибывший ко мне в дом вместе с Иваном Гринчиным участник оуновского подполья Евген беседовал в основном с моими сыновьями. Он говорил, что оуновское подполье придает серьезное значение работе среди молодежи, считая ее главным своим резервом, и хочет, чтобы молодежь поступала в советские высшие учебные заведения, чтобы ОУН имела в будущем свои кадры специалистов. Евген пояснил: война между Америкой и Советским Союзом неизбежна, притом очень скоро. В итоге этой войны Украина получит «самостоятельность», и

тогда, бесспорно, потребуются свои подготовленные специалисты.

Таковы были основные обстоятельства убийства Ярослава Галана, такова была социальная среда, воспитавшая убийц писателя-трибуна освобожденной Украины.

На скамье подсудимых сидел и тот самый Ромко — Тома Чмиль, которому не удалось убить Галана 8 октября 1948 года. Этот бандит еще до посещения квартиры писателя запятнал себя «мокрыми делами», после чего долго скрывался, переодетый в женскую одежду. Потом он пытался «убрать» председателя сельсовета села Збоище Михаила Герчука, стрелял в него, но, к счастью, не попал. После двух неудачных покушений он убил комсомольца Ивана Вилька, снял с него сапоги, а труп зарыл в снег.

По решению военного трибунала Прикарпатского военного округа все участники убийства Ярослава Александровича Галана, в том числе и Михаил Стахур — «Стефко», попавший в руки правосудия несколько позже, были приговорены к смертной казни.

«Он сильно мешал нам», — заявил о Галане на следствии ИллариЙ Лукашевич. Это было очень мягко сказано!

Ярослав Галан был ненавистен всем слугам тьмы, всем мракобесам еще смолоду. Церковники возненавидели Галана давно — со дня выхода в свет его обличительной комедии «99%» («Лодка качается»), показывавшей нравы галицийского мещанства и разоблачавшей греко-католического попа отца Румегу, рвавшегося в польский сейм.

Все окружение митрополита Андрея Шептицкого увидело в Румеге самих себя — так тонко подметил Галан их характерные черты, так едко их высмеял. Комедия писателя «Лодка качается» безжалостно разоблачала духовенство в глазах верующих.

Ярослав Галан был человеком пытливого, беспокойного ума, умевшим разглядеть самые тайные пружины вражеских политических диверсий, направленных против народа, против освобождения Украины. Живя в буржуазной Польше, он прекрасно знал, что еще до первой миро-

вой войны всю деятельность как украинских, так и польских националистов за спиной Пилсудского, а также будущего вождя ОУН полковника Евгена Коновальца курировала и тайно направляла австрийская военная разведка «Хаупт-Кундшафт-Стелле». Позже, после распада Австро-Венгрии, ее агентуру как эстафету приняла немецкая военная разведка — абвер. Кто-то, а Ярослав Галан хорошо знал, как сделал свою карьеру министр иностранных дел Польши, ближайший соратник Пилсудского Юзеф Бек.

Старый австрийский агент, затем один из организаторов «Польской организации войсковой» (ПОВ), он под псевдонимом «гражданин Галицкий» колесил по городам революционной России, добрался до Орла и до самой Москвы, устанавливал связи с польскими националистами и главарями украинских контрреволюционеров в Киеве. Он поддерживал эти контакты и связи, когда Пилсудский поручил ему пост шефа Второго отдела Генерального штаба Польши, известной «двуйки». Руками украинских националистов Юзеф Бек убирал неугодных клике «полковников» министров и других видных деятелей польского государства. Галан хорошо знал, что таинственно исчезнувший и весьма осведомленный о тайных связях пилсудчины с немецкой и австрийской разведками генерал Владимир Загорский был ликвидирован именно Юзефом Бекком.

Знание истории тайных провокаций в Галиции и в Польше помогло Галану разобраться в тайных связях украинских националистов с гитлеровцами. Он был очень опасен и для малых и для больших политических комбинаторов националистического подполья, и отнюдь не случайно решили они убить его во что бы то ни стало.

В одном из ранних памфлетов, «Хи-хи-хи», Галан с убийственным сарказмом обрисовал «молодой цвет украинской нации» — ту среду, из которой впоследствии вышли убийцы писателя:

«Молодой цвет нации» также находит себе дорогу. Такой многообещающий бычок, пока еще только набираясь знаний, носит (темными вечерами) шапку «мазепинку», орет на съездах и праздниках «Ще не вмерла» и между одной и другой операцией по высаживанию окон

пишет оды, адресованные Святому Юру (резиденция митрополита Андрея Шептицкого. — В. Б.). Получит или нет такой балбес диплом, все равно он идет в родное учреждение, покупает пахучее мыло, заказывает у портного гольфы, втирается в директорские салоны и через год берет в кредит мотоциклетку. И все было бы хорошо,плыли бы спокойно дни и ночи, ровными слоями нарастало бы для вечности на животишке сальце, если бы не красный призрак. Угнетает он обывателя, и ленивое сердце иногда от ужаса замирает. Тогда в мещанине пробуждается дух! Мещанин оживает! Мещанин ищет идеи! Мещанин творит!»

Когда же «красный призрак» не только приблизился к околицам Львова, но советская власть стала реальностью на землях Западной Украины, все лукашевичи и щепанские, которым некогда митрополит Шептицкий сулил, что они будут его епископами на «большой Украине», зашевелились. Они стали воспитывать из своих сыновей террористов, призывая их беспощадно бороться с лучшими представителями освобожденного народа, начиняя их мозги клерикально-националистическими идеями.

Иногда, оставляя террор напоследок, они прибегали к методам психологического воздействия, к шантажу, к распусканию заведомо провокационных слухов про того, кто уже давно был взят на мушку. Так и в отношении Галана: пытаюсь нейтрализовать его разоблачительную деятельность, подполье начало воевать с писателем слухами.

Была пущена и, к сожалению, подхвачена кое-кем из несведущих людей полная иезуитского коварства клевета: «Ярослав Галан потому так много пишет об украинских националистах и так яростно разоблачает их и церковь, чтобы через свои писания, идущие в советскую и зарубежную печать, информировать народ о существовании подполья и о силе борцов за самостоятельную Украину».

И нашлись люди, которые поверили этому слуху и за год до убийства Галана запретили и пустили под нож весь тираж его гневной книжки «Іх обличчя» («Их лицо»), выпускаемой львовским издательством «Вільна Україна».

После трагической гибели писателя все памфлеты, составлявшие эту книжку, были широко опубликованы,

стали достоянием миллионов читателей, но тогда это решение о запрете страстной, проникнутой наступательным духом книги Ярослав Галан пережил тяжело.

Кто же вкладывал топор в руки убийц, подобных Стахуру, Лукашевичу и Чмилю, кто снабжал их гранатами и пистолетами, кто, кроме греко-католической церкви, растлил молодых преступников, наставляя их на путь террора?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, надо понять некоторые явления жизни в габсбургской, католической Австро-Венгрии и затем, после ее распада, в созданной версальскими «миротворцами» буржуазной Польше, которая, придя на смену австрийским колонизаторам Западной Украины, захватила исконно украинские земли — Галицию и Волынь.

В среде австрийской военщины воспитались будущие идейные вожаки польского шовинизма — «полковники» из клики Пилсудского и создатели первых после мировой войны украинских националистических организаций, как, например, полковник Евгений Коновалец и полковник Андрей Мельник. Все они были тесно связаны с австро-венгерской, а затем немецкой военными разведками, под их руководством проходили школу шпионажа, диверсий, тайных провокаций.

Как на первый взгляд это ни парадоксально, но впоследствии, когда на украинских землях утвердился режим пилсудчины, вожаки украинских националистов, внешне воюя с ними, на деле учились методам террора и шпионажа именно у клики польских «полковников», у созданной ими тайной организации ППП — «Поготовя патриотов польских», точнее сказать, «Скорая помощь патриотов польских». Эта «Скорая помощь» использовалась против растущих в народе коммунистических идей, влияние которых было настолько сильно, что они проникали и в военную среду. Даже некоторые офицеры из пресловутой «первой бригады» Юзефа Пилсудского, вроде будущего народного поэта Польши Владислава Броневского или молодых офицеров Багинского и Вечоркевича, разуверившись в политическом курсе сегоднешнего маршала, становятся коммунистами. И тогда польская

полиция сама инспирирует ряд террористических актов, создает провокационные «тайные» организации, не останавливается и перед покушениями на видных политических деятелей, все сваливая на коммунистов, якобы связанных с советским посольством в Варшаве. Несмотря на то что после взрыва в варшавской Цитадели становится совершенно очевидным и провокационный характер заявлений агента Цехновского, военно-полевой суд приговаривает коммунистов-офицеров Багинского и Вечоркевича к смертной казни. Когда же они, помилованные президентом Войцеховским, едут в порядке обмена в Советский Союз и поезд минует станцию Задворье, 29 марта 1924 года агент «Скорой помощи патриотов польских» старший «пшодовник» полиции Юзеф Мурашко из револьвера убивает Багинского и Вечоркевича у самого порога свободы. И только через сорок лет, в Лондоне, бывший польский посол Прагер, когда-то расследовавший дело Багинского и Вечоркевича, в своих мемуарах раскроет историю чудовищной полицейской провокации и убийства двух невинных людей.

Все эти террористические акты, непрекращающаяся борьба между собой за власть, за свое положение в правящих кругах служили наглядной школой для членов ОУН, которые учатся у пилсудчиков, так же как и у «панов отцов» греко-католической церкви. Потомки «полковников» 8 февраля 1945 года бомбой типа так называемой «сюрпризной коробки» убивают во Львове нашего друга, польского врача-интернационалиста, доктора физиологии Здислава Белинского. Галан приносит цветы на его могилу, говорит о нем на митингах и собраниях, пишет о верном борце «за нашу и вашу волю», не подозревая того, что через какие-нибудь четыре с половиной года на Лычаковском кладбище, всего в двухстах метрах от того места, где зарыт Здислав Белинский, появится его собственная могила. Но зато Галан точно знает о переплетении тайных связей продолжателей пилсудчины — фашистов из «народовых сил збройных» — с так называемым украинским подпольем ОУН. Цели у них едины: измена делу народа.

Итак, непосредственные убийцы Галана были обезврежены. Где-то в подполье, как затравленный волк, еще бродил бандеровский гестаповец Роман Щепанский, но через полтора года органы государственной безопасности арестовали и его. Бандит, руки которого были обагрены кровью многих десятков людей — и поляков и советских активистов, «надрайонный провиднык» ОУН по приговору суда был расстрелян.

Но мамелюки оказались живучее, чем это мог предполагать Галан в июне 1945 года. Как уже было сказано, они обрели новых хозяев: Центральное разведывательное управление США, шпионские центры Канады и Федеративной Республики Германии охотно пользуются их услугами, финансируют их и, несмотря на то что тираж националистических газеток и журналов мизерный, охотно покрывают расходы на их издание.

В одной только Канаде кроме других националистических организаций существует так называемая «Лига вызволения Украины». Она объединяет три тысячи головорезов, которые были участниками националистического подполья в Западной Украине, убивали людей, жгли, подобно Роману Щепанскому, мирные села, а потом через Европу удрали за океан.

«Лига вызволения Украины» — это, по существу, филиал Мюнхенского зарубежного центра «Организации украинских националистов», в котором после загадочного убийства Степана Бандеры верховодят два претендента на пост вождя ОУН — попович Степан Ленкавский и небезызвестный Ярослав Стецько-Карбович, председатель так называемого АБН — «Антибольшевистского блока народов». Этот недоучившийся гимназист из-под Тернополя и премьер разогнанного гитлеровцами во Львове бандеровского правительства кроме большого пристрастия к спиртным напиткам одержим еще манией путешествий по дальним странам. Когда советская правительственная делегация посетила несколько лет тому назад Швецию, Стецько-Карбович запасся американскими долларами, немецкими марками и со своими оруженосцами тоже немедленно метнулся в Швецию. Он демонстративно возложил там венок у памятника Карлу XII, как бы подтверждая этим, что он и руководимые им бандеровцы продолжают дело изменника Мазепы.

Зная, какой популярностью пользуется на выставке «Экспо-67» в Монреале Советский павильон, как укрепляют прогрессивные украинцы Канады свои культурные связи с Советской Украиной, Стецько решил заявить о себе в дни празднования пятидесятилетия Великого Октября. Он прибыл в Канаду, чтобы с помощью тамошних головорезов организовать бесчинства перед зданием посольства СССР в Оттаве и перед зданием генерального консульства СССР в Монреале.

«Фашистская чума будет угрожать человечеству так долго, — писал Ярослав Галан в памфлете «Не играть с огнем!», — как долго не будут ликвидированы очаги фашизма — все до последнего. Пока это не произойдет, бациллы фашистской чумы будут размножаться...»

На разных континентах происходит объединение сил реакции самых различных оттенков и национальных принадлежностей. Объединяются по принципу взаимной ненависти к коммунизму даже люди, которые некогда якобы враждовали. Небезызвестный польский реакционный генерал Владислав Андерс трогательно награждает в Лондоне высоким орденом «Виртути Милитари» последнего командира 14-й «гренадер-дивизии» СС «Галичина», бывшего петлюровского генерала Павла Шандрука. Дело не просто в награждении, на которое, кстати сказать, Андерс не имел полномочий. Дело в том, что Павло Шандрук командовал теми силами эсэсовцев, которые принимали участие в подавлении Варшавского восстания, уничтожали поляков, евреев и людей других национальностей не только в «Генерал-губернаторстве», но и во многих рассеянных по Европе гитлеровских лагерях смерти. Теперь же Шандрук, назначенный в свое время Розенбергом председателем «Украинского национального комитета», блуждает по Европе, повсюду демонстрируя высший орден Польши.

Но и не такие чудеса происходят в так называемом «свободном мире»! Агрессия Израиля против арабских стран вызвала новый прилив энергии в украинских националистических группировках, действующих на Западе, и одновременно приоткрыла кулисы тайных связей украинских националистов с сионистами.

Когда стало известно о назревании конфликта, 31 мая 1967 года большая группа украинских националистов

устроила перед посольством Израиля в Париже манифестацию в поддержку агрессивной израильской политики. В шеренгах, построившись перед посольством, маршировали матерые бандиты из «Организации украинских националистов» и так называемой «Украинской повстанческой армии», представители союза бывших эсэсовцев из 14-й дивизии СС «Галичина», украинские полицейские из общества «Украинские хильфсполицай», которые, как известно, с невероятной жестокостью уничтожали заключенных гетто на Украине и в Польше. Теперь они демонстрировали в честь генерала Моше Даяна. А 18 июня 1967 года, когда агрессия уже свершилась, выходящий в Париже еженедельник «Українське слово» поместил телеграммы вожаков ОУН премьеру Израиля Леви Эшколу и послу Израиля в Париже. Атаманы декларировали «симпатию и солидарность» военным начинаниям Эшкола и Даяна, а также подчеркивали, что «Израиль является светочем западной цивилизации на Ближнем Востоке и он должен выполнять эту свою миссию среди других народов этой части света».

«Сердечные отношения», которые объединяют сейчас сионистов Израиля с кадровыми погромщиками, служившими в дивизии СС «Галичина» и «Украинские хильфсполицай», — пример страшнейшего цинизма. По-видимому, сионистов нисколько не волнует тот факт, что украинские националисты производили ликвидацию гетто и поставляли команды палачей для лагерей смерти в Белзеце, Собиборе, Майданеке, Треблинке, Янове под Львовом, где уничтожены сотни тысяч евреев. Для сионистов погромщики из дивизии СС «Галичина» и «Украинской полиции» стали сейчас ценными союзниками против СССР и стран народной демократии. Об этом без всякого стеснения пишет израильская пресса, а ее доводы с удовольствием цитируют националистические издательства ОУН в Канаде и США, в том числе и издательство «Лиги вызволения Украины».

Можно себе представить, какие бы гневные слова нашел для осуждения этой чудовищной политической проституции Ярослав Галан, будь он жив! Ведь почти тридцать лет назад в своем памфлете «Рыцари насилия и предательства», характеризуя социальный состав буржуазного польского сейма и рассказывая о сотрудничестве

украинских националистов с пилсудчиками, Галан напоминал:

«В самом углу сейма сидели возвеличиватели «тризуба» и сионистской звезды. Последних было совсем немного, тем не менее они не за страх, а за совесть следовали по пятам вайцманов, бен-гурионов и жаботинских, помогая правительству выбрасывать еврейскую бедноту на пески Палестины, в смертоносные болота Британской Гвианы и на Мадагаскар».

Но не только сионисты, обогрившие свои руки кровью арабских народов, протягивают их украинским националистам для дружеских рукопожатий.

Попутно с радиостанцией «Свободная Европа», на деньги американской разведки, существует в Париже издательский центр «Культура», который представляет собою другое направление реакционной политики, более вероломное.

Уже давно парижская «Культура» блокируется с украинскими националистами. На ее страницах печатался Павло Шандрук и один из его патронов, бывший боннский министр Теодор Оберлендер, политический руководитель карательного легиона «Нахтигаль». Когда мировое общественное мнение восстало против Оберлендера, на страницах той же «Культуры» выступил в качестве его адвоката националист Б. Левицкий, сын бывшего петлюровского премьера и сотрудника гестапо в годы немецкой оккупации Франции. Затем «Культура» прославляет украинскую «партизанку», то есть УПА, и ее главнокомандующего генерал-хорунжего Тараса Чупринку (он же Роман Шухевич). При этом «Культура» прекрасно знала, что по сигналу из Мюнхена, переданному Шухевичем, которому подчинялся Щепанский, был убит Ярослав Галан.

Сейчас националистические мамелюки, проникая на страницы «Культуры», всячески прославляют УПА, дивизию СС «Галичина». Мюнхенские круги ОУН называют Романа Шухевича «патроном европейской армии». И одновременно с этим дают наказ своим мамелюкам любыми способами травить мертвого Ярослава Галана, продолжая преступление на Гвардейской, подробности которого мы рассказали. В 1962 году они даже выпустили

в издательстве «Лиги вызволения Украины» в Канаде клеветническую книжку некоего Петра Терещука, который пытается, правда бездарно и безуспешно, очертить светлый образ писателя-коммуниста прежде всего за то, что Галан хотел жить в мире и дружбе со всеми народами.

Как и все писатели-интернационалисты, Ярослав Галан, внося ценный вклад в культуру украинского народа, не замыкался в своей литературной работе в пределах одной нации. Он всегда помнил, что любимый им певец Украины, ее бессмертный кобзарь Тарас Шевченко, люто ненавидевший русский царизм, тем не менее свои повести «Несчастный», «Капитанша», «Наймичка», «Варнак» написал именно на русском языке.

Я бережно храню в своей библиотеке книжку другого замечательного певца Украины — Владимира Сосюры — «Родине» с дарственной надписью. Автор этой книжки написал в предисловии:

«...Когда мы стали жить в Третьей Роте и потом в селах Донбасса, украинский язык вошел в мою плоть и кровь как бесконечно родной и любимый язык, язык моего народа, сыном которого я являюсь.

Но русский язык для меня — такой же. Он, русский язык, ввел меня в поэзию. Читая книги, написанные на русском языке, я познакомился с сокровищами русской и мировой литературы.

В те годы я перевел на русский язык «Кавказ» Шевченко. Мои самые любимые поэты — Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Франко и Маяковский...

И вот через тридцать два года, издавая сборник своих русских стихов, я хочу познакомить моих читателей с тем, что помогало мне как украинскому поэту, чего я не забывал, не забываю и никогда не забуду, пока дышит моя грудь, и глаза видят, и песни звучат в моем сердце.

Я и теперь иногда пишу стихи по-русски, так как не могу не писать их.

Великий русский язык! Если бы не он, я не был бы таким, каким стал. Ведь он старший и любимейший брат соловьиной речи моей бессмертной Украины».

Это же мог бы написать о себе и Ярослав Галан. Враги никак не могут простить ему очерка, посвященного

восьмисотлетию Москвы. Очерк начинается такими словами:

«Город Москва празднует свое восьмисотлетие. Это, наверное, единственный город, к которому никто не относится равнодушно. Тридцать лет назад человечество раскололось на два лагеря: на тех, кто любит Москву, и тех, кто ненавидит ее. Нейтральных нет: линия раздела проходит через каждый континент, она затрагивает каждое человеческое сердце.

Иначе не может быть. Любить Москву — это значит любить человечество, верить в него, верить в его завтрашний день и ради этого дня работать, бороться, а если надо — и погибнуть в бою. Ненавидеть Москву — значит быть врагом человечества, врагом его наилучших стремлений, врагом грядущих поколений».

Пусть эти слова Ярослава Галана прозвучат как эпилог к повествованию о его прекрасной жизни, о трагической гибели от рук тех, кто ненавидит Москву, но не сумел заглушить голос писателя-бойца, который по-прежнему с нами, в строю...

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	5
ОТКРЫТЫЙ ВЕЧНОСТИ. <i>Из хроники древнего города. ПАМФЛЕТ</i>	9
ПОСЛЕДНЕЕ САЛЬТО СЕРОГО, <i>ПАМФЛЕТ</i>	32
ГОЛОС ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ, <i>ПАМФЛЕТ</i>	60
КТО ПРЕДАЛ? <i>ПОВЕСТЬ</i>	104
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, <i>ПАМФЛЕТ</i>	255

Беляев Владимир Павлович

ФОРМУЛА ЯДА

*М., «Советский писатель», 1972, 288 стр.
План выпуска 1972 г. № 65.*

Художник М. П. Шпиндлер

Редактор О. Г. Маркова

Худож. редактор Е. И. Балашева

Техн. редактор Л. П. Мельникова

Корректоры: Ф. А. Рыскина и Л. Г. Соловьева

*Сдано в набор 11/VIII 1971 г. Подписано в печать 12/XI 1971 г. Бумага
84×108¹/₃₂ № 2. Печ., л. 9. (15,12). Уч.-изд. л. 14,80. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 1193. Цена 57 коп.*

*Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнезниковский
пер., 10. Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров СССР, Красная ул., 1/3*

57к.

Г

Г

